





М. ИХ. ОСОРГИН

ВОЛЬНЫЙ



КАМЕНЩИК

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ



Московский рабочий

1992

Художник В. НИКИТИН

Осоргин Мих.

О-75 Вольный каменщик: Повесть. Рассказы/Предисл. О. Ю. Авдеевой и А. И. Серкова. Подготовка текста О. Ю. Авдеевой. Комм. А. И. Серкова.— М.: Моск. рабочий, 1992.— 336 с.

Талантливый представитель литературы русского зарубежья Михаил Осоргин (1878—1942), как и многие русские люди его поколения, прошел через страдания, искусы, выдержал испытание войной, революцией, политикой и в дебрях и соблазнах учений, течений и направлений XX столетия нашел свой собственный путь.

Своим путем идет и герой вышедшей в Париже в 1937 г. повести Осоргина «Вольный каменщик» Егор Егорович Тетехин. Тетехин — истинно русская душа, воплощение лучших народных качеств, тихий герой, борец против зла, опора немощным и угнетенным.

Серьезный пласт повести — художественно-философское осмысление масонства.

В книгу входят и рассказы, написанные Осоргиным в эмиграции.

О $\frac{4702010201-39}{М 172(03)-92}$ 27—92

ББК 84Р1—4

ISBN 5—239—00627—X

© О. Ю. Авдеева., А. И. Серков. Предисловие, 1992
О. Ю. Авдеева. Подготовка текста, 1992
А. И. Серков. Комментарий, 1992

ВОСПИТАНИЕ ДУШИ



Михаил Андреевич Осоргин тридцать лет, добрую половину жизни, провел «на чужой стороне». Но лишь одна его большая вещь — «Вольный каменщик» — да несколько рассказов посвящены эмигрантской теме.

Герой «Вольного каменщика» — Егор Тетехин, почтовый чиновник из Казани, бежавший из родного города вслед за чехословаками, — объехал половину земного шара и оказался в конце концов в Париже. Но история Тетехина имеет мало общего с составившими целую библиотеку «сотнями книг совершенно одинаковых бежецких воспоминаний». Сюжетная коллизия повести необычна: русский эмигрант вступает в масонскую ложу. Впрочем, того, кто ищет сенсаций, ждет разочарование: не внешние события, а история души, история нравственных поисков скромного и доброго русского человека интересовала автора. Осоргин называл эту повесть очень ему дорогой¹. Созданная более полувека назад, она только сейчас возвращается на его родину. И несомненно — эта сложная и внутренне значительная книга найдет здесь внимательного читателя.

* * *

«Я не люблю природы Франции, она кажется мне истощенной и худосочной. Мне смешон лес, который тянется на несколько километров, река, которую можно переплыть, горы, на которые взбираются розовые альпинисты. В заповедной стране, куда не пускают свободомыслящих, — да будет она не за это благословенна, — в родной моей стране, за заставой моего родного города хвойный лес начинался, чтобы не кончатся, моя родная река была широка и бездонна, горы не исхожены и не обследованы в их выси и их недрах. В ней лето сжигало леса, зима замораживала дыханье, и в ней была нескончаемая весна во всех стадиях ее благодатного творчества»², — так рассказывал Осоргин о своих корнях. Он родился в Перми 7 октября 1878 г., принадлежал к родовитой, но обедневшей дворянской семье. Сотни трогательных строк написал он о Каме, о тихом городе (волновавшемся разве что вестью о севшей на мель стопудовой белуге), о добрых и умных родителях, о хороших друзьях, о «минутах счастья», которых так много было в начале жизни. В Перми начал писать, первый рассказ опубликовал, будучи учеником седьмого класса гимназии.

В 1897 г. стал студентом Московского университета. Полюбил Москву, замирал при «музыкальном перечне московских улиц», недаром его первый роман назван «Сивцев Вражек». Осоргин часто

¹ См. письмо М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 24 апреля 1936 г. — ОР ГБЛ. Ф. 599. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 17—17 об.

² *Осоргин Мих.* В тихом местечке Франции. Париж, 1946. С. 148.

повторял мысль о своем «московском гражданстве»¹, об особом «московском чувстве»: «Когда говорят, что Москву нельзя узнать, кто тот москвич, у которого не щемит сердце»².

Университет закончил только в 1902 г., год был потерян — за участие в студенческих волнениях его выслали в Пермь. Поселился в Москве, получил звание помощника присяжного поверенного. Однако главным в жизни романтически настроенного молодого человека стало участие в революционном движении. Свою деятельность он оценивал скромно: «Я был в революции незначащей пешкой, рядовым взволнованным интеллигентом»³. Помогал чем мог: в его квартире была явка, заседал комитет партии эсеров, хранились типографский шрифт и оружие, укрывались беглые. Осоргин видел жертвенность и чистоту героев 1905 года, которые «шли без уверенности в победе, нападали с ничтожными средствами, боролись с неравными силами»⁴. Он никогда не отказывался от идеалов своей революционной молодости, но удивлялся той опрометчивой легкости, с которой его друзья и он сам судили тогда о благе народа. В декабре 1905 г. оказался в Таганской тюрьме. Чудом вышел через полгода — следователь выпустил под залог, а жандармерия, уже приговорившая его к пятилетней ссылке, не сразу хватилась. Бежал в Финляндию, оттуда — в Италию.

Там провел десять лет, всю молодость. «Рамка этой молодости — море, оливковые и апельсиновые роши, мрамор, старина и приветливые люди»⁵. Написал книгу «Очерки современной Италии» (1913), стал постоянным корреспондентом популярной газеты «Русские ведомости». Позже, вспоминая прошлое, считал, что был в Италии счастлив, хотя счастья своего не сознавал: «Любя,— да еще как любя! — клял свою голубую тюрьму»⁶. Часто писал о своей тоске, мечтал об одном — вернуться в Россию.

В 1916 г. Осоргин приехал в Петроград, и хоть жил на полулегальном положении, все же побывал в Москве, в Перми, на Западном фронте. Сотрудничал в крупнейших русских газетах и журналах, стал организатором и первым председателем Союза журналистов, товарищем председателя Московского отделения Союза писателей. Принимал участие в разборе материалов московской охраны, выпустил книгу «Охранное отделение и его секреты» (1917). В издательстве «Задруга» вышли две его первые беллетристические книги: «Призраки» (1917) и «Сказки и несказки» (1918).

Октябрьской революции не принял, 26 октября 1917 г. была опубликована его статья «Драться так драться». «Нам не приходится учиться сопротивлению: оно нам хорошо знакомо»⁷, — писал Осоргин. А сопротивляться мог одним — словом. Писал ярко,

¹ *Осоргин Мих.* Москва/Последние новости. Париж, 1937. № 5785. 25 января.

² *Осоргин Мих.* Старый Париж. Из воспоминаний/Последние новости. 1937. № 5945. 5 июля.

³ *Осоргин Мих.* Девятьсот пятый год/Современные записки. 1930. № 44.

⁴ Там же.

⁵ *Осоргин Мих.* Николай Иванович/На чужой стороне. 1923. № 3.

⁶ *Осоргин Мих.* Из маленького домика. Москва, 1917—1919. <Рига>, 1921.

⁷ Власть народа. 1917. № 152. 26 октября.

резко, с присущим ему даром предвидения: «Каждый прочтет иначе слова «позор России», и каждый прибавит: «Не я, не мы, а они ее опозорили», и каждый захочет быть правым, и никто, *никто* не будет прав. И даже история долго не сумеет найти ключ позора, вскрыть тайну нашего безумия»¹. Возможностей для работы стало-вилось все меньше, одну за другой закрывали газеты. Осоргин вспоминал, как из разгромленной редакции вышли солдаты, оставив запах шинелей и бумажку: «Газета Наша Родина Пропуску нет Задерживано»².

В августе 1918 г., когда была «задерживана» вся вольная печать, Осоргин и несколько его товарищей открыли Книжную лавку писателей, ставшую своеобразным писательским клубом: здесь собирались члены Религиозно-философского общества, проводились заседания италофильского кружка «Студио Италиано», здесь возникло своеобразное рукописно-автографическое издательство.

В голодном 1921 г. Осоргин принял активное участие в работе общественного Комитета помощи голодающим, в который вошли крупные писатели, ученые, врачи, специалисты по сельскому хозяйству, кооператоры, толстовцы, имевшие опыт борьбы с голодом, и многие другие. В отличие от неповоротливых и не пользующихся авторитетом государственных образований Комитету удалось быстро развернуть работу, наладить международные связи. Это было воспринято как удар по престижу власть имущих, и через пять недель по приказу Ленина участники Комитета были арестованы. Осоргин отметал подозрения о политических целях членов Комитета: «Совесть не позволила нам остаться зрителями в такой страшный момент народного бедствия (...). Одно жалко, что мы не продержались дольше и не смогли спасти хоть тысячу, хоть сотню лишнюю людей от смерти и людоедства (...). И история, если она беспристрастна, многое простит большевикам, а этого не простит»³. Два с половиной месяца провел Осоргин во внутренней тюрьме Лубянки, затем его, совершенно больного, отправили в ссылку в Царевококшайск, но доехать туда он не смог, разрешили остаться в Казани. Надолго остались в памяти впечатления казанской зимы 1921—1922 гг.: аресты, голод, нищие, умирающие дети.

Весной 1922 г. Осоргину разрешили вернуться в Москву, а летом был объявлен новый приговор: высылка из страны, в случае невыполнения — расстрел. Высылали на три года, но с устным разъяснением: «То есть навсегда». Причина не объяснялась, но она была ясна: подозревался в инакомыслии.

«Я чувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, в местах работы, ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя дома»⁴, — писал Осоргин в итоговой книге «Времена». М. А. Алданов вспоминал не раз повторенные слова Осоргина, что добровольно он Россию никогда бы не покинул. Думал ли он о возвращении? Да, постоянно.

¹ *Осоргин Мих.* Из маленького домика. Москва, 1917—1919. <Рига>, 1921.

² *Осоргин Мих.* Задерживано / Наша Родина. 1918. № 15. 23 мая — 5 июня.

³ *Осоргин Мих.* Тем же морем / Современные записки. 1922. № 13.

⁴ *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 185.

В первые годы надеялся на перемены в России, мечтал печататься на родине, размышлял о «духовном возвращении», о «духовном слиянии»¹, о единстве русской литературы. Со временем поддерживать связи с Москвой делалось все труднее, его статьи о советской литературе, столь частые в двадцатые годы, публиковались все реже, оценки становились все суровее. В 1935 г. был сделан вывод: «Книги появляются, литературы нет, есть только рассуждения о ее призрачном расцвете»².

В 1937 г. Осоргин лишился советского гражданства и паспорта, который так долго сохранял. В советском консульстве ему поставили на вид, что он «не в линии советской политики»³. Последние пять лет Осоргин жил без всякого паспорта. «Эмигрантом он не был, — писала вдова писателя Т. А. Бакунина-Осоргина, — не примыкал ни к левому, ни тем более к правому эмигрантским течениям и считал для себя невозможным моральный отрыв от своей страны. Умом ясно понимая, что возвращение в Россию для него по политическим причинам невозможно, сердцем до самого последнего времени стремился к своему народу и своей природе»⁴.

С осени 1923 г. Осоргин обосновался в Париже. Он много работал, печатался в газетах и журналах Берлина, Парижа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Шанхая, Стокгольма, Риги. В одних парижских «Последних новостях» он опубликовал более тысячи рассказов, статей, фельетонов. Писатель В. С. Яновский вспоминал, что многие русские, оказавшись в эмиграции, считали для себя лестным получить «субсидию». «Впрочем, все знали, — продолжал он, — что Осоргин и Алданов никогда ни от каких «обществ» или частных жертвователей субсидий не получали и не желали получать»⁵. Давалось это не легко, Осоргин не раз жаловался Горькому, что «право работать «для души» приходится покупать месяцами работы «для дела», «губительной для всякого, кто мечтает раскопать в себе художника»⁶.

Осоргин был уже немолодым человеком, когда пришел к нему настоящий литературный успех. Первый его роман «Сивцев Вражек», посвященный судьбе русской интеллигенции в годы революции, вышел в Париже — редкий случай для литературы русского зарубежья — дважды и тысячными тиражами (1928, 1929); вскоре он был переведен на несколько иностранных языков. За ним последовали еще десять книг: романная диалогия «Свидетель истории» (1932) и «Книга о концах» (1935), рассказывающая о трагедии русского террора, «Повесть о сестре» (1931), «Вольный каменщик» (1937), шесть сборников рассказов.

В представляемую читателям книгу вошли рассказы из последнего сборника Осоргина «По поводу белой коробочки» (1947). Он был подготовлен к печати автором, но издан уже после его смерти.

¹ *Осоргин Мих.* Требуется ланцет / Последние новости. 1925. № 1691. 28 октября.

² Последние новости. 1935. № 5418. 23 января.

³ Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. Париж, 1988.

⁴ Cahiers du Monde Russe Soviétique. Vol. XXV (2—3). April -- Septembre. 1984. Paris.

⁵ *Яновский В. С.* Поля Елисейские. Книга памяти. Нью-Йорк, 1983.

⁶ Письма Осоргина от 18 января 1929 г. и 26 октября 1924 г. — Архив М. Горького. Москва.

В сборник вошли рассказы тридцатых годов, основанные главным образом на парижских впечатлениях, проникнутые любовью и вниманием к человеку, но грустные и несколько «усталые».

Осоргин жил то в старом квартале левобережного Парижа, на улице, где соседствовали тюрьма, дом для умалишенных и родильный приют, то в местечке Сен-Женевьев де Буа, ставшем теперь знаменитым из-за расположенного там русского кладбища. Получив в Америке премию за роман «Сивцев Вражек», он приобрел кусочек земли и построил небольшой дом. Т. А. Бакунина-Осоргина вспоминала: «Своими руками обработанная земля, выращенные из черенков розы, акация, развившаяся из тоненького стебелька в громадное дерево,— все это создавало свой особый мир, позволяло уходить от тягостей жизни в природу, заполняло пустоту и безнадежность, которая с годами чувствовалась все сильнее»¹.

Но и эта с трудом налаженная жизнь была вновь разрушена. Началась война. После оккупации фашистами Франции Осоргину грозил арест, была разгромлена и опечатана его квартира, похищены библиотека и архив, и снова, как в молодости, он вынужден был бежать. Осоргины обосновались в нейтральной зоне Франции, в городке Шабри. Здесь прошли два последних года жизни писателя, были созданы две публицистические книги «В тихом местечке Франции» (1946) и «Письма о незначительном» (1952), составленные из корреспонденций, которые он с риском для себя посылал друзьям в Америку, продолжалась работа над мемуарной книгой «Времена» (1955). Осоргин умер 27 октября 1942 г., похоронен в Шабри.

Осоргин был красивым, умным, талантливым человеком, и все же, вспоминая о нем, мемуаристы прежде всего говорят о его нравственных качествах: «порядочный», «один из немногих джентльменов в Париже», «воспитанная душа», «последний рыцарь духовного ордена русской интеллигенции». Что ж, он прошел через многие испытания, и немало было в его жизни случаев для закалки характера, для воспитания души. С полным правом он мог сказать о себе: «Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли независимой, в сущности, довольно ленивого и не заслуживающего такого внимания,— я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил малодушие, или пытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было»².

* * *

Благодаря любезной помощи вдовы писателя Т. А. Бакуниной-Осоргиной, читателям этой книги впервые предоставляется возможность познакомиться с неизвестной страницей биографии Осоргина, связанной с масонством. Источником сведений в ней станут не легенды и домыслы, а достоверные архивные материалы — прежде всего речи самого Михаила Андреевича, а также неопубликованные, хранящиеся в Париже воспоминания известного промышленника, историка и мецената П. А. Бурьшкина, который имел возможность в течение нескольких лет наблюдать за деятельностью Осоргина в масонской мастерской.

¹ Cahiers du Monde Russe Soviétique. Vol. XXV (2—3). April — Septembre. 1984. Paris.

² *Осоргин Мих.* Времена. Париж, 1955. С. 137.

Осоргин был посвящен в масонство в 1914 г. в ложе *Venti Settembre* союза Великой ложи Италии. С российским дореволюционным политическим масонством он не был связан.

Ситуация в русском масонстве в послеоктябрьские годы была сложной, разрозненные собрания проводили в Советской России члены теософских, антропософских и мартинистских лож, но центром русского масонства, как и в 1815 г., а затем и в 1905-м, стал Париж. На берегах Сены наибольшим влиянием пользовались два масонских союза: Великого Востока Франции и Великой национальной ложи Шотландского устава. И хотя ложи, работавшие по Шотландскому уставу, численно преобладали, однако большая часть демократически настроенных вольных каменщиков объединилась вокруг Великого Востока.

Главной, самой многочисленной русской ложей, подчиненной Великому Востоку Франции, стала Северная Звезда. В числе членов этой масонской мастерской мы встречаем имена председателя ВЦИК крестьянских депутатов, Демократического совещания, Совета Республики и Предпарламента Н. Д. Авксентьева, художника И. Я. Билибина, профессора П. П. Гронского, главу Крымского правительства С. С. Крыма, художника и писателя П. А. Нилуса, министра юстиции Временного правительства П. Н. Переверзева, журналиста С. Л. Полякова-Литовцева, писателей В. Л. Андреева, М. А. Алданова. Это лишь немногие из сотни имен членов Северной Звезды. 6 мая 1925 г. к ним присоединился и Осоргин.

П. А. Бурьшкин вспоминал: «Брат Осоргин занимал место оратора в течение долгого времени и присутствовал на большом числе посвящений. Все его речи, как вообще все его выступления, записаны, и собранные вместе дают наглядную картину тех первоначальных наставлений, которые оратор ложи давал вновь вступившим в масонский орден братьям. Своим постоянным общением с молодыми братьями <...> брат Осоргин сделал чрезвычайно много для масонского воспитания и образования братьев»¹.

Каковы же были взгляды Осоргина, в чем он видел предназначение масонства? Обратимся к одной из его речей, произнесенной на посвящении 4 июня 1931 г., в которой он изложил программные положения русских братьев Великого Востока: «Масонство вовсе не система нравственных положений, и не метод познания, и не наука о жизни, и даже, собственно, не учение. Идеальное каменщицество есть *душевное состояние* человека, деятельно стремящегося к истине и знающего, что истина недостижима. <...> Братство вольных каменщиков есть организация людей, искренне верящих в приход более совершенного человечества. Путь к совершенствованию человеческого рода лежит через самоусовершенствование при помощи братского общения с избранными и связанным обещанием такой же над собой работы. Значит — познай себя, работай над собой, помогай работе над собой другого, пользуйся его помощью, умножай ряды сторонников этой высокой цели. Иначе — *союз нравственной взаимопомощи*»².

Основной идеей масонства для Осоргина было братство. Философ и социолог Г. Д. Гурвич писал об Осоргине: «Реальный человек и непосредственная людская собранность, согласно Осоргину, несоиз-

¹ *Бурьшкин П. А.* История Досточтимой Ложи Северной Звезды. Машинопись. Париж.

² ЦГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 1—2.

меримо богаче абстрактных идеалов и лозунгов. Нужно прежде всего любить не формулы и знамена, а людей, сближение между которыми есть благо. И Осоргин умел, как никто, активно любить людей и активно общаться с ними, всеми теми людьми, которых считал «настоящими» и, по крайней мере, способными быть таковыми»¹. Об этом же писал в воспоминаниях об Осоргине и Бурышкин: «Почти всегда, во всяком своем выступлении, будь то доклад или официальная речь оратора, он говорил хотя бы несколько слов о том, что братство является основным принципом, на котором масонство держится, и не случайно, говоря про масонское послушание, он называл его обычно не «Орден», а «Братство» вольных каменщиков. Он выдвигал как основную цель масонов искание истины, проникновение в великие тайны природы, признание тайн бытия, а осуществление этого искательства он видел только в братском единении вольных каменщиков»².

Осоргин считал необходимым условием нравственных поисков отсутствие каких-либо догм, ибо на пути познания не должно быть ничего, стесняющего свободу. Важной для него была мысль о том, что вольные каменщики «принимают в свою среду только тех, кто им кажется наиболее подходящим: людей общительных, умственно развитых, нравственно незапятнанных, способных к высокому душевному устремлению. При этом они не ставят или, во всяком случае, не должны ставить ограничений ни расовых, ни национальных, ни социальных, ни религиозных, ни кастовых, ни политических. Основной принцип братства — величайшая *терпимость* к чужим взглядам и убеждениям, только бы эти взгляды и убеждения были искренними. А чтобы неизбежные различия взглядов не мешали основной работе братьев, — наш орден принципиально не сочувствует обсуждению в братской среде вопросов религиозных и политических, чаще всего вызывающих разлад»³.

В начале 1930-х гг. в ложе Северной Звезды стали усиливаться разногласия. Некоторые из вольных каменщиков во главе с М. С. Маргулиесом, связанные с традицией политического, «думского», масонства, видели свою задачу не в «посвятительной» работе, а в антисоветской пропаганде.

Маргулиес указывал, что «масонство, помимо «вечных и незыблемых задач», имеет и задачи «частные»⁴. Сторонники решения «русской проблемы» в октябре 1931 г. выделились в особую ложу Свободная Россия, и хотя все они продолжали одновременно состоять в Северной Звезде, однако, вопреки масонским установлениям, стали обсуждать политические вопросы на своих заседаниях. Все это вызвало решительный отпор со стороны Осоргина.

После прочтения в Свободной России доклада с неприкрытым политическим содержанием разразился настоящий скандал, около сорока человек в знак протеста против привнесения политики в русское масонство покинули заседание ложи. Осоргин делает заявление на имя досточтимого мастера:

«Устав Великого Востока запрещает ставить на обсуждение в ложах трех степеней вопросы, могущие обострить между братьями политическую рознь и вызвать на этой почве споры и столкновения.

¹ Гурвич Г. Д. Памяти друга / Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. № 4.

² Бурышкин П. А. Указ. соч.

³ ЦГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 2.

⁴ Бурышкин П. А. Указ. соч.

Я не настаиваю на этом запрещении, так как самое понятие «запрещение» считаю неприемлемым для лож свободных и автономных в направлении и характере своих работ. Но выше буквы устава — обычаи нашего братства, также решительно осуждающие политический и религиозный уклон в работах мастерских.

Если наконец и ссылки на обычаи недостаточны, так как в ложах французских эти обычаи резко нарушаются, то остается несомненным, что вся идеология Братства вольных каменщиков, стремящаяся объединить людей разнообразных политических взглядов на служение задачам высоконравственного порядка и целям не временным и случайным, а вечным и взаимнодоговоренным, — такая идеология отрицает не только политические споры и пререкания, но и выбор для беседы тем, которые могли бы также споры вызвать.

Как брат, избранный вами на пост блюстителя устава, обычаев и чистоты идеологии в нашей ложе, я обращаю ваше внимание на происшедшее печальное событие как на наглядное и яркое доказательство мудрости масонских обычаев и разумности узаконений устава и постановлений конвентов по этому вопросу. Малейшее их нарушение грозит нашим ложам если не развалом, то идеологическим вырождением¹.

Тогда же Осоргин обращается с письмом к М. С. Маргулиесу:

«Если бы мы жили в России, я бы с Вами согласился: борьба за свободу и братство у себя — одна из настоящих задач Братства вольных каменщиков. Не впуская в политическую борьбу наши ложи, мы бы насаждали в них семена высокой человечности и прав личности — уже для борьбы вне масонских лож. Там было бы за нами знание, полная уверенность, подлинность и близость целей. Здесь этого нет и быть не может. Здесь налицо только злоба обиженных судьбой неудачников, полнейшее невежество в делах и настроениях России. Потеря почвы и скудость мысли, утомленной и утратившей ясность. Допустим, что Вы прекрасно справитесь с докладом, <...> использовав два одинаково пристрастных источника: советский и эмигрантский; но за Вами пойдут «возрожденцы» с докладами о необходимости ориентации на Японию, за ними экс-генералы, мечтающие об интервенции и губернаторских постах в «освобожденной России». Все это в качестве первосортного продукта, «здоровой русской мысли» будет преподнесено французским лавочникам и торгующим совестью депутатам на предмет дальнейшей обработки уже в их рядах, их средствами и в их целях. Это ли называется «борьбой за свободу и братство»? Полноте! Это только вызовет резкий раскол в наших рядах, потому что ведь не все же могут принимать за подлинную «борьбу» эмигрантскую мышью суету в пределах недостижимости. Там иное дело, там, даже и неправая, она была бы благородной в своей искренности; здесь она более чем бесплодна, противна и низка. И не я один так думаю»².

Итоги этой дискуссии подведены в докладе Осоргина «Путь русского вольного каменщика» и в отчете П. Н. Переверзева. Осоргин высказал мнение, что точка зрения Маргулиеса, в соответствии с которой русские могут выполнить в эмиграции «какую-то особую миссию, чем-то служить интересам своей страны», есть «не более как сладкий самообман, одна из последних, уже давно потускневших

¹ Бурьшкин П. А. Указ. соч.

² Там же.

иллюзий»¹. Переверзев в своем отчете заявил: «Чувство родины несравнимо ни с какими политическими симпатиями и стремлениями. (...) Чувство родины, не поддающееся никакому рационалистическому определению, входит целиком в масонское восприятие мира, пламень его горит на алтаре нашего храма»².

Точка зрения Осоргина, решительно и постоянно выступавшего против превращения масонских лож «в арену политического митинга», победила. Ложа Северной Звезды «глубже ушла в моральную, духовную и посвятительную работу»³, а в начале 1939 г. и Свободная Россия отказалась от политической пропаганды и вскоре была переименована в ложу Вехи.

Осоргин придавал большое значение углубленному изучению масонских обрядов, символики, хотя многим это казалось несвоевременным, ненужным. В одной из своих речей Осоргин говорил: «В символике масонства найдете вы много прекрасных поэтических легенд, частью древних, частью созданных поэзией исторического периода масонства. Изучать все это для того, кто любит и умеет изучать,— большое наслаждение. (...) Вопрос о практической нужности здесь столь же мало уместен, как по отношению к поэзии, литературе, музыке и любому искусству. В символике масонства — его поэзия и его глубокая философия»⁴. Позже он вновь писал: «Искусство без символов невозможно. Масонство есть искусство...»⁵ Эта мысль получила развитие в повести «Вольный каменщик».

Проповеди Осоргина не остались не услышанными. В ложе Северной Звезды символические обряды занимают все больше места, вводятся обряды для «присоединения» членов другой ложи, начинают проводиться торжественные «траурные» ложи в память об ушедших братьях.

Бурьшкин отмечал и еще одну важную сторону в исканиях Осоргина: «Пусть не все и, может быть, даже не большинство братьев ложи разделяли фанатическую веру брата М. А. Осоргина, что основной и, в сущности, единственной задачей масонства было «посвященное познание природы», но именно его доклады на эту тему,— а он к этой мысли в конце своей масонской жизни все более и более любил возвращаться,— подымали уровень происходивших обсуждений на огромную высоту и подлинно влекли их в «горние обителица духа»⁶.

17 ноября 1932 г. Осоргин открывает свою собственную, независимую ни от каких французских масонских союзов ложу Северных Братьев. Основателями ее стали братья обоих масонских «послушаний», что было предметом гордости Осоргина. Организованные им символические собрания стали основой создания в эмиграции единого русского масонства. Именно эту задачу Осоргин считал главной.

В 1938 г. Осоргин становится досточтимым мастером ложи Северной Звезды и начинает свою реформаторскую деятельность по объединению русского масонства уже не только в среде Северных

¹ Бурьшкин П. А. Указ. соч.

² Там же.

³ Там же.

⁴ ЦГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 2 об.

⁵ Там же. Л. 13.

⁶ Бурьшкин П. А. Указ. соч.

Братьев, но и в Северной Звезде. Но планам его не суждено было сбыться — приближалась война.

П. А. Бурьшкин вспоминал, что Осоргину удалось превратить ложу Северных Братьев в организацию единомышленников: «Можно было бы думать, что редкий для эмиграции высокий культурный уровень состава ложи, наличие первоклассных ученых и писателей, с европейской и даже мировой известностью, выдвинут на первое место читанные в ложе доклады и имевшее место их обсуждение, придавшее ложе характер своего рода эмигрантской академии. (<...> Но не эта сторона ее работы останется навсегда запечатленной в сердцах тех, кто был в ее рядах перед войной 1939 г. Та подлинная братская цепь, которая соединила в одну семью большинство братьев ложи, будет самым дорогим и самым острым воспоминанием жизни ложи»¹.

* * *

Как ни привлекательна идея братства, но масонство — это и попытка уединения, отталкивания от чуждого. «Неудовлетворенность и ухудшающееся здоровье привели к более глубокому уходу в себя, в свои идеи, — вспоминала Т. А. Бакунина-Осоргина о последних годах писателя. — Отсюда — разочарование в людях вообще и сосредоточенное внимание к отдельному человеку, которому можно было бы передать свое собственное миропонимание»². Замысел «Вольного каменщика» был продиктован неприятием бездуховного, плоского, пошлого существования: «Единственный роман, фоном которому послужила эмигрантская жизнь, возник после вечера, проведенного за карточным столом у хороших знакомых. Приятная квартирка, все удобно и красиво, но все мещанское, никак не соответствующее духу Михаила Андреевича. Вернувшись к себе, он сказал: «Ну, друг, ты мне за этот вечер заплатишь, всего тебя опишу!»³

Герой повести «Вольный каменщик» — простой, «маленький» человек. Поэзия простоты всегда притягивала Осоргина, претензии на интересность и загадочность вызывали у него насмешку: «Герои стройны, небрежны, обладают высоким лбом и мягкими волосами и достаточно сильны, чтобы утаскивать героиню на руках в смежную комнату, хотя она и сама могла бы туда пойти»⁴. Не таков Егор Егорович Тетехин (Тэтэкин, как называют его в Париже) — не «герой романа», а просто пятидесятилетний человек, с судьбой своей давно смирившийся, имеющий мещанку-жену и сына, говорящего по-русски без падежей. Быт его — серый, жизнь — «маленькая, изо дня в день та же и та же».

В одном из рассказов Осоргина благополучный мирок героя, спокойно живущего под семейным колпаком, разрушается припадком возмущения жизнью, столь сильным, что он пытается покончить с собой. И понимает, что эта неудачная попытка и есть единст-

¹ Бурьшкин П. А. Указ. соч.

² Cahiers du Monde Russe Soviétique. Vol. XXV (2—3). April — Septembre. 1984. Paris.

³ Бакунина-Осоргина Т. А. М. А. Осоргин. Биографический очерк. — ЦГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 2 с. Л. 92.

⁴ Осоргин Мих. Ошибки начинающих / Последние новости. 1935. № 5534. 18 мая.

енное событие в его жизни. Перелом произошел и в судьбе Егора Егоровича. Он случайно, по приглашению сослуживца вступил во французскую масонскую ложу. Сначала воспринял это как развлечение, как выход за пределы заученного, но скоро понял, что в жизни его начался новый, важный этап, что ему вдруг оказалась необходимой эта «переправа через Иордан, из мира векселей и страховых полисов, из мира кисейкой прикрытой лжи, из мира ужасной тоски по горным высотам в мир загадок и тайных символов, в мир детской веры в совершенного человека, в созвучие микрокосма с макрокосмом, в соборное слияние творческих воль».

Егор Егорович бросился к книгам. Добросовестность его несомненна, но мистические, мифологические основы масонства остались для него недоступными. Фрагменты мифологических систем разных времен и народов, масонскую символику Осоргин сталкивает с реалиями жизни, и его герой, живущий отныне «в зачарованности и полусне», как в паутине, запутался в этих сюрреалистических узорах. Великий алхимик оказывается на кухне и готовит соус, жена Тетёхина Анна Пахомовна ищет в своем комодке «ключ к загадке бытия», названия станций метро и рекламные надписи сливаются с символами масонской ложи, пассажиры метро превращаются в гиен из тома Брэма, Библия и позднейшие масонские толкования библейских легенд о строительстве Храма смешиваются с каждодневными событиями, Хирам превращается в подрядчика с соседнего участка, так же, как убийца Хирама сливается в сознании Егора Егоровича с ним самим¹. С тонкой иронией рисует Осоргин неожиданные напластования высокого и повседневного в мыслях Егора Егоровича. И справедливо отметил один из рецензентов большое искусство Осоргина в создании «ощущения лабиринта»: «Словно на громадных качелях, переносит он читателя из подвалов обыденщины в надстратосферу недостижимого, в лабораторию вечного Хирама»².

24 апреля 1936 г. Осоргин в письме к старому московскому другу А. С. Буткевичу рассказал об окончании работы над «Вольным каменщиком» и, предвидя споры о масонском фоне романа, заметил: «Для здешнего читателя (русского) он слишком дерзок и задорен»³. Эта книга Осоргина действительно вызвала много споров. Ее разбору было посвящено специальное заседание в ложе Северной Звезды. Масонский летописец П. А. Бурыйшкин писал об этом: «Некоторые указывали, что автор зашел слишком далеко в раскрытии «масонской тайны»; другие считали, что масонство изображено в романе в слишком непривлекательном виде, что может также повредить Ордену. Наконец, было мнение, что свойственный автору слишком субъективный подход к масонству, его задачам и его обрядности должен дать профанскому читателю неверное и худшее представление об Ордене вольных каменщиков»⁴. Не соглашаясь с подобными утверждениями, поэт В. Жаботинский писал: «Все то,

¹ Подробнее об этом см. статью известного слависта В. М. Сечкарева «Die Wahre Ironie in Michail Osorgins «Vol'naj Kamenscik» (Belmont).

² *Жаботинский В. О «Вольном каменщике» М. А. Осоргина* / Последние новости. 1937. № 5802. 11 февраля.

³ ОР ГБЛ. Ф. 599. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 17—17 об.

⁴ *Бурыйшкин П. А. Указ. соч.*

что у Осоргина упоминается из ритуала и из доктрины вольных каменщиков, напечатано в книжках, которые продаются в любой лавке; и вообще, самое масонство эмигранта Тетёхина — скорее аллегория. «Вольный каменщик» есть повесть о каждом из нас, кто только умеет взбунтоваться против подвала. (...) Существенна в замысле этой повести только вера в то, что каждому человеку, если он воистину хочет быть человеком, нужно открыть для себя вторую, высшую жизнь»¹. Эта мысль рецензента представляется тонкой и справедливой.

Жизнь Егора Егоровича казалась ему благополучной, он прочно обосновался в Париже, успешно работал в одной из торговых контор. Но работа «вольного каменщика» разбудила дремавшую мысль, и он увидел, почувствовал все несовершенство «организации на земле человеческого бытия». «Мир плавает в зле, как клетка в супе, философ глубокомысленно бездействует, а маленький человек должен молчать и не рыпаться?» — с этим Егор Егорович согласиться не мог. И он пытается помочь людям. Его старания порой наивны, порой трогательны. Пусть бесплодна попытка перевоспитать Анри Ришара или борьба с вечно живой порнографией, но приносит пользу «Союз облегчения страданий», созданный им вместе с аптекарем Руселем и обойщиком Дюверже, спасительны усилия оказать помощь умирающему от голода профессору Панкратову. Простота героя Осоргина не делает его смешным, потому что на другой чаше весов оказывается неподдельная доброта. Многое он постигает интуитивно, и хоть не понимает всех тонкостей масонства, но оказывается человеком, способным по-братски относиться к окружающим его людям.

В одной из статей Осоргин, вспоминая книгу А. Ф. Кони об известном московском гуманисте докторе Гаазе, посвященную харьковскому профессору Л. Л. Гиришману, писал: «Забыты не только три названных гуманиста, а вообще — умирает в мире гуманизм». Трагедией своего времени он считал искажение гуманистической идеи: «Личное дело, «торопливость в делании добра» уже не идут в счет там, где раздаётся проповедь созидания общечеловеческого счастья любыми мерами, вплоть до единичного и массового убийства, где «сегодня» приносится в жертву туманному будущему. (...) Вымерли чудаки, люди малых дел, утрированные филантропы, их сменили вожди, люди грандиозных заданий, командиры вооруженных спасателей человечества»². Несопоставимы масштабы действий героев этой статьи и Егора Егоровича Тетёхина, но все же и он оказывается «утрированным филантропом», искренним и привлекательным в своем желании помочь людям.

Егор Егорович потерял работу, семья его уехала в Марокко, а сам он вместе с профессором Панкратовым оказался «на островке личного спасенья», в своем саду под Парижем. Он погрузился в мир природы и в этом нашел утешение. Единство мира, нерушимая связь всего живого, необходимость слияния человека с природой — все это было дано понять Егору Егоровичу.

И если раньше Осоргин просил любить своего героя «в шутовском наряде», то теперь он оказывается рядом с ним. Отброшена маска, забыты и ирония, и сарказм, и деланное равнодушие, ощути-

¹ Последние новости. 1937. № 5802. 11 февраля.

² Осоргин Мих. Утрированный филантроп / Последние новости. 1936. № 5754. 25 декабря.

мой становится благожелательность автора, о которой раньше можно было только догадываться.

«Мимо меня проходит человеческая судьба, неразрешимый вопрос, подкованный трудом и горем, и я знаю, что ни в каких книгах ответа на него не найду. (...) А когда шаги смолкнут совсем, я спешу вернуться к своим цветам и кустам, потому что если нет ответа, то возможен уход в иные миры, живущие по иным, непреложным законам»¹, — писал Осоргин. Размышляя о судьбах людей, которые, как и сам он, оказались жертвами «человеческой бесчеловечности», он искал утешения в Великой книге природы, считал, что работа на земле будит не собственнические, а творческие инстинкты человека, помогает ему справиться со своими бедами, лечит его душу, поэтому тяга к земле будет существовать всегда, пока останутся хоть «кочки земли, не залитые асфальтом».

Один из циклов рассказов Осоргина подписан псевдонимом — Обитатель. Осоргин предвидел, что в будущем «обитатели земной поверхности» будут жить в царстве обмелевших рек, отощавших лесов, на голом асфальте, среди сплошного грохотания города, что они утратят дразнящие порывы стихийности, что им придется смириться с поцелуями «через обезвреживающую бумажку»². И пока дело не дошло до этой крайности, не следует ли прислушаться к словам Осоргина: «Я уверен, я положительно знаю, что не все погибло и что путь спасения искони намечен и указан спокойствием и мудростью природы. (...) Настоящая правда только в тишине утреннего часа — и настоящая мудрость»³.

Лучшей традицией русской литературы Осоргин считал ее человечность и великодушие. Разрушение этой традиции, отход от нее, обращение современных ему писателей к «ожерелью слов поддельного жемчуга», к «попугайному отклику на злобу дня», к «трактованию французского любовного треугольника», к потаканию вкусам парижской панели, — он воспринимал как трагедию, не менее страшную, чем «сама эпоха, в которой судьба весьма жестоко приказала нам жить». Свою же цель, не загроможденную «мусором скептических положений и двусмысленных улыбок», Осоргин видел в «неустанных поисках истины», в «насаждении любви»⁴. Этой цели он остался верен до конца пути.

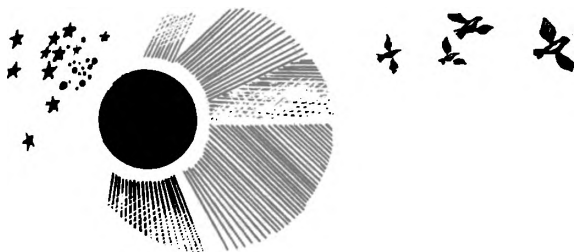
О. Ю. АВДЕЕВА, А. И. СЕРКОВ

¹ Осоргин Мих. Каменный шаг/Последние новости. 1937. № 5980. 9 августа.

² Обитатель. Окликание весны/Последние новости. 1930. № 3280. 16 марта.

³ Осоргин Мих. Тишина/Последние новости. 1938. № 6306. 2 июля.

⁴ Осоргин Мих. Литературные размышления/Последние новости. 1936. № 6671. 3 июля.



ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК

ПОВЕСТЬ

ЕГОР ЕГОРОВИЧ И БОГИНЯ ИШТАР

Егор Егорович Тетёхин, человек со смешной фамилией и прекрасным сердцем, герой этой повести, в первой половине своей жизни был почти ничем. Почтовый чиновник в дореволюционной Казани — почти ничто; муж своей жены и отец малолетнего Георгия (уже не Егора) — почти ничто. Затем приходят чехословаки, спасающие чужую страну благо-разумным отступлением, занимают город Казань, отдают город Казань, и за чехословаками уходит часть населения города Казани.

Это — уже не история и еще не история; это — сумбур и чепуха. Почти ничто, почтовый чиновник не из крупных, обходит с молодой женой и малолетним сыном вокруг земного шара и поселяется в Париже. Совсем неожиданно земля, бывшая огромной и существовавшая, строго говоря, только на географической карте и в толстой почтово-телеграфной книге, справочной для телеграмм и заказных писем, — становится реальностью, а именно небольшим аптечным шаром, по которому, не зная зачем, ползают мухи с подержанными крылышками — русские эмигранты. Не помнится, чтобы кто-нибудь когда-нибудь послал из Казани письмо, бандероль или кусочек казанского мыла на остров Борнео; а между тем Егор Егорович, с женой

и сыном, видел в подлинном городе Сингапуре подлинную обезьяну, протискался через Малаккский пролив и самолично, глазами, привыкшими созерцать слияние реки Казанки с илистым Булаком, обозрел необозримый Индийский океан.

Если бы этот путь, богатый приключениями, проделал один человек, — он был бы почтен за замечательного и весь остаток жизни мог бы писать воспоминания; но таких же было очень много, и Егор Егорович остался человеком срединным, ничем не выдающимся. Из одного года его биографии, правильно нарезав, можно бы было создать десять-двадцать полновесных житий англичанина, француза и итальянца; для русского человека — это как раз на одного.

В дни своей мирной казанской жизни Егор Егорович мог, сильно распалив фантазию, которой у него не было, предположить в будущем все, что угодно, но не Париж. Он, например, мог сделаться начальником почт и телеграфа во всей Казанской губернии, скажем даже — главноуправляющим почт во всей империи, хотя это уж слишком. Он мог выстроить огромный (этажа в четыре!) дом на Проломной улице, прославиться усовершенствованием аппарата Морзе, купить три парохода на Волге, развестись с женой, — словом, возможна была всякая необузданность фантазии; но в его мыслях не могло никогда быть такого оборота вещей, при котором он оказался бы на улице Convention оседлым парижанином, вполне хорошо говорящим по-французски и служащим в конторе Cachette. Однако мир перекувырнулся — и так именно случилось. К началу повести его сын Георгий был уже Жоржем и по-русски почти не говорил.

Рост Егора Егоровича несколько ниже среднего, глаза серые, волосы с проседью, усы, бородка, малая в себе уверенность, доброе и доверчивое отношение к людям, все полагающиеся недомогания возраста (пятьдесят лет), покорность судьбе. Его жена, — говоря вообще и без желания обидеть, — неприятная женщина и духовно гораздо его ниже. Но двадцать лет прожито вместе.

Постепенно расскажутся некоторые подробности парижской жизни Егора Егоровича Тетехина, а предварительно излагать их вряд ли нужно. Быт его, полурусский-полуфранцузский, сероват и обычен;

знакомства необширны. В пище — остатки родных традиций, то есть довольно часто каша и все на сливочном масле; но, конечно, и пуаро, птипуа, арико. Обстановка квартиры, к сожалению, более французская: грандиозная общая с женой кровать посередине комнаты, салончик с субтильными креслами, на камине обже-д-ары. Жена Егора Егоровича очень скоро прижилась в Париже, скажем — обмещанилась; ничего мудреного, потому что она и была настоящей чиновницей-мещанкой. Так как в Париже они жили довольно хорошо, без нужды, то и обставились соответственно. Особого кабинета для занятий у Егора Егоровича не было; был только свой хороший уголок в салоне, то есть книжный шкаф, кресло и небольшой, вроде письменного, стол. В книжном шкапу — классики в издании Ладыжникова, романы эмигрантских писателей — Алданова, Минцлова, а бунинская «Митина любовь» даже в переплете. Конечно, и французские книги: Золя, Мопассан, Моруа, малый словарь Ларусса, на корешке которого осыпается одуванчик. В самое последнее время в ящике стола завелись брошюры и книжки в синих обложках, которые он никому не показывал. Но об этом после.

У сына Жоржа своя комната; в ней учебники, теннисная ракетка, мячи. Жорж — юноша недурной, без прыщей, но только не русский. У него уже наметилась своя жизнь, которая в этой повести, вероятно, не отразится.

Начинается повесть с того дня, когда Егор Егорович однажды сказал жене, что вечером уйдет и обедать не будет. Ввиду некоторой необычайности заявления Анна Пахомовна вынудила его объяснить причину, и он объяснил откровенно и с некоторым смущением:

— Пригласили меня поступить в члены одного французского общества, не то чтобы тайного, а все-таки я только тебе говорю, а ты никому не рассказывай.

— Кто пригласил?

— Один сослуживец. Ничего особенного. Большое общество, в него входят и министры, и маленькие служащие, все — как братья, попросту. Одним словом — масоны. Интересно все-таки. Это во Франции разрешено.

— Когда же ты вернешься?

— Часам к двенадцати. Там будет обед.

Анна Пахомовна подумала, что обед, вероятно, будет дрянной. На закуску — селедочное филе в масле и недоваренная жеваная говядина с салом. Потом телятина, плавающая в желтоватой водичке. Салат, сыр и жидкий кофе. В остальном Анна Пахомовна интереса не проявила. И когда за обедом Жорж спросил, где папа,— она ответила:

— У него какое-то дурацкое заседание.

В эту минуту Егор Егорович отрезал жизнь прошлую от жизни предстоящей.

При очень бледном и дрожащем свете дописаны на печатном бланке торжественные и банальные слова. Затем на взрослом человеке начал истлевать пиджачок, за ним обувь и рубашка. Человек снизился, сморщился, замкнул глаза, превратился в комочек и запутался в материнской пуповине.

Счет времени приостановился. В недрах земли спало зерно с истлевшей оболочкой. Земля делала свой обычный оборот вокруг Солнца. Богиня Иштар, дочь Сина, пройдя путь, которому нет обратного, достигла страны, из которой возврата не бывает,— царства теней, жилища Иркалла,— и постучала у дверей:

— Привратник, отопри, впусти меня! Если ты не отворишь двери — я выломаю ее, я разобью запоры, уничтожу порог! Я выведу мертвых, чтобы они пожрали живых,— и среди живых умножатся мертвые!

Привратник сказал:

— Подожди, повелительница, я доложу о твоём приходе царице Алату!

Он ей доложил:

— Это Иштар, твоя сестра.

— Впусти ее, соблюдая древний обычай!

Широко распахнув двери, привратник впустил богиню Иштар, сняв с ее головы корону.

— Почему ты снял мою корону?

— Входи, повелительница: таков закон Алату.

У второй двери он снял с нее серьги, у третьей ожерелье. Так снял все ее драгоценности, и на последнем пороге он отнял у богини пояс стыдливости.

— Почему ты снял мой пояс, привратник?

— Входи, повелительница: таков закон Алату.

Увидав Алату, Иштар хотела броситься на нее, но царица теней приказала своему служителю Намтару:

— Возьми ее, запри в моем дворце и напусти на нее шестьдесят болезней:

болезнь глаз на ее глаза,
болезнь ног на ее ноги,
болезнь сердца на ее сердце...

С той поры, как Иштар сошла в страну, из которой нет возврата, на земле замерла жизнь: бык не покрывал коровы, осел — ослицы, и человек не нисходил до служанки.

Человек спал отдельно.

Отдельно спала рабыня.

Ждать пришлось долго. Глаза Егора Егоровича присмотрелись к полумраку. Было, конечно, очень любопытно, но нестрашно: мишура явная. Скелет не настоящий. Из надписей страшна: «Ты сам таков будешь». Егор Егорович решился посмотреть, что в вазах: в одной оказалась самая обыкновенная поваренная соль, крупная, грязная и влажная, на дне другой вазы — пропылившийся желтый порошок. Мимо запертой на ключ двери шаркали ноги: рядом с этой комнатой была уборная. Двое, проходя, громко разговаривали:

— Если рано кончится — в белот сыграем?

— А ты на агапу не останешься?

— А ну ее!

Егору Егоровичу хотелось курить, но он не знал, можно ли. Как будто нехорошо! Подняв глаза — увидел форточку. В гимназические годы куривали в уборной в форточку. Когда ключ в двери повернулся, Егор Егорович вздрогнул. Вошел тот же человек, который запер его в комнатке:

— Написали?

— Написал, да не знаю, правильно ли.

— Это все равно. Я это возьму, а вы пока снимите пиджак и башмаки. И воротничок отстегните. Вот тут одна туфля. Я вернусь и вам объясню. Носки тоже снимите.

К отцу Иштар явился вестник богов, с лицом потемневшим, в одеждах разодранных и грязных:

— Царь, с той поры, как Иштар сошла в край без возврата, жизнь на земле остановилась: бык не покрывает коровы, осел — ослицы, и мужчина не входит к рабыне: он спит отдельно, и отдельно спит женщина.

И тогда царь создал женственного Атсушунамира и приказал ему спуститься в край без возврата:

— Перед тобой распахнутся семь дверей, и ты предстанешь пред лицом Алату.

Увидав женоподобного вестника, Алату укусила свой палец:

— Иди прочь, Атсушунамир, или я тебя зачарую. Ты будешь пить сточную воду городов, ты будешь питаться их пылью и мусором, и твоим жилищем будет тень, бросаема я их стенами.

Но именем богов Атсушунамир потребовал открыть источник живой воды, и Алату приказала служителю Намтару вывести Иштар из дворца, опрыснув ее живой водой.

И при выходе ее привратник:

у первой двери возвратил ей пояс стыдливости,

у второй двери — кольца и браслеты,

у третьей — опояс, украшенный родильными камнями,

у четвертой — украшения груди, у пятой — шейное ожерелье, у шестой — ее подвески,

и у седьмой двери он возложил венец на голову богини Иштар.

Его вели под руку с повязкой на глазах, и никогда еще он не казался себе таким неуклюжим и смешным. Может быть, напрасно он, почтенный и пожилой человек, согласился быть участником забавы. Он не знал, нужно ли улыбаться для сохранения достоинства, или это неуместно; и в то же время его нервы были напряжены.

Когда они остановились, его водитель грубо застучал кулаком в дверь, и Егору Егоровичу опять захотелось снять глупую повязку, извиниться и уйти.

Что-то щелкнуло, донесся голос неестественного тона, спутник Егора Егоровича назвал его, затем Егора Егоровича подхватили, пригнули ему голову, так что веревка неприятно защекотала шею, потом подтолкнули в спину, и, шлепая туфлей на босой ноге, он смиренно отдался на чужую волю.

Дальше было почти страшно, так как он боялся оступиться и упасть. Пол подымался и опускался, ноги запинались о неровности. Он плохо разбирал слова, которые говорились для него напыщенным тоном. За чем-то ему едва не опалили лицо, затем велели пить горечь, оказавшуюся красным вином ordinaire *, кисловатым и терпким, потом было слышно, как точат ножи, и на минуту Егору Егоровичу пришло в голову, не попал ли он действительно в скверную переделку и не окончится ли все это для него печально. Когда наконец с его глаз сняли черную повязку, он стоял совсем ошалелый и потный и, часто моргая, растерянно переводил глаза от кинжала у сердца к возвышенью комнаты, которое казалось ему ослепительно светлым.

Это состояние ошалелости и порядочной усталости продолжалось и дальше, когда все стало довольно обыкновенным и незнакомый француз с лентой через плечо говорил с полчаса в общем очень хорошие слова, пуская, где нужно, дрожь в голосе. Из речи француза Егор Егорович узнал, что он стал учеником и неотесанным камнем и что отесывать себя он должен сам, хотя помогут и другие.

Ежедневная работа Егора Егоровича требует большого внимания, но не тяжела. На восьмом году службы он — начальство. В свое время, еще в Казани, готовясь к почтенной почтово-телеграфной карьере, он старательно изучал иностранные языки, сначала по Туссену и Лангеншайту, а потом и с учителем. Французский изучил отменно, немецкий недурно, английский достаточно, чтобы разбираться. Это помогло ему в Париже хорошо устроиться в торговой конторе.

Сослуживец и подчиненный Егора Егоровича, молодой француз, сегодня пожал ему руку по-особенному. Егор Егорович ответно улыбнулся, но огляделся: пожалуй, тут условные знаки и ни к чему. Просматривая ведомости и подписывая бумаги, он мысленно переживал вчерашнее. Все-таки впечатление сильное.

Жизнь наша маленькая, изо дня в день та же и та же. Очень все заучено, полезно и необходимо. Выйти за пределы этой законной заученности — всегда приятно. Вместо слов казенных — вдруг такие новые, что

* столовым (фр.).

почти стихи! И вместо monsieur* ласковое mon frère**. И вместо привычных и нужных движений — совсем особенные, театральные, неожиданные, бесполезные и, пожалуй, красивые.

Убедившись, что дверь кабинета затворена, Егор Егорович встал, поднял соответственно руку и попробовал сделать шаги, как его учили; но среди деловой обстановки это показалось ему слишком смешным, а кроме того, мог кто-нибудь быстро войти и увидеть, что начальник словно бы танцует. Сам себя застыдившись, Егор Егорович сел за стол, нахмурился и занялся делами.

От полудня до двух часов, когда контора пустела, Егор Егорович иногда уходил в ресторанчик, а то закусывал в конторе принесенным из дому: и дешевле и вкуснее. Приятные часы, никого нет, можно подумать и почитать. Сегодня он внимательно прочитал синюю брошюрку, которую ему дали.

Перед его столом висела на стене географическая карта с отметинами, и он ясно себе представлял, как по этой карте разбегаются пачками газеты и связки книг из конторы. Вот точно так же может по ней растекаться и проповедь хороших чувств — по разным странам и разным городам. Или, как вчера говорил француз: «Где бы ты ни был, в любой чужой стране, в любом городе ты найдешь человека, который поймет тебя по знаку и слову и поможет тебе в затруднении». Если правда — то это замечательно! Предположим, занесло меня куда-нибудь в Австралию (а что может занести — Егор Егорович после Сингапура не сомневался), и вот все там чужое, и никого решительно я там не знаю, и еще случилось какое-нибудь затруднение или несчастье. И вдруг... «Как? Значит, вы...» — и тотчас же полная перемена в обращении и в судьбе, быстрая братская помощь, улыбки и рукопожатия. Замечательно! Менее понятно остальное, хотя, слов нет, привлекательно именно своей таинственностью. Почему, например, треугольник? Потому что он соединяет три в едином. Ну, так что же из этого, и какие три в каком едином? И однако три — число священное с незапамятных времен. «Без троицы дом не строится» или там что-нибудь подобное.

* господин (*фр.*).

** мой брат (*фр.*).

Синяя книжечка перелистана, и нельзя сказать, чтобы она была достаточно толковой. Живое слово дало бы больше.

Вчера за ужином Егор Егорович сидел рядом со старым французом, молчаливым и как будто безжизненным. Все были веселы, он оставался задумчивым. Егор Егорович, обычно вина не пивший (полстаканчика с водой), тут после двух стаканов осмелел и почувствовал потребность в душевной беседе. И он спросил молчаливого соседа:

— Вы, вероятно, давно состоите в обществе?

Сосед медленно разрезал кусок худосочной телятины и ответил:

— Двадцать три года, дорогой брат.

— Ой! Так что вам, конечно, известны многие тайны?

С полной серьезностью сосед сказал:

— Тайна есть только одна, и узнать ее невозможно.

Егору Егоровичу очень хотелось спросить, что это за тайна, но он удержался. Прожевав кусок телятины, сосед прежним тоном добавил:

— Эта тайна: откуда мы пришли, кто мы и куда мы идем? И в этой тайне все.

Интерес Егора Егоровича не то чтобы потух, но ослабел. Он знал отлично, что он — служащий фирмы Кашет, пришел из дому, с улицы Конвансьон, вернется туда же. А когда он вернется, жена, если она еще не спит, спросит: «Ну, кормили тебя, конечно, дрянью?» Вряд ли она проявит большой интерес к тайнам Егора Егоровича.

После пюре из каштанов, от которого остается во рту сладковатый сор, подали жиденский теплый кофе; и тогда председатель провозгласил сразу несколько тостов, а оратор, ложи повторил приблизительно то же, только покороче, что уже говорил, когда оглушенного и ослепленного Егора Егоровича усадили на особый стул. Опять не без труда усвоил себе Егор Егорович, что в дальнейшем ему постоянно придется заниматься обтесыванием камня, причем особенно старательно скалывать суеверия и предрассудки. Затем предложили самому Егору Егоровичу ответить на эту речь. Сильно смущаясь, но не столько затрудняясь в языке, сколько в приведении мыслей в должную

связь, Егор Егорович поблагодарил своих новых братьев за то, что они приняли его в свою среду, и обещал обтесывать себя по мере сил и знания, чтобы быть достойным. Так как все присутствовавшие именно этого от него и ожидали, то Егор Егорович имел успех: ему аплодировали и жали руку.

У трамвайной остановки Егор Егорович опять оказался вместе с тем же стариком, подошедшим позже. И тут Егору Егоровичу пришла в голову мысль, имевшая в его жизни чрезвычайные последствия. Он предложил французу зайти в кафе и взять аперитив. Тот сразу согласился — и целый час они провели за уединенным столиком. Молчаливый в большом обществе француз оказался отличным и живым собеседником вдвоем.

Когда наконец Егор Егорович вернулся домой и, чтобы не будить жены, тихонько разделся, лег и выключил свет, он долго не мог заснуть от наплыва разнообразнейших и странных мыслей, пробужденных событиями вечера, и особенно последней случайной беседой в кафе. Мысли его не укладывались в привычные и простые умозаключения, и в особенности одна, раньше никогда не приходившая в голову, теперь беспокоила и волновала до крайности: мысль о том, что в жизни его завершился этап и предстоит нечто совсем новое. Прежний Егор Егорович умер естественной смертью и истлел в земле; новый Егор Егорович лежит в пеленках, щурится от света и, не умея ни читать, ни писать, по складам произносит некое слово, не имеющее никакого смысла, но очень важное и очень таинственное.

В последней дремоте Егор Егорович, вытянувшись в постеле, чувствовал себя мужской колонной храма, и рядом с ним была колонна женская. Потолок спальни завершал и соединял их архитравом, и эта естественная триада погрузилась во мрак ночи и небытия.

ДВА МИРА

Что общего между Егором Тетёхиным, одним из служащих конторы Кашет, и Гермием Трижды Величайшим, сыном Озириса и Изиды, открывшим все науки?

Вот он сидит, великий Трисмегистос, голова его увенчана коронованной чалмой с коническим верхом, в правой руке циркуль, в левой глобус; вдали на скале распростер крылья царственный орел. И рядом, за малым письменным столиком, Егор Егорович с трубкой в зубах, и в трубке смесь капорала со сладким леваном,— а перед ним загадочная малопонятная книга.

«То, что внизу, как то, что вверху, и то, что вверху, как то, что внизу, для того, чтобы совершить чудеса Одного и того же. И подобно тому, как все предметы произошли из Одного по мысли Одного, так все они произошли из этого вещества, путем его применения».

Заведующий экспедицией тщетно силится понять «Изумрудную Таблицу» Гермия. В кухне звякают кастрюли, в столовой позванивают тарелки. Всегда чем-нибудь недовольная Анна Пахомовна недосчитывается соусника, не подозревая, что соусником завладел Феофраст Парацельс Бомбаст Гогенгейм, лысый, не без добродушия человек в длинной одежде, с солнцем и луной за плечами. Тут же в кухне, притворяясь фам-де-менаж, Великий Алхимик крошит в соусник кусочки серы и подбавляет ртути, после чего ставит соусник прямо на газовую плиту. «При сем деле наблюдать должно четыре степени огня: в первом распускает ртуть тело свое, во втором высушивает ртуть серу, в третьем и четвертом ртуть делается неподвижным». Феофраст Парацельс помешивает свое варево и стучит ложкой о край посуды. Еще слышно, как в кухне льется вода из крана. «Философическое небо, или винный камень, все металлы в ртуть превращающий, есть металлическая жизни вода мудрых. Так они разведенные дрожжи и называют». Однако Анна Пахомовна на ужасном французском языке,— она никогда не научится,— старается доказать мадам Жаннет, что «кто для совершенства философского дела превращает ртуть в чистую воду, тот весьма заблуждает», и, кроме того, «лук нужно резать мельче и поджаривать сильнее, непременно подрумянить», и она называет это «mettre du rouge» *, и француженка в полном недоумении. Наконец Парацельс обиженным тоном говорит: «Ну, готово! Егор Егорович, Жорж!» — и теплая струя духовитого съедобного ударяет в нос задремавшего над книгой.

* «покраснить» (*искаж. фр.*).

У Жоржа, который уже бреет губу, огромный рот, а волосы аккуратно прилизаны, хотя на улице он не носит шляпы. У Жоржа есть то, чего до сих пор не было у Егора Егоровича: своя жизнь. Однако за последнее время нечто подобное завелось и у заведующего экспедицией. Нет своей жизни только у Анны Пахомовны, которая говорит:

— Жорж, ты много ешь, а плохо пережевываешь. Это вредно.

Жорж, набив рот, отвечает уклончиво:

— Je fais de mon mieux, maman *.

И Анна Пахомовна недовольна, что Жорж отвечает по-французски.

Большим ртом и большими глотками Жорж пьет вино с водой, тогда как Егор Егорович пригубливает. И вдруг, услышав бульканье в горле сына, Егор Егорович внезапно догадывается, что случилось непонятное и, может быть, непоправимое: жена, сын, обеденный стол и вилка с поджаренной картофелиной быстро и бесшумно по резиновым рельсам откатываются в ужасную даль, а он остается одиноким. Вдали темным угесом виднеется взбитая прическа Анны Пахомовны и мрачной пещерой рот Жоржа. Налево — циркулем наведенное солнце с веселыми бровями, направо — долгоносый лунный серп, и, приняв образ мадам Жаннет, Феофраст Парацельс Бомбаст Гогенгеймский, внезапно выросший в дверях столовой, говорит голосом гортанным и таинственным:

— Премудрость, которой ты служишь, ни в каком счастье тебе не откажет. Живи счастливо и будь блажен!

На что Анна Пахомовна отвечает:

— Бон. Порте.

И Жорж, по обыкновению, морщится от акцента матери.

После сладкого Егор Егорович уходит в спальню переодеться, и так как сегодня вторник, то Анна Пахомовна не спрашивает, куда он идет: по вторникам Егор Егорович уходит пугаться со своими масонами. Что они там делают — никому не интересно; вероятно, говорят о нестоящем, умеренно выпивают и довольны собой.

* — Я очень стараюсь, мама (*фр.*).

Над глазами мосье Жакмена, приятеля и брата мосье Тетёхина, нависли седые брови. У стариков в бровях вырастают особицей длинные, жесткие и прямые волосы, и не по ворсу, а против ворса. Егор Егорович наблюдает за движением особенно толстого, как бревешко, волоса в левой брови досточтимого брата и слушает его связную и убедительную речь. Старик прикладывает губы к стакану мандарен-кюрасо, Егор Егорович потягивает называемый пивом слабый раствор канифоли, — и их столик в угловом кабачке отделен от всего мира синим звездным занавесом познания и посвященности.

Если изобретен мотор, если в мире профанном мальчик-рассыльный перебирает педали велосипеда, а делец дает адрес шоферу, — значит ли это, что ноги человека устарели и отменены? Мой дорогой брат, наука дает ответ на все, кроме того, на что она ответить не может. Там, где беспомощна таблица умножения, — там пытливый дух человека бредет по старым и испытанным путям великих мудрецов, по путям символического познания и мистического постижения.

Упитанный и апатичный кот, с малого возраста лишенный дурных вожелений, третьим вступает в беседу пожилых людей. Рука Егора Егоровича гуляет по шерсти кота, ухо слушает, голова мыслит особо и не совсем связно с разговором. В книжечке, которую он вчера не без труда разбирал, был изображен ведический бог Индра, многовласый старец, распростерший руки, — и руки его заросли бородой до последнего пальца. Брат Жакмен похож на бога Индру, — хотя в петлице брата Жакмена орденская ленточка Почетного Легиона, а во рту золотой зуб, единственный целый зуб его верхней челюсти. Зуб исчезает за губами — и вновь выскакивает из леса седых волос. Вместе с ним выкатываются слова ниткой желтого подобранного янтаря:

— Чего мы ищем и добиваемся? Мы ищем в веках потерянное слово. Наука нам говорит, что человек никогда не был блажен и не был всеведущ, а что был он, скорее всего, обезьяной; и наука, конечно, права, — да что толку в ее правоте? Все равно нам невозможно и невыносимо жить без веры, должен быть ключ к загадке бытия — и слово должно быть найдено. И вот мы ищем его, зная, что найти его невозможно, но наслаждаясь его исканием.

Егору Егоровичу представилось, что вот Анна Пахомовна потеряла ключ от комода — и ищет, ворчит, все швыряет, поминает недобрым словом фам-де-менаж, которая тут ни при чем, потому что ей ключ никогда не доверяется. Но знай Анна Пахомовна, что ключ окончательно потерян в веках...

И он робко говорит:

— Что же искать, если знаешь, что найти нельзя?

Золотой зуб исчезает — и снова выскакивает с пугающим звуком:

— Мой брат, идеал недостижим, иначе он не идеал. Так что же — жить без идеала? Вы не охотник?

— В каком смысле?

— Ну, с ружьем не охотились?

— В молодости случалось. У нас под Казанью сейчас же леса, много зайцев и волки, конечно. И медведи есть.

— А олени?

— Оленей под Казанью близко нет. Лисиц много. А птицы сколько угодно: утки, гуси, и потом вот эти, — не знаю, как по-французски, — де-глухарь, де-рябтшик и всякие другие.

Золотой зуб, омытый глотком мандарен-кюрасо, точно и четко накалывает на невидимом пергаменте прекрасный рисунок:

— Оленей у вас нет. Но это все равно. Вот вы, охотник, верхом на белом коне гонитесь за золоторогим оленем. Пусть это в сказке. Вы его видите, но он вне вашего выстрела. Вы все быстрее его настигаете — он все быстрее от вас уходит. И вот мелькают минуты, бегут часы и дни, проходят года, века — вы не приблизились к нему ни на одну пядь, но вы все крепче связываете свою судьбу с его судьбой. И постепенно вашей целью делается уже не настигнуть оленя и не убить его, тем самым разрушив вашу с ним таинственную связь, а вечно за ним гнаться, чтобы никогда его не догнать и никогда с ним не расстаться. На место первоначальной, временной, маленькой профанской цели — явилась новая, великая, вечная, мистическая.

Ведический бог Индра указывает рукой вдаль — и Егор Егорович, шпорами сжимая бока коня, мчится очертя голову за сказочным оленем. И сердце Егора Егоровича, уже немолодое сердце, усердно работавшее от Казани через Сингапур до Парижа.

проще скажем — подержанное сердце, усталое, — бьется в такт конскому галопу. Взмыленный конь минует все кружочки и отметины на экспедиционной карте фирмы Кашет, уносит всадника за ее борт, перелетает овраги, взбирается на пригорки и горы, — а вдали золоторогий олень взбивает копытами траву, камушки, и в золотых его рогах свистит ветер. Охолощенный кот, краса углового кабачка, прыгает с дивана на колени Егора Егоровича, который решается сказать:

— Да, да, это уж... это действительно.

И холодным пивом заливает жар и дрожание гор-тани. Красивее ничего и не представишь себе. Удивительно! И как верно!

Так в поздний вечерний час они роняют слова в горечь стаканов — слова замысловатые, полные мистической прелести и тайны, обоим им гораздо более нужные, чем все профанские речи, крики, возгласы, барабаны и колотушки. Дым сигары образует облако, над облаком звездное небо — двенадцать знаков зодиака, превратившихся в условные значки, дует от входной двери, чакают стаканы и блюдца под струей воды, полногрудая кассирша, зевая неожиданной пастью, выдвигает и задвигает ящик, гарсон начинает водружать стулья на столики и рассыпает по полу влажные опилки, — все это в том мире, рассудочном и логичном, в мире монет, товаров и вечерних газет, в мире людей, никогда не седлавших коня и не выдавших золоторогого оленя.

Салфетка на плече — гарсон совсем близко подка-тывается со щеткой и, раздвинув звездную завесу, невежливо цукает на кота и вежливо и просительно намекает, что кабачок запирается. Пальцами левой руки он сметает в карман чаевые, теми же пальцами хватает за борта стаканы, — и кассирша ласково кивает уходящим клиентам.

На уличном островке они ждут каждый свой трам-вай, и Егору Егоровичу жаль уезжать первым. С пло-щадки он еще видит старую и мятую шляпу над седы-ми бровями, кондуктор резко рвет шнур, и парижские дома начинают свой обычный вечерний бег, кокет-ничая световыми вывесками и хмуро суживаясь в тем-ные переулки.

ГРУБЫЙ КАМЕНЬ

Егор Егорович отпустил посетителя и некоторое время сидел неподвижно, подперев голову руками. Какая неприятность! И какое безобразие!

Клиент агентства намеренно проговорился, что свое право он основывает на взятке, данной им молодому служащему фирмы мосье Анри Ришару,— а это тот самый, который ввел Егора Егоровича в тайное общество. Егор Егорович сказал, что, во-первых, он не верит, а, во-вторых, это для него лишний мотив для отказа:

— По вашему заявлению я произведу, конечно, строгое расследование. Но в ущерб интересам фирмы и вопреки нашим обычаям я поступить не могу. Пеняйте сами на себя.

Теперь следовало вызвать служащего, уличить его и немедленно уволить. Где доказательства? Доказательство,— если это правда,— легко прочтется на лице молодого человека.

Он начальственно позвонил, и мосье Анри Ришар, молодой конторщик, вошел с доказательствами на лице: он видел клиента, вышедшего походкой, которая ничего доброго не предвещала. Мало того, он задержал клиента в дверях и шепотком сказал ему, что случилось недоразумение, которое, конечно, уладится, и что, в крайнем случае, он готов возвратить ему свой должок. Клиент, не повернув головы, отвечал:

— Это уж дело ваше.

В предчувствии неприятного разговора мосье Ришар вошел деловито и серьезно. Дальнейшая сцена была краткой и маловероятной. Молодой человек ошибся в тоне, пытаясь разыграть оскорбленную невинность. По правде сказать, он и не чувствовал себя слишком виноватым: разве все другие не поступают так же? Он хотел предоставить преимущество клиенту новому, более щедрому, перед старым, менее щедрым; вот и все. Маленькая частная сделка для клиента очень выгодна, и расход покрывает с избытком. Фирма не теряет от этого ничего. Но когда Егор Егорович, внимательно на него посмотрев, прямо ему сказал, что знает о взятке и уволит его со службы, он растерялся, испугался и сделал худшее из всего, что мог сделать:

он назвал начальника не *monsieur*, а *mon frère* *. И тогда он услышал крик, какого никогда не слышали в кабинете заведующего отделом: крик бешеного, раненого и истязуемого. Спокойнейший и мирнейший из шефов истерически взвизгнул, затопал ногами и закричал непонятное на своем варварском языке. Опасаясь худшего, молодой человек отступил к дверям и вышел из комнаты.

Кувыркком, цепляясь руками за воздух, рабочий летел с лесов вниз на кучу строительного материала. Вослед ему летели камни, мешки цемента, лопатка, уровень, отвес, оторвавшиеся доски. Больно ударившись, он потерял сознание, а когда очнулся, не мог сообразить, упал ли только он или рушилась вся постройка.

Он был скромнейшим из каменщиков и только что научился владеть незамысловатыми инструментами, помогая в кладке стен старшим товарищам. Но он гордился принадлежностью к славному сословию строителей. И вот он остуился, или его толкнули, или развалилось все здание. Глаза залеплены известкой, разбиты все члены, мир перевернут вверх дном.

Хотя Егор Егорович был иностранцем, но служащие его любили за приветливость, отзывчивость и строгую деловитость; он был старшим по должности и по времени службы — почти все поступили в контору уже при нем. Если такой человек впал в неистовство, значит, тому была исключительная причина. Простое объяснение, что «старик чудит», данное порядочно смущенным Анри Ришаром, удовлетворить не могло. Машинистка покачала головой и продолжала писать, остальные конторщики притихли. С опущенной головой и с портфелем в руках Егор Егорович проследовал к выходу, никому не кивнув и ничего не сказав. Время было перед закрытием.

Очень редко, но все же случалось, что Егор Егорович опаздывал к обеду. Обычно в таких случаях он предупреждал по телефону, чтобы Анна Пахомовна могла сообразовать с его опозданием свои хозяйственные хлопоты. На этот раз телефонного звонка не было, и просрочено было целых полчаса. Поэтому Анна Пахомовна позвала сына:

— Иди обедать. Не можем же мы ждать без конца.

* не господин, а мой брат (*фр.*).

Оба ели молча, своим молчанием строго осуждая Егора Егоровича, который в это время взбирался по лестнице на шестой этаж дома в противоположном конце Парижа.

На третьем этаже он передохнул, переложил портфель из-под правой мышки под левую и стал подниматься выше. На шестом этаже были три двери — и никакой дощечки или карточки. Консьержка сказала: «Дверь прямо» — но все двери оказались с левой стороны. Егор Егорович догадался позвонить у средней.

Долго не отворяли. Потом зашаркали туфли и слышались тяжелые и веские шаги, знакомые Егору Егоровичу, который, испытав удовлетворение, косточкой указательного пальца постучал в дверь трижды с равными промежутками. Отворившему мосье Жакмену он сказал:

— Это я для вашего успокоения, что стучит не враг.

Удивленное и недовольное лицо Жакмена посылно изобразило приветливость.

В передней пахло пылью и табаком, а затем прошли в комнату, где пахло пылью, табаком и старым человеком. Ставни были полупритворены, но было видно на большом мягком кресле обратное изображение форм тела мосье Жакмена. Егор Егорович занял стул напротив, а портфель положил на колени. Начали с молчания, которого Жакмену хватило, чтобы набить трубку. Когда же он чиркнул спичкой, Егор Егорович сказал:

— Я пришел к вам, как младший брат к старшему, как невежественный ученик к мастеру.

Затем следовало изображение события, до того взволновавшее ученика Егора Тетёхина, что он забыл про обед дома и про французский обычай приходить к знакомым только по приглашению:

— Как мне поступить? Будьте в этом деле братом и руководителем.

Золотой зуб руководителя вынырнул и принялся за работу:

— Думаете ли вы, дорогой брат, что масонство призвано решать профанские дела и делишки? Мальчишка оказался негодяем — при чем тут Братство вольных каменщиков? Прогоните его со службы — и вы будете правы.

Егор Егорович опешил:

— Я, конечно, знаю, что обычно поступают так. Но не налагает ли на меня звание вольного каменщика особых обязательств, тем более, что провинившийся служащий — наш брат по ложе и, следовательно, посвященный?

— Посвященные не воруют и не берут взяток. Один обряд не делает посвященным, и много мусора и недостойных в наших рядах.

— Это я тоже знаю, хотя и очень сожалею. Но могу ли я, масон со вчерашнего дня, судить брата, старшего по стажу, хотя и младшего годами на счет профанский, хотя и моего подчиненного по службе, притом — меня самого приведшего к свету?

— Этот Ришар — паршивец; его нужно не только со службы, а и из ложи прогнать.

Егора Егоровича стеснял набитый делами портфель; он приставил его к ножке стула, примяв кожаный угол. Разговаривать стало легче.

Испокон веков приходили к мудрецам за советом обуруаемые сомнениями. Мудрецы становились в позу, запахивали тогу и изрекали изречения. В данном случае мудрец, пыхая табаком, исключительным по дешевизне и ядовитости, выразался ясно и безо всякой торжественности, и именно это смутило Егора Егоровича. Неожиданно для себя он теперь старался защитить провинившегося:

— Он еще молод. Если я его уволю, это может толкнуть его на дурную дорогу. А если оставлю, — не припишет ли он этого нашей особой связи? И не выйдет ли — рука руку моет?

Мудрец перестал пыхтеть трубкой и пристально посмотрел на собеседника, который продолжал:

— С другой стороны, — если наша братская связь что-нибудь да значит, то к этому случаю я должен отнестись с особой внимательностью. Прежде я и думать не стал бы, а теперь очень чувствую ответственность. Дело в том, брат Жакмен, что я до сих пор не позаботился узнать, как живет этот Ришар, что он читает, что думает, какова его семья и все прочее. Большая ошибка! Может быть, он потому и решился на такой шаг, что попал в безвыходное положение и отчаялся, или же, — ведь это возможно, — он это сделал под воздействием темных сил, омрачивших на время его разум.

Мосье Жакмен грузно и не очень охотно привстал, взял со стола пенсне, протер его большим и нечистым носовым платком и оседлал нос. Сквозь сильные стекла выглянул его глаз, полный недоумения и со слезящимся треугольником у носа. Этим глазом он оглядел сначала лицо Егора Егоровича, задержавшись на бороде, потом скользнул по галстуку, спустился до коленок и вернулся обратно к бородачке. Ничего особенного, останавливающего внимание и дающего объяснение, во всем облике русского брата не было, и мосье Жакмен сказал:

— Oui... Mais... * Мне кажется, дорогой друг, что вы склонны заняться перевоспитанием Анри Ришара?

— Я старше его годами и имею немалый жизненный опыт. И мне кажется, что в том, что произошло, есть доля моей вины, потому что я вовремя не подал ему доброго совета и не протянул руки помощи. То есть я это предполагаю.

— Tiens... **

Только тут мосье Жакмен заметил, что галстук Егора Егоровича мог бы быть лучше подобран к костюму и что пора ему постричь волосы. Тем временем трубка мосье Жакмена погасла.

Некоторое время они молчали. Затем Егору Егоровичу пришлось обстоятельно ответить на вопрос любознательного брата, не находится ли город Казань в Сибири и далеко ли это от Киева и Одессы. Заговорив о Казани, Егор Егорович вспомнил, что Анна Пахомовна его заждалась, хотя, надо надеяться, уже пообедала с Жоржем. Поэтому, подняв портфель за уголок, он с чувством самой живой и искренней благодарности пожал руку мосье Жакмена и извинился за причиненное ему беспокойство. В передней решительно уклонился, когда добрый друг слегка пошевелил рукой, как бы готовясь помочь ему найти рукав пальто, а спускаясь по лестнице, — удивился, что оказался так высоко. Выйдя, он забыл, направо или налево идти к остановке автобуса, и только в автобусе сообразил, что следовало ему сначала самому обдумать происшедшую историю и принять решение, а не затруднять чисто житейскими пустяками человека старого, и, может быть, занятого.

* — Да... Но... (фр.).

** — Да ну... (фр.).

— И однако,— какая чудесная голова у этого старика! Как сразу и как верно он провел границу между высоким учением и этими прилипчивыми кусочками житейской грязи!

И Егор Егорович торопливо нащупал в особом карманчике книжку автобусных тикеток, чтобы не задерживать подошедшего кондуктора.

В контору, откуда вчера в гневе выбежал лев, сегодня кротко вернулась овечка; ласковым «б-бе» поздоровалась с сослуживцами, виноватым голосом сказала Анри Ришару: «Зайдите ко мне» — и удалилась в свой кабинет.

— Слушайте, мой друг, вот почтовая расписка; я отослал этому господину то, что вы ему должны; когда вы будете при деньгах, вы мне вернете. Иначе поступить я не мог.

— Мосье...

— Пойдите, Ришар, дослушайте меня. Вы молоды, будущее перед вами. Я не хочу его разрушать, но хочу быть уверенным, что вы сознаете свою ужасную ошибку. Я беру вашу вину на себя, поступаю вопреки служебному долгу, терплю непозволительное, оставляю вас на службе. Но вы ошибаетесь, если думаете, что вас спасают наши особые отношения! Напротив, я тем строже осуждаю ваш поступок. То, что делают другие, не должен делать вольный каменщик.

— Я это сознаю, мосье.

— И прекрасно, Ришар. Именно это я и хотел от вас слышать. Я не призван вас учить, но прошу вас быть со мной впредь откровеннее. Ведь я почти ничего не знаю о вашей личной жизни. Вы очень нуждаетесь, дорогой?

Анри Ришар сделал неопределенное лицо. Конечно — он нуждается, то есть он желал бы иметь больше средств на свои личные надобности. Он живет с отцом, матерью и сестрой. У отца коммерческое предприятие, семья вполне обеспечена, но отец все же скуповат. Рестораны, кино, увлечения молодости (попросту говоря — гигиенические потребности) — все это плохо окупается заработком в конторе. Правда, костюм, белье, галстуки обеспечивает родительская помощь. Но молодость бывает только раз, и у Анри Ришара нет

склонности к метро второго и девушкам третьего класса. Однако объяснять все это шефу бесполезно, и Анри Ришар просто говорит:

— Я не в последней крайности, но, конечно, нуждаюсь.

— Вы должны знать и помнить, Ришар, что в тяжелых случаях проще и лучше обратиться к брату, чем искать неправильных и, простите, предосудительных источников обогащения. Я не богат, живу только службой, но без особого труда могу вовремя выручить нуждающегося друга. Не за что благодарить, Ришар, это наш долг. Ну вот, мы объяснились. Простите меня, что вчера я был груб. И еще — вы сделаете мне и моей жене большое удовольствие, если зайдете к нам как-нибудь пообедать; например, если вы свободны в среду, — приходите прямо со службы. Нет, вы ничем нас не стесните, и, пожалуйста, запросто. Значит, решено, мой друг! Ну, идите работать.

Дружеское, теплое рукопожатие.

Сказать, что Анри Ришар не смущен великодушием мосье Тэтэкин, было бы несправедливо. Во всяком случае, этот русский — большой оригинал. Трудно предполагать тут какую-нибудь хитрость! Если даже он глуп, то все-таки недурной человек. Но послать деньги тому жулику — чистейшее идиотство; во всяком случае, он мог бы попросить моего согласия. Придется, пожалуй, вернуть ему двести франков. Конечно, могло быть хуже! В общем — пресмешная история.

Бухгалтер полюбопытствовал:

— Э? Мирный разговор после грозы?

— Да, старик сбавил тон.

— Маленькое недоразумение?

— Не о чем говорить! В сущности, старик — неплохой человек, но что поделаешь — мания величия! Между прочим, извинился за вчерашнее и пригласил меня обедать.

В отсутствие Ришара бухгалтер поделился с дактило соображениями:

— Сказать по правде, Анри Ришар — настоящая дрянь, но умен и хитер, пойдет далеко. Что до нашего шефа, то не будет преувеличением сказать, что он — разновидность святого дурака. Вот бы вам такого мужа, мадемуазель Ивэт!

Мадемуазель Ивэт передвинула каретку, нажала табулятор и спросила:

— А чем, собственно, провинился Анри?

— Думаю — легкое мошенничество, и шеф его уличил. Уличив, очевидно, простил, а простив, пригласил обедать. Вы понимаете?

— Я не понимаю этого.

— Нет ничего удивительного, Ивэт, что вы не понимаете по-китайски. Это называется *âme slave**, мадемуазель. Нечто вроде пуаро под шоколадным соусом с анчоусами.

— Мосье Тэтэкин — прекрасный человек!

— Я не отрицаю. Именно поэтому любой мерзавец может оставить его в дураках.

Пальцы машинистки забегали по клавишам. О том, что Анри Ришар не принадлежит к числу ангелов, она кое-что знала.

Можно подумать, что в кабинете шефа производится спешный ремонт — стучит молоток и во все стороны разлетаются брызги каменных осколков: Егор Егорович работает над грубым камнем, скалывая с себя недостатки и пороки мира непосвященных. За сегодняшний день работа, казалось бы, настолько продвинулась вперед, что камень должен был принять кубическую форму; и однако, со всей энергией ударяя молотком по долоту, Егор Егорович с удивлением замечает, что выбоины и неровности увеличиваются и при дальнейшей работе в том же направлении камень может треснуть и рассыпаться.

Разыграл высокое благородство души! Добродетель, купленная по случаю за двести франков! Залп великодушия по преступной душе молодого человека! Кстати — выстрел холостой, бутафорский: Анри Ришар не убит и не ранен, а стрелок попал в святые по дешевому тарифу.

А главное — какое жалкое расчетливое лицемерие! Сначала отправился на поклон к мудрецу и порисовался перед ним. Затем выделил два стофранковых билета из скромных сбережений и послал их от имени Анри Ришара (не от своего! святые застенчивы!). Наконец, спросил у струсившего мальчишки сладким голосом,

* славянская душа (*фр.*).

как поживает его мамаша,— и пригласил его в гости. Какая красота! И еще подчеркнул: не подумайте, что это поступок брата; я, дескать, благороден самостоятельно, от самого рождения!

Сквозь географическую карту на стене просовывает голову сама акционерная компания Кашет, вращает глазами, щелкает челюстями и требует у Егора Егоровича немедленного ответа: на каком основании он поощряет и тем плодит порок во вверенном ему учреждении? За чей счет? Кто поручил ему заниматься нравственным перевоспитанием человечества вообще и Анри Ришара в частности вместо того, чтобы следить за процветанием экспедиционной конторы? И нельзя ли в деле чисто коммерческом, да еще чужом, обойтись без эманаций славянской души и без Теодор Достоевски?

Сказать по правде, Егор Егорович чувствует себя очень плохо. Какая-то ошибка совершена, а какая? Оценка собственных поступков должна производиться путем взвешивания их на весах совести. Егор Егорович прежде всего приводит чаши весов в равновесие, затем осторожно погружает на одну чашу Анри Ришара, клиента, почтовый перевод, пенсне, трубку и золотой зуб Жакмена, а на другую чашу становится сам, обеими руками держась за уходящие конусом вверх цепочки. Чаша с Егор Егоровичем взмывается в высоту, макушка его головы едва не пробивает потолка. Оглушенный ударом, он все-таки не может определить: а что же это значит? Может быть, он прав, а может быть, наоборот, без меры преступен.

До полудневного перерыва он проводит время в необычайных нравственных мучениях, продолжая все же подписывать бумаги, отдавать распоряжения и подытоживать в голове цифры. Когда контора наконец пустеет, он вынимает из портфеля завернутый в бумагу завтрак, который принес из дому, и жует безо всякого аппетита, хотя Анна Пахомовна на этот раз проявила и хозяйственность, и щедрость, и тонкий вкус: квадратики хлеба переложены ломтиками холодной печенки и итальянской колбасы — поочередно. Сверх того, в особой, провощенной бумаге треугольный кус шоколадного торта, не доеденного в день ее рождения и в два следующих дня. Бутылка вина и стакан всегда хранятся в конторке Егора Егоровича, и он

наливает с обычной умеренностью. Но и в стакане, и в сладком торте множество осколков плохо отесанного камня, и на зубах неопытного каменщика неприятный хруст.

Первой после перерыва возвращается машинистка мадемуазель Ивэт; она заново пудрит нос и подправляет красивый рисунок некрасивого рта. За ней тяжело вкатывается толстый пожилой бухгалтер, чревоугодник пятиполовинойфранкового рестораничка, комбатант, холостяк, скептик и ревматик. И только когда оба упаковщика и рассыльный мальчик занимают оставленные посты,— является с небольшим опозданием Анри Ришар, молодой и уверенный голос которого вызывает сегодня на лице Егора Егоровича болезненную настороженность. Затем начинается обычное хлопанье двери — приход и уход посетителей конторы.

Со вздохом принимается неотесанный камень за свои оставленные бумаги и погружается в деятельность, прерванную не принесшим облегчения отдыхом. Какой сегодня длинный день!

ТАО-ТЕ-КИНГ

Щелкнула дверь, и медная дощечка с надписью «George Tétékhine» * иронически блеснула в спину носителю этого имени. В такую погоду только рассеянный человек может выйти из дому без зонтика.

Бывшего казанского чиновника мочит парижским осенним дождем, но он слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на такой пустяк. Предстоящий вечер полон значения и тайны. Раз уверовав — нужно цепко держаться за этот подарок судьбы, и тогда весь мир предстанет в ином освещении. И предстал уже! Совсем иными, чем прежде, глазами смотрит Егор Егорович на дома, на людей, на освещенные витрины магазинов. Суста, пускай неизбежная, даже милая, но — суэта, маетность, бессодержательность! Люди с зонтиками и без зонтиков чертят ногами узоры по земле; Егор Егорович сознательно, но тайно плывет над их головами, жалея их, проникнутый большой к ним любовью, но не смешиваясь с толпой. С этой высоты он плавно опускается под красные

* «Жорж Тэтэкин» (фр.).

шары метро и затем катится по рельсам мимо станций, порядок которых давно знает наизусть: Convention*, Vaugirard, Volontaire — вплоть до Concorde**, где пересадка.

С некоторого времени Егор Егорович стал исключительно чутким к вывескам и к звуку и значению слов. Он десять лет прожил на улице Convention, не задумываясь над тем, что означает ее имя. Сейчас ему кажется знаменательным, что его путь — от Договора к Согласию. Случайность, полная смысла для ума, воспитанного работой над тайнописью символов. Даже коньячная реклама на потных стенах туннеля звучит для него намеком на этапы нравственной последовательности: «Дюбо» — «Дюбон» — «Дюбоне». От простого житейского Сговора, через Красоту и Добро — к высокому братскому Согласию. Эта догадка поражает Егора Егоровича, и он застенчиво озирается, — один ли он об этом думает, или та же мысль занимает умы всех, сжатых взаимно локтями и мокрыми спинами? Не может быть, чтобы еще кто-нибудь не думал о том же!

Потом наступает момент — Егор Егорович перед дверью, на которой надпись: «За этим пределом билеты не действительны». Как бы иначе говоря: «Ты можешь с тем же билетом ехать дальше, можешь бесконечно метаться, меняя направления, по подземным туннелям, — но раз ты решил перешагнуть порог и выйти из-под земли на улицу, в мир реальный, помни, что возврата нет». Роковая черта! «Оставьте всякую надежду сюда входящие!» И опять — никогда раньше он не замечал этой вывески и о странной границе двух миров не думал! Символы окружают нашу жизнь, оплетают ее тонкой паутиной, в которой нужно уметь разобраться, — иначе запутаешься или порвешь ее нити. И рвут, и путаются, не делая попытки проникнуть в значение слов, недооценивая образов. И есть еще дверь с надписью не менее загадочной; ее порог Егор Егорович переступит сегодня вечером: «Пусть не входит сюда не знающий Геометрии». Эти слова начертал Платон над входом своей школы.

Философ Платон среднего роста, лыс, с одной из тех бородавок на лбу, на которые невольно

* Договор (фр.).

** Согласия (фр.).

заглядываешься, мысленно их отколупывая. Прежде всего Платон удивительно симпатичен, впрочем,— как и все присутствующие. Обширная комната пропитана любовью, и все излучения этой любви направлены в сторону Егора Егоровича, который чувствует себя стесненным, как бы сжатым в объятиях. Ему тоже хотелось бы или обниматься, или до боли сжать все руки, слившиеся в одну — дружескую, мягкую и ароматную. Сейчас нельзя этого делать, нужно быть серьезным и торжественным. Философ Платон, его ученики и помощники, вся его школа кружит вокруг Егора Егоровича, чтобы сделать его достойным восприятия новых чувств и новых тайн; сам он передвигает ногами в зачарованности и полусне, сдерживая улыбку радости и благодарности. Время от времени философ Платон произносит слова, полные высокого значения, хотя еще не совсем понятные. Ум Егора Егоровича так перегружен работой, что отказывается воспринимать новые материалы и выдавливает из себя совсем постороннее, мирское, профанское, чему не должно быть здесь места. Так, например, философ Платон продолжает служить агентом в Обществе страхования от огня, от старости, от болезни, инвалидности, автомобильных столкновений и чего-то еще, очень многого, каких-то особенных неприятностей, от которых он застраховал и Егора Егоровича, выдав ему три полиса на прочной глянцево́й бумаге. Первый полис — смерть, второй полис — пожарный случай, а какой третий — Егор Егорович не может вспомнить, да и не к чему здесь вспоминать, это просто болезненный уклон утомленного ума. При этом философ Платон намекнул клиенту, что условия, которые он для него выхлопотал у Общества, совершенно исключительны; это, собственно, не агентская сделка, а скрытая форма братского одолжения, чистой бескорыстной приязни. А какой же третий полис? Тут опять ведут Егора Егоровича под руки и ставят перед большим картоном с надписями, из которых он успевает усвоить, что существует неизвестная ему священная книга Тао-Те-Кинг. Надо будет непременно ее достать и прочитать. Из важнейших наук Егор Егорович отмечает для себя риторику и диалектику, с которыми он также еще не встречался. Когда

опять раздается голос Платона, Егор Егорович внезапно вспоминает, что третий полис застраховал его от возможных несчастий с фам-де-менаж, например, если она обварит себе руку или неудачно упадет, вынося ведро с отбросами кухни; по этому полису платится какой-то совершенный пустяк, а по всем трем выходит порядочная сумма. Обращайте умственный взор ваш на внутреннюю вашу сущность, устраняя резцом нравственности все неровности, которые еще извращают грани вашего куба! Да, непременно буду! Я, Егор Тетехин, даю себе слово быть достойным нового звания, припомнить все, что когда-то в реальном училище знал по геометрии: сумма квадратов двух катетов равна квадрату гипотенузы, параллелепипед, трапеция и прочее. Еще не поздно освежить в памяти и, главное, пополнить знания, почитать и по истории, и по философии, и по естествознанию. Отмечая на бесконечной прямой конечный ее отрезок, циркуль поможет нам в мире нравственном довольствоваться пределами выполнимого. Но Егор Егорович готов на гораздо большее — на выполнение невыполнимого! Он крепко сжимает в кулаке врученные ему деревянные предметы и не понимает, что шепчет ему водитель: «Дайте это, руку, руку освободите!» Наконец отдает, смущенно и с большим сожалением.

Когда его наконец поздравляют, он смотрит прямо в лицо поздравляющим и ловит в их глазах выражение настоящей приязни, хотя и приправленной снисхождением. Вполне понятно — он лишь на пороге истины! Уже разрешены ему шаги уклона и пути сомнений, но он постарается обойтись без этого, он пойдет прямо туда, куда зовет его звезда, некогда указавшая путь волхвам. Ему поможет полдневный свет и, главное, близость всех этих замечательных людей, готовых всем пожертвовать, только бы дать ему возможность стать таким же, полным благородных чувств и просвещенным человеком. Пятиконечная звезда — совершенный человек, распростерший руки и раздвинувший ноги, чтобы уместиться в ее лучах. Поверни концом вниз — и получится козел, с острой бородкой, рогами и ушами! Вот как нужно быть осторожным в применении своих знаний!

Выходя из подъезда в толпе замечательных людей,

Егор Егорович ищет глазами Жакмена, с которым условился посидеть часок в обычной кабачке за обычным столиком. Философ Платон выходит в обыкновенном пальто, приветствует дождик словами: «О-ля-ля!», ставит торчком воротник, сердечно жмет на прощанье руку Егора Егоровича и тихонько говорит:

— Имейте в виду, дорогой брат Тэтэкин, что правило мое такое: если мне рекомендуют клиента и выходит удача, — начальные агентурные пополам. Вы, конечно, знаете многих своих компатриотов и можете засвидетельствовать, что условия страхования в нашем Обществе исключительно выгодны клиентам. И на случай смерти, и на дожитие. До свидания, дорогой!

— *C'est un bon garçon* *, — ворчит брат Жакмен, — но слишком занят профанскими интересами! Иногда можно от них и отвлечься. Но его любят; он уже пятый год руководит у нас работами ложи.

Брат Жакмен несколько похож фигурой и лицом на Анатоля Франса. В кафе он садится на диван, Егор Егорович устраивается против него на стуле. Гарсон вопросительно склоняется, хотя знает, что ему закажут мандарен-кюрасо и полпива. Из-за кассы кивает кассирша. Мягкими ленивыми шагами подходит здороваться лишенный страстей и воображения кот. Гении добра, толстопузые ребятишки, развязывают шнуры звездного полога и отрезают членов тайного общества от профанского мира. Анатолий Франс выправляет седые усы, чтобы капли мандарен-кюрасо не пропадали даром. Пивные заводы Франции делают со своей стороны все, чтобы угодить Егору Егоровичу, и не их вина, что ему не нравится ни канифоль, ни персидский порошок, ни пенистый раствор капорала. Пошатавшись, разговор выправляется и вступает на путь желанный.

И тогда Иисус Навин подымает левую руку под прямым углом на уровень плеч и говорит: «Солнце, стань над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!» И стояло солнце среди неба, и не спешило закатиться почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который бы так слушал человека Великий Геометр Вселенной. Рядом с пивом и мандарен-кюрасо вырастает кipa ветхих книг и пергаментных свертков: Библия, Веды, Книга Мертвых,

* — Хороший парень (*фр.*).

Коран, Тао-Те-Кинг. Опять эта неведомая Тао-Те-Кинг, в самом названии которой есть что-то тревожащее Егора Егоровича. Из-под мокрых и протабашенных усов выскакивает золотой зуб, разбивая речь на слова и фразы и швыряя их без прицела в отверстую настесь ушную раковину пятилетнего младенца Егора. Анатолий Франс в коротких штанишках строит с товарищем из кубиков Вавилонскую башню, и оба они забыли, что нянька-жизнь может больно их за это нашлепать.

В этот час в кабачке посетителей почти нет, только у стойки бара. Но если бы нашелся любопытный с тончайшим слухом, сел бы за недалний столик и насторожил ухо, — он был бы разочарован. О чем так горячо говорят эти люди? Не о кризисе ли министерства? Не о крахе ли банка? Или о муже, разрезавшем жену на куски? Представьте себе — они говорят о битве галаадитян с ефремлянами! Перехватили галаадитяне переправу через Иордан и всякого, кто хотел пробраться хитростью, заставляли говорить слово прохода: и когда он произносил его с акцентом нежелательного иностранца, — обманщика тут же рубили на куски. И пало в то время из ефремлян сорок две тысячи. Вот все, что слышит хитрец за соседним столиком, — и в страхе и недоумении спешит выйти из кабачка, пусть под дождь, но на свежий воздух. Ему никогда не понять, что связывает Анатолия Франса с бывшим казанским почтовым чиновником, и зачем им нужна переправа через Иордан, из мира векселей и страховых полисов, из мира кисейкой прикрытой лжи, из мира ужасной тоски по горным высотам — в мир загадок и тайных символов, в мир детской веры в совершенного человека, в созвучие микрокосма с макрокосмом, в соборное слияние творческих волей.

И да воссияет на небе сознания нашего сия пятико-
нечная звезда!

— Позвольте мне заплатить, это я вас пригласил!

И Егор Егорович решительно отстраняет монету Анатолия Франса.

У выхода, оступившись, он едва не ударяется лбом о дверной косяк — и изумленно останавливается от пришедшей ему в голову внезапной догадки: Тао-Те-Кинг — но ведь это почти его фамилия в ее французском звучании! Как все это странно и как все это изумительно!

МЕТАМОРФОЗЫ

Анна Пахомовна сидит и пристально и недоверчиво смотрит на Анну Пахомовну. Когда она шевелит правой рукой, другая Анна Пахомовна шевелит рукою левой. Затем они обе одновременно слюнят каждая два пальца на разных руках и проводят по разным бровям. Посередине брови намечается неровная темная ниточка, ничем не привлекательная, и обе Анны Пахомовны убеждаются, что это — не то. Затем, на минуту опасливо показав друг другу затылок, они с внезапной решимостью вытаскивают из причесок шпильки, распускают жидковатые косы, подбирают их в горсть и прижимают пониже висков. Глазами не встречаясь, они обоюдно рассматривают получившееся и потому не замечают во взоре друг друга помеси панического страха с тревожной надеждой. Наконец ближняя Анна Пахомовна встает и упирается головой в лепестки и елочки лепного карниза, а дальняя ловко ныряет в стену, отсекает свою верхнюю часть по пояс и бледным выпуклым квадратом синей с полосками юбки остается маячить в зеркале.

С потолка раздается:

— Что бы ты сказал, Гриша, если бы я остригла волосы?

Именуемый Гришей Егор Егорович, читающий лежа, ненаходчиво отвечает:

— Ну да, конечно.

— Ты не понимаешь меня. Я прошу у тебя совета: остричь или оставить так?

— Как остричь? Совсем остричь? То есть ты хочешь сказать — не просто, а всю голову?

Этот человек со своими вечными книжками может кого угодно вывести из терпения.

— Брось на минуту чтение! Кстати, тебе давно пора одеваться и идти. Я просто говорю, что нелепо жалеть какие-то космы и возиться с прическами и шпильками, когда все решительно ходят стриженные. У меня и времени нет причесываться.

Очень ласковым и виноватым голосом Егор Егорович подтверждает:

— В сущности, действительно! Приходится возиться и затрачивать, а между тем...

— Ты правда так думаешь? Кажется, я осталась на

весь Париж единственной с длинными волосами, и все решительно на меня странно смотрят. И если бы еще какие-нибудь особенно длинные...

— Конечно! Если бы уж очень длинные, ты могла бы их... это... как-нибудь там особенно...

Со своей белой поляны Егор Егорович смотрит на вершину горы и пытается представить себе, что получится, когда Анна Пахомовна коротко острижет волосы? Взмахом огромных ножниц он обкарнивает их по плечи, и Анна Пахомовна превращается в толстого дьякона в легкомысленной рясе. С осторожностью он говорит:

— Да, но... обыкновенно они должны, кажется, как-то виться, то есть там кудрявиться...

— Что? Ах, это, конечно, завивают у парикмахера. Главное, удобно, что можно завивать индифризаблем, сразу на полгода и больше.

Гордый тем, что сумел поддержать разговор и не сказал глупости, Егор Егорович спускает ноги, натягивает панталоны, встает и оказывается на одном уровне с женой.

— Естественно,— говорит он,— один раз отрезать начисто и потом раз в год, этак в январе, подвигать там все, что нужно. Куда-то я дел подтяжку...

— Подтяжки на тебе, а одна спустилась, подбери.

Анна Пахомовна с величайшей добротой помогает Егору Егоровичу просунуть руку с книгой в большую петлю и подобрать подтяжку на плечо. Небрежным тоном она добавляет:

— И еще — этот цвет какой-то неопределенный. А я, в сущности, по коже и по всему светлая блондинка. Но это не важно.

Вообще она очень довольна разговором. Снова соорудив перед зеркалом ненавистную и отжившую прическу, она напевает не то «Матчиш», не то «Ах, ты, береза». Обе Анны Пахомовны смотрят на этот раз весело, и их глаза преисполнены таинственных планов.

Перед службой, в перерывах и после службы, перед обедом и после обеда, на сон грядущий и вставая, Егор Егорович читает, читает и читает. Книгу сменяет книгой, небольшие глотая целиком, в большие вгрызаясь с краю, проваливаясь в середину и выплывая у противоположного берега. И не прежние книги с малопонятными словами и рисунками; сова,

перекрещенная пылающими факелами, голый человек с мужской и женской коронованными головами, реторта, включенная в треугольник, а с ним в куб,— но книги вполне толковые и разумные, по истории и особенно по естествознанию. Шагом, рысью, галопом он нагоняет потерянные годы с не меньшим упорством и прилежанием, чем когда-то в Казани, мечтая о почтовой карьере, изучал иностранные языки. Его отлично знают во французской библиотеке квартала и еще лучше в русской Тургеневской, где он подолгу роется в каталогах и наконец выискивает какую-нибудь самую неаппетитную и сомнительную книжку, давно скучавшую на полке, потому что и устарела она, и забыта, да и никогда не была в чести. Но Егору Егоровичу не с кем посоветоваться: он идет ощупью и догадкой. Как-то попробовал обратиться за справкой к тому самому почтенному брату, который его водил и останавливал у картонов с перечнями наук, архитектурных стилей и великих книг (Тао-Те-Кинг и другие); почтенный каменщик удивленно, но не потеряв самообладания, ответил:

— История религий? Ah, oui! * Есть, разумеется, много прекраснейших работ наших французских ученых, сотни работ, дорогой брат! Отличные работы настоящих специалистов. Названия? Сейчас не вспомню. А зачем вам религия?

— Я должен изучать, чтобы совершенствоваться в знаниях. Я очень мало подготовлен.

— О, да, конечно. А нет ли у вас какого-нибудь знакомого кюре, они всё это на зубок знают и укажут охотно, хотя, говоря между нами, народец вредный.

Наук оказалось огромное количество, гораздо больше, чем предполагал Егор Егорович, окончивший только реальное училище, и чем было начертано на картоне. Упущено для работы, по крайней мере, тридцать лет жизни — какая обида и какая ошибка! А сколько было раньше свободного времени! Теперь приходится читать в трамвае, в метро, в постеле, а главное — в праздники. Летом будет двадцать восемь дней отпуска — вот когда можно будет подогнать. Предстоящий отпуск Егор Егорович решил целиком посвятить философии и еще этим, которые значились на картоне: риторике и диалектике.

* Ах, да! (фр.).

На пути в главную контору Кашет с месячным отчетом своего отделения Егор Егорович штудирует зоологию, предмет поистине увлекательный. Тургеневская библиотечка, Марья Петровна, наизусть знающая все книги по всем отраслям наук, и их названия, и их библиотечные номера, заполнила его портфель двумя толстыми томами Брэма, посулив и остальные восемь. Область распространения полосатой гиены гораздо больше, чем у других видов; она еще встречается во всей северной Африке; начиная от крайнего запада, в значительной части южной Африки и в юго-западной Азии, начиная от Средиземного моря и до Бенгальского залива. Знаю Бенгальский залив, проезжали мимо. Как Сольферино? Пересадку-то я и пропустил! Ну, пересяду на Сэн-Лазар, лишних минут десять. Ее детеныши похожи на старых. Во всех местах, где она живет, встречается много падали... станция Мадлэн, пересадка на следующей. Сунув палец в пасть Брэма, Егор Егорович идет с толпой душным подземным коридором; все это — спешащие служащие, комиссионеры, барыньки за покупками. При случае они хватают овец, коз, а также и собак. Молодые экземпляры считаются в Индии довольно способными к приручению. Далее на север Монтейро во всей области Куанза... стоп: станция Реомюр.

Егор Егорович возрождается из-под земли в обществе прирученных полосатых гиен. Голова у них толстая, а морда относительно тонкая, на конце довольно тупая; их детеныши действительно старообразны. Может быть, на воле эти животные хитры и прожорливы; здесь, в неволе города, они смахивают, скорее всего, на простых собак в намордниках, виляющих хвостами на слова хозяина. Вместо шерсти — на них юбки, штаны, шляпы, в руках сумочки и зонты, под мышками свертки. А то бывают еще гиены пятнистые, и те приручаются нелегко, злы, неопрятны, вместо шляп носят кепки, за ухом недокурную папиросу. Пятнистая гиена известна своим воем, похожим на сардонический хохот; и когда она хочет близости от благоустроенного человеческого жилья, — люди трясутся от непобедимого страха, хотя пятнистая гиена опасна только для мелкого скота, а крупный справляется с ней рогами, человек — палкой, в неволе — кнутом.

В главной конторе Егор Егорович дает свое заключение по вопросу о желательности открытия в его районе еще двух газетных киосков, там, где растут новые дома с экономическими квартирами. Кредит дать можно, залог — как везде. Вообще, разговор обычный, как из года в год, и мосье Тэтэкин в главной конторе — свой человек. Обрато он едет опять под землей, но сократив путь пересадкой на более подходящей станции; по пути узнает, что шерсть волка как по цвету, так и по длине довольно разнообразна, в зависимости от климата. Обычный цвет шерсти чало-серо-желтый, летом рыжеватей, зимой желтоватей. Ну, волков мы знаем достаточно, люди казанские! Вообще же никакое знание нелишне для посвященного. Все горе в том, что столько лет потеряно напрасно.

Не так легко на шестом десятке обряжаться в серую курточку с кожаным поясом и учить свои уроки! Зато — как много красоты и счастья в знанье, и как украшает и заполняет жизнь его новая, свободная и бескорыстная работа. И не работа, а отдых души и чистое наслаждение!

За обедом макароны, всегда переваренные. Жорж подымает их вилкой, обкусывает, а остатки падают на тарелку; Анна Пахомовна нарезает их мелко ножом и отправляет в рот не слишком большими партиями; Егор Егорович возится с ними долго, завивая и снова распуская комочек длинных белых червячков и подбирая их концы хлебной корочкой.

— Оригинально, — говорит он, — что черви, обыкновенные — дождевые, могут жить разрезанными на куски.

Анна Пахомовна возмущенно кладет вилку на четырехгранную стеклянную подставку; она бы и просто бросила, но не хочет запачкать скатерть.

— Ну, что ты говоришь про такие гадости за обедом! Это невыносимо, и я не могу есть. И при чем тут! И кому это интересно?

Егор Егорович виновато оправдывается:

— Ну, прости, я это действительно... Нечаянно пришло в голову сравнение, потому что я читал...

Жорж, не утративший аппетита от слов отца, спрашивает с любопытством и сильным акцентом:

— Папа, я смотрел твою странную книгу, почему ты читаешь таких? Это — sciences naturelles? *

— Да. Это, Жорж, замечательно интересно и очень необходимо.

— Разве это нужно в твоём бюро?

Егор Егорович с радостью объясняет сыну, что каждый человек должен непрерывно совершенствовать свой разум, пополнять свои знания и упражнять нравственность свою и ближних, чтобы мало-помалу, общей работой, привести к совершенству все человечество.

— Очень тебе советую, Жорж, читать как можно больше и по естественным наукам, и по философии. Полезнее, чем играть в теннис, хотя, конечно, и тело развивать нужно. Ты что-нибудь читаешь?

— Oui, я читаю немного belles lettres и то, которое... ce que me regarde comme ** будущий инженер.

— А по истории, например, что-нибудь читаешь?

— Папа, я выучил всю историю в лицее, история Франции и histoire générale. Но это не нужно ничего pour faire mon chemin ***.

Вступает в разговор Анна Пахомовна:

— Жоржу и своих занятий довольно. И ты бы ел, Егор Егорович, все остыло. Жорж еще мальчик и все успеет. Ты тоже раньше не читал про разные гадости.

Егор Егорович думает, что надобно будет как-нибудь поговорить с сыном на досуге, в день праздничный. Священная обязанность отца — следить за воспитанием и за направлением мыслей сына и вести его к истинному познанию и свету.

За киселем Анна Пахомовна говорит:

— Завтра будет курица и пудинг. Сначала, конечно, закуски. Я думаю — этого достаточно? Кажется, этот твой Ришар любит больше белое вино? Кстати, не забудь напомнить ему, что завтра он у нас обедает.

— Завтра?

— Ну конечно, всегда же по средам. Сам зовешь и не помнишь.

— Разве я звал?

— Это невыносимо, Егор Егорович! Одним

* естествознание (фр.).

** — Да... художественную литературу... что имеет ко мне отношение как... (фр.)

*** всеобщая история... чтобы идти своим путем (фр.).

словом, мы его звали в среду, значит, на завтра. Надо нам поддерживать знакомства с французами.

— Конечно, конечно, я только запомнил, что мы его опять звали. Скажу, скажу, вместе и приедем.

— Курица с жареной картошкой, а пудинг с ромовой подливкой. Боже мой, когда я это все успею, я завтра с утра страшно занята!

Анна Пахомовна смотрит в завтра и вдаль. Если бы кто-нибудь знал, что будет завтра, он удивился бы, как эта женщина может спокойно есть, управлять разговором и думать о картошке и подливке, как она помнит о каких-то гостях, вообще как она снижается до вопросов повседневных, чисто профанских, и как она терпит, когда Егор Егорович говорит:

— Вот жареная картошка, это действительно. А ведь, между прочим, картошки в Европе до шестнадцатого века совсем не было, ее испанцы завезли. Она, конечно, питательна, но азота в ней маловато, меньше, чем в хлебе.

Анна Пахомовна возмущается в последний раз:

— Я покупаю всегда самую лучшую, у толстого зеленщика. Если уж у него мало, то я не знаю... Если тебе не нравится — покупай сам.

Вообще Егор Егорович доволен, когда обед кончается и можно взять книжку и уйти в нее, как в прекрасный парк, исчерченный аллеями и замысловатыми дорожками, по которым приятно побродить и поплутать, пока не попадется скамейка или ствол павшего дерева, на которых хорошо посидеть, размышляя о величии природы, догадливости человека и безграничности познания. А захочется — и подремать, потому что ежедневная служба в конторе все-таки не шутка, особенно для человека в возрасте достаточно преклонном.

Назавтра утром Анна Пахомовна задает вопросы и отвечает на вопросы, разливает кофе и кладет в чашки сахар, втолковывает мадам Жаннет, как готовится ромовая подливка к пудингу, лично раскладывает в извечно установленном порядке диванные подушки и подушечки, — но мысли Анны Пахомовны не здесь и заняты они не текущим, а предстоящим.

Она завтракает не торопясь, но без вкуса; в час

с половиной начинаёт волноваться до дрожи и пустоты в груди, в два часа выходит из дому. Это рано, так как событие назначено ровно на два с половиной, а пути всего десять минут. Чтобы протянуть время, она задерживается у витрины, изображающей тысячу скользящих в пропасть башмачков и туфелек, равно достойных ножи богини и консержки, отдающихся почти даром, за удовольствие увидеть покупателя, но всегда недостаточно высоких в подьеме. Оторвавшись от витрины, она ужасается, что опоздала,— но времени излишек, и ей приходится трижды равнодушно прогуляться мимо розовых бюстов с аршинными ресницами и восковой невинностью губ. Наконец она обжигает перчатку ручкой двери и низвергается в бездну парикмахерской.

Происходит невообразимое, смещающее планы в хаосе и спешности. Толстый и бритый американский судья, оптом торгующий свиньями, в розницу решающий судьбы людей, неумолимым голосом читает приговор, которым преступник присуждается к смертной казни на электрическом кресле. Палач с помощником бросаются на негра, кутают его в саван, пригибают его голову, окатывают ее едкой жидкостью, моют, втирают, сушат, втирают, моют, окатывают, прыгая вокруг в диком танце,— пока негр не вырождается в мулата, метиса, пятнистый тиф, радугу и рыжую китайскую собачку. Гудит мотор, горячий воздух вырывается с шумом и свистом. Жертва правосудия привязана к чудовищному креслу. С потолка медленно сползает и повисает в воздухе блестящий спрут со стальными щупальцами. Палачи вставляют жертве в нос, в уши, под черепную коробку электрические штепсели, пускают ток и внимательно наблюдают за агонией, которая тянется час, тянется два. «Кончено!» — говорит главный врач и приступает к уборке покойника. Труп бальзамируют, подскабливают, причесывают, разрисовывают,— и мало-помалу из тленной оболочки, из мумии, из мертвого кокона вылупливается рыжеватая бабочка-крапивница, ребенок от года до ста лет, та самая парикмахерская кукла, которая раньше стояла в оконной витрине и многосмысленно улыбалась прохожим. Рабыня спешит докрасить коготки, раб смахивает последнюю пушинку пудры, американский судья поздравляет новорожденную:

«Мадам очень устала? стакан воды мадам?» Кассирша шуршит билетами и отсчитывает кружочки сдачи; кружочки скользят из пальцев в пальцы и попадают в карманы белых балахонов.

Из дверей парикмахерской уже никогда больше не выйдет та, которая зашла сюда три часа тому назад; ее дочь, цветущая возрастом и румянцем, взволнованная светлая блондинка спешит домой предупредить родных о случившейся великой метаморфозе. На всем протяжении пути встречные столбенеют от удивления, женщины зеленеют от зависти, мужчины падают стройными рядами, как подкошенная пшеница, автомобили в необузданном веселье закручивают и пускают волчком стоящего посередине крылатого с белой палочкой.

Гудит подъемная машина совсем по-новому, ключ в замке двери застенчиво щелкает, — и время, сорвавшись с цепочки, продолжает прежний бег по обновленным рельсам.

Только два дня тому назад курица с белым хохолком раскидывала когтистыми ногами солому, наклоня голову и ловко выклеывая зерна. Сейчас, лежа в верхнем этаже духового шкафа, без хохолка на голове, подвернутой под ошипанное крыло, она равнодушно ждет дальнейшей судьбы. Мадам Жаннет пробует ее вилкой и переживает муки творчества.

Гул подъемной машины уже не в первый раз заставляет Анну Пахомовну насторожиться и поправить у зеркала один-единственный волос, отставший от прекрасной волны. В передней топчутся Егор Егорович и его молодой гость.

— И имейте в виду, мой дорогой, — продолжает Егор Егорович, — что расстояние между этими звездами приходится считать тысячами миллионов, биллионов и триллионов километров. Триллион — это значит: тысяча биллионов! Цифры, которые наше обычное представление отказывается понимать.

Анри Ришар не из тех, кто может не заметить перемены в женщине. Анри Ришар говорит с энтузиазмом:

— Мадам решила расстаться с прической а-ля-рюс? Позвольте мне выразить полное восхищение!

Истинный француз — ни слова о перемене цвета.

— Знаешь, Анна Пахомовна, мы с Ришаром так проголодались, что чуть было не зашли по пути в ресторанчик предварить твою курицу с картошкой какими-нибудь эскалопами в мадере.

Егор Егорович весел, приветлив и старается шутить. Он кладет свой портфель на обеденный стол, но догадывается убрать, похлопывает Ришара по плечу и решительно заявляет, что научит его пить перед обедом рюмку водки:

— Сам я обычно не пью, но с вами выпью. В русском доме все должно быть по-русски. Запасец должен быть.

За столом, расправляя салфетку, Егор Егорович с довольным видом смотрит на тарелочку с икрой, другую с маринованным угрем и третью с селедкой в белом вине. Незаконно, но приятно и после службы поражает воображение. Хороший хозяин должен занимать гостя:

— Я вам говорю, мой дорогой Анри, а кстати, Жорж, вероятно, и тебя заинтересует, что при огромном собранном научном материале — мы все-таки лишь в начале пути, а самый путь бесконечен! Сначала икры, Ришар, и имейте в виду, что она настоящая советская: мы с советами не в ладах, а коммерцию поддерживаем. Я и говорю, вот, например, в астрономии, планета Сатурн: она с кольцом, — а что такое ее кольцо? И оказывается...

Кусочек угря замирает во рту Егора Егоровича. Дочь Анны Пахомовны, племянница Анны Пахомовны, дальняя родственница, бабушка, — но где же сама Анна Пахомовна?

Все же, проглотив угря, он говорит по-русски в полном недоумении:

— Что такое? Почему парик?

Анна Пахомовна деланно смеется, но внутренне бесится:

— Ты только сейчас заметил? Сам же мне посоветовал!

— Да, но ты, кажется, перекрасилась?

— Не говори глупостей, и вообще не обращай внимания, это неприлично. Жорж, объясни гостю, я не могу, что папа в первый раз меня видит, а то выходит глупо.

— Но ведь это закон, мадам! Мужья всегда

рассеянны и все замечают последними. Готов повторить много раз, что вам очень, очень идет эта маленькая сделка с природой.

К моменту прилета жареной курицы Егор Егорович возвращает себе если не первоначальную веселость, то спокойствие. Картофель лишен достаточного количества азота, но вот салат чрезвычайно богат витаминами. Анри Ришар, с своей стороны, не только слышал о витаминах, но и знает презабавный анекдот, чуточку легкомысленный, чтобы не сказать непристойный. Жорж хохочет с полным ртом, Анна Пахомовна, ничего не поняв толком, говорит на всякий случай: «Comme c'est joli!»* — Егор Егорович чувствует, что рюмка водки, два стакана вина и ромовая подливка начинают действовать. И он доволен, когда мадам Жаннет приносит кофе. Еще минута, и Егор Егорович заскучает.

— Напротив, мадам, у вас прекрасное произношение! Русские удивительно быстро перенимают наш язык. В русских женщинах, мадам, есть таинственный шарм, не свойственный француженкам. О да, я страстный поклонник славянской души, и не я один. Я мало знаю русскую литературу, мадам, но вся Франция обожает вашего прекрасного писателя, вашего знаменитого поэта, его фамилия Дэсто... Дэто... о мерси, Жорж, oui, c'est bien sa**, Достоески. Пьер Лоти, Андрэ Моруа и Достоески — их души родственны, мадам! Мы были в союзе с Россией, и мы опять будем в союзе, две великие страны. Гений латинский и гений славянский. Будьте уверены, мадам! C'est moi qui vous dis!*** Казни ужасны, мадам, но интерес государства, и это пройдет, я вам ручаюсь, мадам. Я лично знаю одного чиновника полпредства, мой большой друг, и он меня уверял...

Он врет со вкусом, сам себя слушая, пригубливая сладкий ликер. Женщина, правда, не первой свежести, но русские плечи положительно стоят французской ножки. Егор Егорович слегка осовел и имеет полное право больше не открывать рта. Жорж очарован красноречием гостя и с удивлением смотрит на мать. Кольца вокруг Сатурна вертятся бешено и со свистом.

* «Как это красиво!» (фр.)

** да, да, именно (фр.).

*** Это я вам говорю! (фр.)

В толщину они несколько десятков километров, в ширину не более двухсот; для полного оборота достаточно десяти часов. В половине одиннадцатого Ришар подымается и, зная русский обычай, галантно целует ручку Анны Пахомовны, слегка щекоча ее ладонь пальцем. «Au revoir, mon chef! Adieu, George!» *— и дверь в передней отчетливо крякает.

— Кажется, все было хорошо, Гриша. Он очень мил, твой Ришар, и, кажется, очень образованный человек. И знаешь, я все, почти все понимаю. Но как я устала сегодня, как устала!

Егор Егорович снимает пиджак и, чтобы лучше использовать время до сна, берется за самую толстую книгу.

ШАГ ВТОРОГО ГРАДУСА

В день воскресный и очень светлый Егор Егорович выходит из дому, напевая веселый мотивчик. Радость должна преобладать в вольном каменщике. Пусть на черном бархате серебряные слезы, пусть череп скалит зубы, пусть разрушен храм Соломона,— черный цвет, порожденный атанором философской ртути, в свою очередь, породит все светлые цвета. Кроме того, сегодня имеются особые причины.

Улыбки, бесплотные розовые созданы, не то цветы, не то мотыльки, не то кондитерские пирожные, качаются на воздушных качелях, ловят и сажают рядом Егора Егоровича и возносят к небесам: ух-у-ух! Тарлам-тарлам-татам, тарлири, ририри... Консьержка выбивает коврик; когда консьержки не разбирают почты и не ворчат, они всегда выбивают коврики. «Bonjour, monsieur Tetékhine!» — «Bonjour, madame, dites **», ваша кошка окотилась?» — «О, мосье, она принесла мне шестерых котят! Не возьмет ли мадам Тэтэкин одного?» — «Думаю, что она будет рада. Au revoir, madame!» — «Au revoir, monsieur!» *** Тарлири, рири-ри... И причины достаточно серьезные, все-таки,— первая несомненная победа, и победа в семье:

* «До свидания, шеф! Прощай, Жорж!» (фр.)

** «Здравствуйте, господин Тэтэкин!» — «Здравствуйте, мадам, скажите...» (фр.)

*** «...До свидания, мадам!» — «До свидания, месье!» (фр.)

над женой и сыном. Погода нынче совсем весенняя. Вчера Егор Егорович, войдя в комнату неслышно, в мягких туфлях, застал Жоржа погруженным в рассмотрение иллюстраций в книге по анатомии человека, которую Егор Егорович взял из библиотеки не то чтобы изучать как следует, а пока хотя бы поверхностно познакомиться. Увидав отца, Жорж захлопнул книгу и буркнул что-то вроде: «Я думал, что-нибудь интересное...» Значит, все-таки проникся мальчик моими словами, потянуло его к чистому и бескорыстному знанию, как будто ненужному *pous faire son chemin!* А сегодня говорит Анна Пахомовна: «Знаешь, не брать ли мне уроки французского разговора, а то как-то неудобно. Я все понимаю, когда говорит Ришар или другие, но когда отвечаю — ужасно путаюсь». — «Ну конечно, следует! Ты хоть с Жоржем говори или со мной». — «Нет, уж лучше брать настоящие уроки у француза. Этот твой Ришар не согласится? Мы бы могли ему платить». — «Могу спросить». — «Нет, я сама с ним поговорю, ты пригласи его опять обедать в среду». Тарлам-тарам там-там, тарли-ри, рири-ри. Парикмахерские куклы, пылая необычайным загаром лица и шеи, изо всех сил улыбаются Егору Егоровичу: «Поздравляем мосье с блестящей победой!» — «О, мерси, мадам! Хотя действительно...» Так, упражняя свой разум и свою волю, человек влияет на других, и прежде всего, конечно, на своих ближайших, на свою семью, а дальше — на членов братства, и с ними в сговоре — на мир профанный, на все человечество. Храм Соломонов должен строиться общими усилиями, но его первый камень — ты сам, человек! Тарлам-тарам та-там. В тени еще холодновато, а на солнце совсем теплынь.

И ведь чем привлекает взор зеленная лавка? Прежде всего — яркостью и разнообразием красок: салат, апельсины, бананы, свекла. На ходу Егор Егорович хватает с лотка пять апельсинов, швыряет их по очереди выше крыши, ловит, подбрасывает, конечно, — только мысленно, но с большой ловкостью. Весна превращает стариков в детей, а детей в козлят. На Егора Егоровича нападает озорничество, и через дорогу он проходит с необычайной важностью ритуальным шагом, задерживая автомобили, — опять же, конечно, только мысленно. Крылатый с белой палочкой кричит

шоферу автобуса: «Qu'est-ce que tu f... mon vieux? * Ты не видишь, что шествует вольный каменщик!»

И вдруг — резкий кошачий визг, и на дороге бьется белый комочек: пробежавшую кошку задело колесом. Егор Егорович, оборвав веселый мотивчик, спешит первым на помощь, другие прохожие сочувствуют. На носу кошки капля крови, задняя ножка волочится. На Егора Егоровича кошка смотрит глазами ненависти, — ей ли в такой момент различать злодея от благодетеля? С кошкой и портфелем Егор Егорович забегает в аптеку тут же рядом. Нужна скорая помощь.

— Дежурный доктор?

— Да, мосье. Но это животное, мосье? Доктор не лечит животных.

— Доктор понимает лучше нас; тут нужна перевязка, ножка, вероятно, сломана. Очень прошу вас позвать доктора, я заплачу. Котенок — живое существо, и он чувствует боль так же, как и мы.

Взволнованному человеку нельзя отказать. Ножка действительно смята, но возможно, что кости целы. Доктор осматривает лапку кошки, которая его ненавидит; она окружена врагами. «Это ваша кошка, мосье?» — «Нет, я подобрал ее на улице, здесь, рядом». — «Это кошка мадам Монфор из соседнего дома, — говорит пожилой фармацевт, — я ее хорошо знаю. Мадам будет огорчена». — «Я отнесу ей, где ее квартира?» — «Пятый этаж, левая дверь». — «Сколько я должен за перевязку?» — «О, мосье, ничего, мадам заплатит». — «Вот десять франков». — «Мерси, мосье!»

Взрыв горя на пятом этаже. «Mon pauvre Minou! ** О, мосье, вы так добры!» — «Она попала под колесо, но доктор думает, что она легко поправится». — «О, мерси, мерси! Вы — иностранец, мосье?» — «Я русский». — «Русские так великодушны». — «Известно ли вам, мадам, что кошка сродни тигру? Да-да, как это ни странно!» Егор Егорович читает маленькую лекцию о семействе кошачьих, характеризуемом главным образом втяжными когтями. Тигр живет в бамбуковых зарослях близ рек; самка приносит двух-трех детенышей. Разновидность — тигр яванский, живет на Яве и Суматре, на затылке имеет гриву. «О, мосье, как вы любезны! Русские знают все».

* «Куда прешь, старина?..» (фр.)

** «Бедная моя Мину!..» (фр.)

Через какой-нибудь месяц совершенно оправившаяся кошка сама приходит в квартиру Егора Егоровича на улице Конвансьон благодарить за спасение жизни. «Вы были милосердны к ничтожному животному, мосье! Вы показали меня врачу, подали первую помощь, отнесли к моей доброй хозяйке; благодарю вас, мосье Тэтэкин, вы поступили, как настоящий вольный каменщик». — «То, что сделал я, сделал бы и любой профан, не лишенный сердца!» Отвечая кошке, Егор Егорович искренне сожалеет, что вся эта сцена с автомобилем, кошкой, аптекарем, доктором тоже не настоящая, а выдуманная его возбужденным и радостным весенним состоянием. Глаза Егора Егоровича влажны, к горлу подступает шампанская пробка.

Именно в таком состоянии Егор Егорович на углу улицы Лекурб включил в объятия профессора Лоллия Романовича Панкратова.

Мы опять уносимся в Казань к дням триумфального ухода чехословаков. В городском саду, на лысине великого математика Лобачевского, сидел, нахохлившись, воробушек и смотрел на окна второго этажа недалевого дома. Обычно в этот час из оконной форточки высывалась рука и сыпала на особую дощечку хлебные крошки. Воробьи были уверены, что за этим стеклом живет непроходимый идиот, простоту которого легко использовать. Когда рука скрывалась, один из дежурных воробьев взлетал на крышу дома, свертывал голову набок, смотрел вниз на дощечку, прицеливался, спускался парашютом, хватал кусочек позабористей и летел с ним на лысину Лобачевского или на другое удобное и безопасное место. По его сигналу такую же военную диверсию проделывали и другие воробьи, соблюдая, конечно, всяческую осторожность. Так ловко они пользовались людской непредусмотрительностью, оставляя с носом человека за стеклом.

Сегодня форточка не отворялась, рука не высывалась и не сыпала крошек. К эпигету идиота дежурный воробей возмущенно прибавил негодяя и зря точил нос о череп, вместивший неевклидову геометрию.

В это самое время и благодетельная рука, и принадлежащий ей человек, и еще много рук, ног, обе-

зумевших голов, астматических грудей, детских локонов, женщин, не успевших захватить кастрюльку, купчих, набивших чулки бриллиантами, попов, запрятавших в подрясник ленту вдовицы, дрожащих осиновой дрожью либералов, чрезвычайно возмущенных эсеров, обомшалых ученых и честно-пламенных дурней кубарем катились по дороге от города Казани в неизвестное будущее. Впереди всех на золотых колесах казны российской катили не в свою сторону чехословацкие герои.

Никто не знал, зачем и куда он уходит, — но все знали, откуда и почему они бегут. Единственным, не знавшим ни того ни другого — ни куда, ни зачем, ни почему, — был казанский профессор Лоллий Романович Панкратов, не успевший утром покормить хлебными крошками воробьев. С вечера его уверили соседи, что нужно оставить Казань и двинуться на Самару; ночью благодетельные руки уложили в чемодан его костюм, несколько смен белья, микроскоп и черновик давно изданной работы; на рассвете профессор удивленно и добросовестно шагал в толпе по улицам пустеющего города, после чего несколько месяцев или лет, давно потеряв чемодан, микроскоп и черновик, двигался в разных направлениях пешком, в теплушках, на пароходе по России, по Сибири, по морям, экзотическим странам и европейским улицам.

Его сновидения были полны разнообразия, этапы жития необъяснимы. До каких-то границ он двигался в обществе почтового чиновника Тетехина, что и положило основу их теснейшей дружбы. Затем профессор жил, или ему казалось — в Праге, где те же чехословаки раз в год выдавали ему из своих складов солдатскую рубашку точного русского образца и несколько бумажных ассигнаций, не имевших ничего общего с золотым запасом.

По истечении неопределенного времени профессор попал в Париж и стал что-то где-то делать не по своей профессорской части. Впрочем, его некогда почтенное звание уже считалось липовым и несерьезным с тех пор, как всякий русский, проехавший на трамвае мимо Сорбонны и умевший говорить, механически делался профессором.

Заклучив старого друга в объятия, Егор Егорович воскликнул с неподдельным волнением:

— Вы ли это, Лоллий Романович? За три года встречаю вас третий раз — и ни разу у меня не побывали. Нет, теперь уж я вас не выпущу!

Восторг Егора Егоровича был естественен и понятен: вот человек, который разгуливает среди научных дисциплин, как в собственном огороде, тогда как самому Егору Егоровичу гороховая заросль кажется непроходимым бором.

Вероятно, профессор куда-нибудь шел; возможно, что даже с намеченной целью и в определенном направлении. Но со времени казанской истории он утратил веру в реальность самостоятельных движений и в свободу воли индивидуума. Стараясь попадать в шаг, он шел теперь с Егором Егоровичем и за Егором Егоровичем, удивляясь неожиданности поворотов и новизне улиц, по которым, впрочем, много раз проходил.

Ресторан, в который они зашли, был очень счастлив их видеть и, очевидно, с нетерпением их ждал, так как столики были накрыты и лакей нисколько не удивился. «Ведь вы не завтракали, Лоллий Романович?» — «Не думаю, чтобы...» — «Я тоже не завтракал. Не приглашаю вас сегодня к себе, потому что Анна Пахомовна взяла у меня некоторым образом отпуск, а Жорж у своих приятелей. Для начала, что вы скажете об устрицах?» — «Род раковинных моллюсков... вы разумеете, вероятно, *ostrea edulis* *, пластинчато-жаберных?» — «Гарсон, дюжину португальских! Как я счастлив, что встретил вас, Лоллий Романович! У меня к вам тысяча и один вопрос. Вы пьете вино?» — «О, конечно!» — «Гарсон, бутылку анжу».

Егору Егоровичу хочется тут же, сейчас же, проглотить третью устрицу, спросить профессора о сумчатых, о туманностях, религиях Индо-Китая и санскрите. Но он внезапно замечает крайнюю худобу и бледность Лоллия Романовича, который заедает каждую устрицу двумя кусками хлеба.

— А как вы живете, профессор, над чем сейчас работаете?

— Я клеил коробки, и это очень хорошо, но в последнее время отдыхаю.

Егор Егорович с ужасом смотрит, как профессор,

* устрица съедобная (лат.).

посыпав кусок хлеба солью, быстро расправляется с ним желтыми зубами. Триста пятьдесят томов толстейших и ученийших работ в переплетах срываются с полок, обрушиваются на голову Егора Егоровича и вышибают из его глаза слезу. В ужасе разбегаются стада кенгуру, тушканчиков и саламандр, обращаются в слякоть туманности, киснут электроны, линяют религии индусов. Гарсон в недоумении, но исполнительно заказывает буфетчику шесть порций недожаренных шатобрианов с луком и яйцом сверху. «Шатобриан недурен», — говорит Егор Егорович, уверенно подстрекая профессора на четвертый кусок, — и Лоллий Романович отвечает невинно: «Да, но каков путь от «Atala» до «Mémories d'outre-tombe»! * И однако он был последовательным легитимистом. Какое, кстати, превосходное мясо! Как это называется?» — «Кушайте, дорогой, тут еще ваша порция. А не спросить ли нам мозги-фри или чего-нибудь основательного?» — «Мерси, но я боюсь, что я сыт, как это ни странно». — «Тогда — гарсон! — сыр, фрукты, кофе!»

Отхлебнув кофею, профессор тянет из бокового кармана пиджака мятый синий пакетик, шарит в нем и вынимает недожаренную папиросу. Затем медленно подымает на Егора Егоровича покрасневшие от вина и усердия в пище глаза и говорит чеканно и выразительно, как бы начиная лекцию перед аудиторией:

— Я очень вам благодарен, добрый друг Тетехин. Думаю, что лет пять я не ел с таким удовольствием и до столь полного насыщения. Дело в том, что я до чрезвычайности беден и притом довольно стар.

Гарсон, изогнувшись каучуковым корпусом, шелкает без промаха серебряной зажигалкой и дает потрепанному клиенту закурить. И в ответ слышит на безукоризненном языке:

— *Votre amabilité parfait ce tableau enchanteur!* **

Профессор чуточку захмелел.

Одна из трехсот пятидесяти толстых книг, повредивших темя вольного каменщика, лежит перед ним развернутая на странице, где написано: «Необычайные завоевания человеческой мысли, выражающиеся в бесчисленных

* от «Атала» до «Замогильных записок» (фр.).

** Набор вежливых слов, не связанных между собой.

открытиях и изобретениях, облегчают существование человечества и делают его жизнь все более легкой, радостной и счастливой».

— Врете-с! — кричит Егор Егорович, не стесняясь присутствием Анны Пахомовны, совершенно пораженной. — Нагло врете-с!

В форме обращения на «вы» — последняя дань уважения Егора Егоровича к науке.

— Что с тобой, Гриша?

Захлопнув книгу и отшвырнув ее на неподобающее место, вышеупомянутый Гриша вскакивает и меряет комнату большими шагами:

— Наглое вранье! Если бы знания делали жизнь счастливой, то он не съел бы за один присест, без передышки, пять шатобрианов!

— О ком ты говоришь?

— Это безразлично, не в том дело. Какой-нибудь агент страхового общества или этот пустоголовый Ришар — благоденствуют и жуют дважды в день в полное свое удовольствие, а человек широчайшего образования, глубочайших познаний, настоящий профессор, не снимает пальто, потому что штаны у него протерты и сзади, и на коленках. Нет — извините!

— Если он, по-твоему, пустоголовый, то зачем ты его приглашаешь? И что это за выражения!

— Кто? Кого? При чем тут я?

— Это невыносимо, Егор Егорович! И вообще у тебя ум за разум заходит от дурацких книг.

Далее происходит совершенно невероятное. Егор Егорович смотрит сквозь Анну Пахомовну и говорит тоном начальника отделения гоголевских времен:

— Па-пра-шу оставить меня в покое.

И, не дав Анне Пахомовне времени погибнуть от изумления, а «дураку» догнать себя на лестнице, Егор Егорович надевает пальто и уходит.

Путь ушибленного и взбунтовавшегося человека от его квартиры до временного местопребывания Великого Геометра Вселенной неблизок и завален мусором внезапно обрушившейся пирамиды книг и ученых трудов: ключья, страницы, корешки, обложки, закладки, пергаменты, фолианты, брошюры. Каша подгнивших истин. Сумбур ограниченных постижений. Кавардак идей. Крушение искусств. Любопытно, что гибнет самое беспспорное, независимое от случайных событий

дня и временных настроений. В иных местах Егор Егорович, не нащупав ногами твердой почвы, пускается вплавь, откидывая взмахами рук накипь напрасных утверждений, которым еще недавно так свято доверялся. На этот раз он хочет донести свой протест горящим, — как доносят четверговую свечку.

И действительно, он решительно и не стуча врывается в кабинет Великого Геометра Вселенной, погруженного в свои вычисления, и кричит ему в упор:

— Обман! Как ты можешь спокойно чертить свои треугольники и пентаграммы, когда рядом умирает от голода человек, твой ученик, тебе поверивший и пошедший по твоим стопам?

И Егор Егорович — трудно поверить! — хватается Геометра за шиворот.

Не отрываясь от вычислений, Великий Геометр спокойно говорит:

— Не тронь моих чертежей.

— Наоборот, я изорву их в клочья, потому что это — ложь и преступление! На кой черт истина, если за нее нельзя получать даже обеда в шоферском кабачке? Пока ты откроешь наконец рецепт философского камня, — тысячу твоих учеников уволокут на кладбище.

Великий Геометр подымает голову, поправляет пенсне и протягивает руку Егору Егоровичу:

— Здравствуйте, дорогой Тетехин. Сейчас я доклею вот только эту пачечку. Что, собственно, вас смущает и почему вы так суетитесь? Во-первых, вы несколько преувеличиваете мою ученость; во-вторых, мои дела не так уж плохи, я получил работишку по наклейке этикеток на коробочки: полтора франка за тысячу — довольно сносно при моих малых потребностях, комнаты не окупает, но для питания как раз; в-третьих, вы путаете области — в данном случае к области чистых знаний неприложим коммерческий расчет. Пока я доклеиваю, вы можете, конечно, возражать, но имейте в виду, дорогой Тетехин, что вы всегда слабы в аргументации.

Маленький сдвиг картины — и Егор Егорович оказывается за липким мраморным столиком. Подперев голову руками и смотря в начатый стакан, он ищет слова, которые выразили бы всю муку его сомнений:

— Да-с, я учился мало, хотя всегда с прилежанием;

вы же, Лоллий Романович, постигли всяческую премудрость. И вот мне ваши книги наболтали, что знание украсит и облегчит человеческую жизнь, сделает людей счастливыми и окончательно свободными. Как же так? Знаний все больше, счастья все меньше, а уж про свободу и говорить нечего. Я и спрашиваю вас: где истина? Во что я должен верить? Что отвергать?

— А зачем вам истина, дорогой Тетехин?

— Странное дело — зачем? Я родился; я живу; я служу; у меня жена и сын. Должен же я знать, для чего это случилось и как мне быть дальше? А вдруг окажется, что не нужно ни жены, ни сына, ни службы, а всего лучше намылить веревочку и повеситься.

Спокойно отхлебывая невероятную жидкость, профессор старается говорить вразумительно:

— Ну, родились вы естественным порядком, не для того, а потому что. Живете вы потому, что родились, но, конечно, можете поставить себе и некую определенную цель дальнейшего существования — хотя, дорогой Тетехин, стоит ли? Что касается вашей женитьбы на Анне Пахомовне...

— Ну, это ладно, я знаю; просто — женился, а там уж пошло.

— Вот видите. Вы служите, чтобы иметь заработок, питаться и в пределах возможного питать других. Все понятно. Какую же вам еще нужно истину?

— Нет, вы меня с толку не сбивайте! Я вам ясно говорю: не хочу быть бессмысленной скотиной, как был до сей поры. Мне говорят: люби ближнего. Пожалуйста, с удовольствием! Совершенствуй, говорят, свои нравственные качества. Ладно, постараюсь! Пополняй свои знания. Опять — с полной готовностью! Беру всякие книжки, читаю, интересуюсь, и что такое водород, и какие созвездия, и про всяких, простите меня, моллюсков, и про бананы, и что индусы очень уважают корову, и микроскоп, и Вильгельм Завоеватель, одним словом, — по чистой совести, сколько хватает времени. И вдруг оказывается — всё ни к чему! Вчера в газетах — молодой человек повесился из-за крайней нужды; а окончил университет. На кой черт он его окончил? Вы не молчите, вы мне прямо отвечайте: на какой черт он его, этот университет, окончил?

— Прежде всего не кричите, дорогой Тетехин. Кричать, выпив только полстакана вина, нерасчетливо.

— И кричу, и буду кричать, и буду руками махать! Я, Егор Тетёхин, мелкая рыбешка, мразь, полунеуч, жил смирно и кротко. И вот я взбунтовался. Вы, Лоллий Романович, ученый человек, не мне чета. Отвечайте мне по чистой совести: дважды два — четыре?

— Вообще говоря, — да.

— Ага! Вообще говоря! Значит, — только для простаков. А вот я прочитал, что дважды два может быть и не четыре.

— Дорогой Тетёхин, уверяю вас, что для практической жизни дважды два — четыре, поэтому волноваться не стоит.

— Так. Я и не волнуюсь за свои конторские счета, там все ясно. Но моя жизнь конторой не исчерпывается, я хочу добиться правды. А как я ее добьюсь, когда нет прищепки, нет ничего верного? Вертелось Солнце вокруг Земли — и ничего в том плохого не было. Потом оказалось — наоборот: Земля ходит вокруг Солнца. Прекрасно, это, пожалуй, даже удобнее. Теперь оказывается — вообще ничего неизвестно, кто вокруг кого вертится. Нет, извините! Я так не могу! Либо то — либо другое, но чтобы уж наверное и окончательно! Я ли в трамвае еду, или пускай он по мне едет, или муха летит, или муха сидит, а я лечу — я все могу снести, Лоллий Романович, но чтобы мне знать, откуда и куда я лечу, иначе я лететь отказываюсь! Вот вы смеетесь, а для меня это верная гибель. Я из-за этого голову потерял.

Помолчав, Егор Егорович говорит, как бы извиняясь за свои скандальные речи:

— У меня, Лоллий Романович, накоплено в банке двадцать тысяч франков. Хотите — возьмите их себе.

— Как же я возьму? Да мне и не нужно.

— Ну, меньше возьмите. Потому что все это — чепуха, про дважды два и про муху и прочее. Не в том дело совсем.

— Франков двадцать, дорогой Тетёхин, я бы взял у вас, хотя мне неприятно, потому что — когда же я вам их верну?

— Возьмите пятьдесят.

— Пятьдесят — слишком много. Станный вы человек, дорогой Тетёхин. Я считал вас более не то что основательным, а спокойным.

— Спокойным и был. И во все верил. Теперь больше ни во что не верю.

Из кабачка они выходят под руку, в молчании и плохом равновесии. Скромнейший и воздержаннейший человек, Егор Егорович готов стать записным пьяницей — два стакана кружат ему голову. В часы, свободные от службы, он уже не сидит за книгой — он считает ступени на чердачный этаж профессора. Войдя, молча садится на неприбранную кровать. С четверть часа они курят, потом профессор надевает пальто, и они идут в мизернейшее бистро на углу улицы.

До полустакана Егор Егорович остается молчаливым; к концу стакана — требовательным. И требует он только одного — немедленного ответа на то, что есть истина.

Ответа нет. По крайней мере, нет удовлетворяющего ответа, и Егор Егорович страдает — по-настоящему, ужасно страдает.

Вот идет Егор Тетёхин, воплощение бунта и восстания. Вот он идет по улице, по своей собственной улице Конвансьон, и согнутой рукоятью трости бьет стекла магазинов, уличные фонари, встречных и поперечных. Он ногтями выдергивает светлые, полустертые лепешки гвоздей на *passage clouté* *, потому что теперь все это — вздор и не нужно. Он подпрыгивает, хватается за карнизы домов — и обрушивает здания, и жилые дома, и те грязно-серые столетние стены, на которых по закону 29 июля 1881 года запрещается наклеивать афиши. Он бросается под трамваи и автомобили и, разрезанный на куски, на много кусков, продолжает мыслить и страдать в каждом куске особо, — потому что семя сомнения и отчаяния попало на почву отзывчивую и девственную. Дома он оставил осколки семейной жизни: статуэтку Жанны д'Арк с отбитым носом, на сходство с которой (до носа) претендовала Анна Пахомовна, и потертого Достоевского из крашеного гипса. Вот идет Егор Тетёхин, пронизанный духом бунта, — и нет ему покоя на земле.

Полюбовавшись на свое произведение, художник впихивает его в пасть метро, протаскивает волоком под землей и вытягивает в другом конце Парижа, скрыв от профанов название квартала. Егор Егорович спокойнее, но он торопится, так как, кажется, опоздал

* на указателях перехода через улицу (*фр.*).

к началу заседания. Он входит в подъезд старинного здания с привычным и неизжитым ощущением готовности взволноваться особыми чувствами. Он подходит к двери, за которой слышен размеренный голос. Он подымает руку и косточкой указательного пальца ударяет, ударяет и еще ударяет. Человек в пиджаке, вооруженный мечом, никогда никого не поражавшим, протворяет дверь, и подмастерье Тетехин становится к порядку между колоннами. Свободным жестом он отделяет голову от туловища, мыслящее от животного. Он обещает быть правдивым, как уровень, и точным, как отвес. Он сдерживает и проверяет угольником свой шаг и свои мысли.

В эту минуту на него обращены все глаза — с сочувствием и любопытством. Он садится под солнцем юга и под сенью силы, — солнце пригревает его, и он обретает в себе силу шествовать дальше в сомненьях и колебаньях.

Он оглядывается вокруг — и видит знакомые лица людей, весь день трепавшихся и с суетливой настойчивостью ковавших монетку с дырочкой на пропитание себе и семье. Из магазинов, бюро, с биржи, из редакций газет, мясных лавок, банков они разошлись по домам усталыми и пропотевшими взаимным недоверием и злобами серенького дня. Дома, закусив двумя тарелками вареной зелени и худощавым ребрышком животного, запив это кислым и терпким вином, всю жизнь одним и тем же, выслушав одним ухом жалобы жены на неделикатность соседки, — они вынули из будто бы тайных хранилищ будто бы тайные муаровые ленты и замшевые передники, перестроили усталость лиц на охотную приветливость и с разных концов города собрались под искусственное звездное небо, на котором солнце уживается одновременно с лунным серпом.

До этих дверей старого монастыря они были торгашами, сутягами, живоглотами, адвокатами, маклерами, военными, бухгалтерами и чиновниками близких к падению министерств; переступив порог, обтерли подошву об истоптанный коврик, и теперь это — иные люди, страстно влюбленные в свою прекрасную выдумку, готовые для ласкового общения душ, тонкие ценители музыки осмеянных в профанном мире слов: братство, терпимость, любовь, пожалуй,

даже жертва,— только будьте осторожны, дайте отуманиться знакомыми символами — и очнуться в сиянии тройственного света мудрости — силы — красоты новыми, избранными, творцами, строителями невиданного Храма!

Они рассаживаются по скамьям, еще поживаясь от колик, почек, геморроя, ишиаса, катара, усталой за день поясницы,— но уже в готовности быть здоровыми, разом улыбаться, совместно испытывать скорбь, соборно гнать ее надеждой; только бы на час забыть, накрепко и искренно, об ежедневном житейском и в тайном зеркале вечности увидеть свои лица молодыми, красивыми и преображенными, без этих ужасных масок и судорожных морщин. Стать такими для себя, для другого, для всех, и будто бы там была ошибка, нехороший сон, и только здесь — лучезарная действительность, песнь песней, преддверие последней правды.

Дверь заперта, бодрствует привратник. И в Храме уже нет торгашей, жалких душ, домашних деспотов и чиновных подхалимов:

— Досточтимый мастер, все братья, украшающие колонны Храма, суть вольные каменщики!

Егор Егорович встает и снова садится. В этот момент он всегда говорит себе с волнением: «Да, и я тоже!» Он горд за себя и за других. Он очарован простотой и серьезностью, с которыми все разом протягивают руку и произносят хором изумительные три слова, лживо звучащие на монетах, кощунственно на дверях участков, преступно на воротах тюрем,— три слова, внезапно пылающие здесь изначально, чистым светом, каким они пылали в те дни, когда еще молодая, верующая, пламенная Франция подарила их всему свету. От этого и удивительное ощущение молодости — десятка два годов с плеч долой! В сущности, он — прекрасный человек, этот агент страхового общества. Как идут ему лазурь, и пурпур, и золото, и как торжествен его голос, строги и изящны жесты. Нет, тут словами всего не объяснишь, да и понять не всегда можно. Тут тайна, Егор Егорович, и радостно, что тайна существует и что она так многообразна. Была серая толпа, а взгляни теперь: все на подбор красавцы, а уж особенно старики. Тут, мой дорогой, никакие рассуждения ничего не дадут, а раз тебе хочется ве-

рять, ты, Егор Егорович, верь и радуйся своей вере, потому что смущаться нечего, и так, попросту, гораздо лучше. Вон там, под потолком, не очень искусно торопливой рукой дешевого мастера нарисован шнур со свободными кафинскими узлами. Рисуночек, по совети, неважный,— и, однако, из этого всех связующего опояса ты не вырвешься, бунтовавший, впрочем уже смирившийся, уже размякший и умиленный Егор Тетехин, украсивший себя пониже талии забавным детским передничком.

Егор Егорович чувствует, как сердце его отходит, и, отказавшись от самостоятельного галопа, норовит попасть в общий шаг. Он видел чудо превращения, он приобщился к тайне посвященности. Он сам — маленький конторский служащий, никогда бы не узнавший ни бунта, ни радостей прозрения, если бы благодетельная рука однажды не простерла над ним бутафорский пламенеющий меч, если бы в руку его не сунули долото и деревянный молоток. И уж если это забава и только забава, то будь она благословенна! Деревянными молотками ржавое железо душ перековывается в металл благородный.

В Люксембургском саду дети пускают в воду круглого бассейна яхточки с косыми парусами. Ветер гонит яхту от каменного борта прямо под струю фонтана. Каскад воды обрушивается на игрушечный корабль — и дети замирают в ужасе и восторге. Легкая яхта неизменно выскальзывает и спасается — мокрая, но невредимая. Когда она приплывает к тому борту,— Жоржи, Жако, Жанэ, Пэпэ и русские Андрюши отталкивают свои корабли палочками и отправляют их в новое и полное приключений плаванье.

И есть еще другой бассейн — мир человеческих отношений, океан столкновения разнообразнейших интересов разноцветных народов,— грабежи, войны, власти, тюрьмы, законы и вся прочая накипь на поверхности земли, все-таки освещаемой солнцем. Игра в смерть и социальную справедливость, разжиженный мозг политических программ, священники верхом на согбенных и линялых Христах, парадные гноилица неизвестных солдат, женевский рассадник упитанной дипломатической лжи, кадры международной и национальной полицейской и судебной сволочи, военная штамповка ослов и патриотов,—

и коротенький календарь человеческой жизни, испещренный отметинами исторических дат: июли, брюмеры, февраль, термидоры, октябри, праздники перемирий, рождения, смерти, юбилеи, — совсем не остается дней простых и ясных, для всякого бесспорных, в которые не терзал бы человек человека зубами, дыбой, гильотиной, статьями закона, догматами веры, уставами благочиния, стихами, удушливыми газами, молитвами, вонью города и речами ораторов. Цепляясь друг за друга, лезут на трибуну вещать о грядущем счастье человечества величайшие шутники всех времен и народов — Моисей, Платон, Христос, Ленин, полицейские префекты, профессора философии, социалистические депутаты и продавцы резиновых изделий по рекламным ценам.

О, дети, берегите и хольте свои яхточки! В них больше всамделишной истины, чем во всех хартиях вольностей!

— Братья, не просит ли кто-нибудь слова на пользу ложи и всего Братства каменщиков?

Неожиданно сам для себя просит слова брат Тэтэкин. Запинаясь языком за путаницу мыслей, он говорит:

— Невозможно терпеть, братья, такое положение, что, например, я читал, как молодой человек, я не помню фамилии, да это и не важно, братья, покончил с собой от безработицы и нужды. И еще, братья, я сам знаю, например, профессора, умнейший человек, который может умереть с голоду. И таких очень много.

Дальше у него не выходит, и он замолкает.

— Дорогой брат, ваши чувства делают честь... Братьям известно... но что вы, собственно, конкретно предлагаете, дорогой брат Тэтэкин?

Егор Егорович оглядывается. Он видит лица, более удивленные, чем сочувствующие. Зачем, собственно, он вылез? Сидел бы и молчал. Он долго ищет слова, но отвечает:

— Конкретно? Я не знаю, я только чувствую, что так нельзя. Я вот со своей стороны сейчас же готов, сколько могу...

И брат Тэтэкин, вытянув бумажник, извлекает из него записки, визитные карточки, деньги, потом сует все обратно — и не знает, как дальше поступить.

Сияющий лазурью и золотом агент страхового общества находит выход из положения:

— Братья, кружка вдовы обойдет колонны. Сегодня все, что будет собрано, мы отдадим в пользу безработных.

Пальцы тянутся к жилетным карманам. Егор Егорович в великом смущении комкает большую бумажку. Ему очень стыдно и не по себе. Бумажка не проходит в отверстие кружки вдовы, и собиратель милостыни приподымает крышку.

Сидящий неподалеку от Егора Егоровича комиссионер грамофонных пластинок шепчет на ухо почтенному аптекарю.

— Славный малый этот русский!

— Что вы говорите?

— Я говорю: он хоть и недалекий, а малый славный. Э?

— Да, большой чудак!

И аптекарь, вторично сунув пальцы в карман жилета, вытаскивает и добавляет в кулак еще два франка.

На задней скамье насупленные брови брата Жамена. Он смотрит на затылок Егора Егоровича хмуро, задумчиво и не очень одобрительно. В его руке приготовлена обычная монета. В его голове старые, мудрые мысли. В его брови торчит прямой и круглый, как бревешко, седой волос — против ворса.

ЦИНЦИННАТ

Километрах в пятидесяти от Парижа у Егора Егоровича был маленький участок земли, весьма благо разумно приобретенный в первые годы по приезде во Францию на вывезенные из России валютные бумажки. На участке был построен в кредит домик в четыре комнаты, и в течение ряда лет Егор Егорович с похвальной аккуратностью выплачивал — и выплатил его стоимость.

Домик был неблагоустроен и к зимней жизни неприспособлен, но летом семья Егора Егоровича переселялась сюда на месяц его отпуска, а иногда приезжали дня на три, когда праздничный день счастливым мостом соединялся с днем воскресным. Впрочем, Анна Пахомовна не проявляла большой склонности жить на даче, в местности безлесной, безречной и довольно малолюдной, где не было даже кинематографа.

В нынешнем году Егор Егорович взял отпуск рано — в мае месяце, и было решено, что он поедет в деревню один. Топить при надобности печурку и варить кофе — мудрость небольшая, а питаться, недорого и хорошо, можно было в приличном кабаке поблизости от хутора. Впрочем, при желании Егор Егорович справился бы с кулинарией и лично.

Он опасался, что проект такой его самостоятельной жизни встретит резкий отпор со стороны Анны Пахомовны. Оказалось, наоборот: Анна Пахомовна вполне одобрила его план одинокого весеннего отдыха, избавлявший и ее от лишних семейных забот. У Анны Пахомовны, — кто бы мог думать! — завелся свой круг новых знакомств, и не только русских. С тех пор как Анна Пахомовна сделалась светлой блондинкой с яркими губами и короткими индефризблями, — весь строй ее жизни и ее психологии переменился. Анна Пахомовна с тем же ужасным акцентом, но уже безо всякого стеснения, с легкостью и свободой пускала в оборот французские фразы. Стала легче ее походка, мизинец правой руки оттопыривался с грацией, и на благотворительном балу волжского землячества Анна Пахомовна, на глазах остолбеневшего от ужаса Егора Егоровича, протанцевала фокстрот и еще какой-то танец, отвалившись верхней частью сорокалетнего корпуса от привалившегося к нижней Анри Ришара, с некоторого времени ближайшего друга семейства Тетёхиных.

В первых числах мая Егор Егорович с чемоданом белья, пакетом семян от Вильморена, связкой бамбуковых палочек, новеньким легким топором, пилой-ножовкой, английскими кусачками, примусом и другими орудиями хозяйственного созидания отбыл в собственное имение. Книг с собой взял три: «Спутника садовода», Библию и одно из малопонятных творений высокоученого Папюса — читать одинокими вечерами и в дождливый день.

На месте его ждала великая книга Природы, развернутая на первой странице, дальше которой еще не пошло современное человечество.

Три первых дня на даче пролетели, как сон волшебный. С раннего утра до заката Егор Егорович ковырял, полон, сеял, ставил палочки, сжигал сухие ветки, листья и мусор, сооружал ящики, забивал гвоздики. В ве-

черней прохладе созерцал и слушал музыку мироздания, затем зажигал керосиновую лампу и несколько часов проводил в обществе Авраама, Моисея, Давида, Соломона, в обстановке довольно кошмарной, потому что даже в наше послевоенное время подобным людям пришлось бы несколько подтянуться и придать своим деяниям хотя бы внешне благопристойный вид.

Так, например, кротчайший царь и псалмопевец Давид перерезал и передушил на своем веку столько людей, что на долю его сына, Соломона, осталось пристукивать сравнительно немного. Сначала Соломон додушил, по отцову завещанию, Иоава, сына Саруи, и Семеня, сына Геры, относительно которых Давид убедительно просил его — низвести их седины во крови в преисподнюю. Затем, уже по собственному почину и соображению, Соломон прирезал родного брата Адонию, женился на фараоновой дочери и еще на семистах женах, добавив к ним триста наложниц и наконец занялся мирным строительством.

«Нужно все-таки сказать,— подумал Егор Егорович, впервые так внимательно читавший Библию,— что все это — достаточное безобразие! Хотя, конечно,— время было такое...»

Отправил царь Соломон царьку тирскому говорящую дощечку: «Пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпуровой, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и придумывать все, что будет ему поручено вместе с художниками. И пришли мне дерев кедровых, кипарисовых и сандаловых с Ливана, потому что дом, который я строю, великий и чудесный».

И послал тирский царек Соломону человека, именем Хирама, сына вдовы из колена Неффалимова.

Крыша домика Егора Егоровича крыта обыкновенными красными черепицами, которые накладываются одна на край другой и по которым отменно сбегает дождевая вода: остроумнейшее изобретение, автор неизвестен.

Между крышей и звездным небом — воздушная прослойка.

Кто не верит, что в мире все чудесно, пусть тот жует учеными губами прозаический вздор о составе и температуре воздуха и причинах столь разного блеска звезд. Егор Егорович лежит в такой жестковатой постеле и думает о великом строителе Хираме.

Это был, очевидно, молодой человек заграничного образования, художник, поэт и величайший фантазер своего времени. Проживая в Египте, он принял посвящение в тайное общество и, после ряда страшных и тяжелых испытаний, достиг степени мастера. Но его не удовлетворяли пути самоуглубления и созерцания; ему хотелось скорее найти достойное применение своим дарованиям, его манило широкое строительство, он любил жизнь, мечтал о претворении в действительность тех чудес, которые открыла ему тайна посвящения.

Он был белокур, голубоглаз, строен, высок, силен, здоров, красив, честен, приветлив и одарен всеми талантами. Он родился среди кедров, кипарисов, высоких трав и светлых речных струй. Его единственной наставницей была Природа, — и лучшей наставницы не могло быть у смертного.

На утренней заре Хирам смотрел, как просыпается живущее днем и засыпает жившее ночью. Как выправляются напряженные соками листья, как раскрывают глаза цветы, вздрагивая желтыми ресницами, как за любовью манящей и уклончивой гонится любовь настойчивая и настигающая. Тонким музыкальным ухом Хирам слушал гудение натянутой на колышки двух земных полюсов струны, которая пела-пела-пела, когда ее задевали крылья птиц и насекомых. Когда солнце восходило к зениту, — все живущее склонялось долу и тяжело дышало, не зная, что земному светилу будет угодно испепелить и что помиловать. Когда же само солнце увядало и на землю стекала прохлада, — по всем злакам, кустам и деревьям пробегала игривым змеенышем улыбка радости и уверенности в завтрашнем дне. С вечерней зарей просыпались цветы ночные, особенно ароматные; вылетали мотыльки, особо лакомые до редких медов и драгоценнейшей душистой пыли. Тогда же выныривали из логовищ звери с горящими глазами и пружинными мускулами.

Ночью небо зацветало звездами — и Хирам-посвященный читал по ходу светил и планет судьбу больших

людей и маленьких царств. Он бродил среди звезд, как по млечной аллее знакомого сада среди двенадцати цветочных зарослей. То, что сверху, как то, что внизу, единообразно создано по мысли Единого, придуманного человеком ради удобства и упрощения мысли. Создатель преклоняется перед своим созданием, — как поэт слушает звуки лиры, считая их божественными. А так как нет ни начала, ни конца, ни рождения из ничего, ни ухода в ничто, и так как в вечном беге от истины к новой истине нет истины последней, — то мысль человека и чувство человека подобны прорастающему зерну, совершенному растению и новому зерну, падающему в ту же землю, чтобы прорасти вновь и завершить круг вечного постижения.

Вот каков был Хирам дремавшего Егора Егоровича, а в сердечко глухой ставни пламенеющим мечом врывается лунный свет и сияющим пятном пробуравливал стену. Подобного не бывало раньше: жизнь была, конечно, довольно удобной, но не была сказочной. Дела-делишки, годы прибывали, волосы седели, — а зачем все это? И вот вошло в жизнь новое, заманчивое, а кругом, в сущности, не бушующий океан, как стараются описывать нашу жизнь, а, правильнее сказать, томительное топкое болото. Мастер Хирам приходит из иного мира — настоящий учитель мудрости и создатель неизреченной красоты. Откуда берутся в голове мысли, откуда рождаются картины, нигде не описанные? Никак этого не объяснишь.

Хирам-мудрый, Хирам-знающий, Хирам-всегда-творящий вышел с посохом из Тирской земли и пришел в землю довольно-таки противного царька Соломона, в те дни собравшего много кусков золота и меди, согнавшего в одно место стада мирных животных и толпы таких же людей, легко подчинявшихся окрику погонщиков. Никаких тогда городов настоящих еще не было, а пришел Хирам через пустыню, запыхавшись, устал, одежда измятая... Первым делом выпался, а утречком омылся самой холодной водой и надел какой-нибудь там хитон египетского пурпура, — и только тогда к Соломону. Соломон толстый, губа отвислая. Соломон его повел к морю и показал груды дерева, пригнанные с Ливана по волнам, кедры, кипарисы, сандаловые деревья. Какие такие сандаловые деревья? Какие-нибудь особенные. Все это показал

Хираму, потом золото где-нибудь в сокровищницах, может быть, в подземельях. Все это показывает Хираму, и Хирам ему говорит: «Я тебе построю, царь Соломон, такой Храм, равного которому нет и не было на свете. Равного какому нету. Храм хоть не вечный, потому что вечного ничего нет; но такой Храм, что память о нем останется вечно». Вот сейчас, например, все-таки помнят, что такой Храм был, Храм Соломонов, хотя, собственно, строил-то его не Соломон, а этот самый белокурый красавец, Хирам. Он был блондин, пришел из лесов, а все остальные черные. «Я тебе построю Храм» — и веками и в веках... но сам-то не вечный. И действительно, все время разрушается! Пожалуй, уж часов одиннадцать, а в семь часов непременно образом встать и поливать грядки, грядку за грядкой, все грядки в порядке... До чего же в деревне хорошо, чего там в городе построишь, Соломоново вечно не вечно, но время бесконечно... Бесконечность — пойми, а понять все хочется, хочется — не можется, — и мирно и сладко засыпает Егор Егорович, плывя в уютном суденышке по озеру улыбок, наподобие какому бы то ни было на свете кораб-ли-ку, н-да-а, это удивительно...

Утро прекрасное, утро солнечное, утро счастливого человека, утро познающего Природу! В крайне легкомысленном для служащего крупной французской фирмы костюме Егор Егорович стоял на крылечке собственного дома и улыбался миру собственных ощущений. Весенние цветы протирали глаза, роняя пыльцу желтых ресниц. Любовь настойчивая упорно преследовала любовь робкую. Гудела струна, натянутая между границами мира. Солнце уверенно подымалось к зениту, гоня утреннюю прохладу. Природа заманчиво перелистывала страницы ей одной ведомой книги, ждала учеников, нуждающихся в лучшей наставнице мудрости, чтобы открыть им все, доступное степени их посвящения.

При дневном свете мастер Хирам счел неудобным библейский наряд и принял вид подрядчика, бродящего со складным метром по соседнему участку, где недавно был заложен дом. «Bonjour, monsieur! Quel

beau temps!» — «Magnifique!» * Подрядчик похвалил сад Егора Егоровича. Егор Егорович высказал удивление, как быстро итальянцы-рабочие строят дом под руководством мастера Хирама. «К июню закончим, будут у вас соседи». — «Ну что же, это приятно!» Последнее Егор Егорович сказал не совсем искренне, больше из вежливости.

Водрузив на примус кофейник, Егор Егорович обошел свой сад, пожурил крота за извержение вулканов, растер пальцами листок черной смородины, понюхал, умилился, порадовался на землянику и замер в восторге перед тюльпаном, багряный венчик которого был оторочен белой каемкой. С круглой клумбы уткнулась в Егора Егоровича тупая мордочка анютки, цветка демократического, но раскормленного и потому называющегося у французов «мыслью». Егор Егорович протянул было руку к сорной травке, выросшей тут незаконно, но увидел, что и она цветет белой звездочкой необычайной нежности. Он присел на корточки и принялся внимательно разглядывать клочок земли, доступный немного близоруким глазам, — в квадратный метр. Клочок жил, дышал и суетился: травинки, букашки, червячки, движение обсохших на солнце песчинок, прилет крылатых посетителей, их не коробящие взора браки, невидимые струйки весеннего аромата, — и среди них одна резкая струя житейского, городского, которому тут места как будто не должно быть. Егор Егорович потянул ноздрями и проверил впечатление: несомненно, пригорелый кофей. Тогда он догадался, заспешил домой и все-таки опоздал: на примусе дымился и потрескивал кофейник, в котором не осталось благодатной жидкости, хотя кругом примуса было разлито ее немало.

Потушив примус и тряпочкой устранив неопрятность, Егор Егорович опять вышел на крыльцо, чтобы подумать, как быть дальше. И вдруг увидел, как из самодельного скворечника, который он в прошлом году привязал проволокой к стволу липы, вылетела красногрудка. «Ах, так! — сказал Егор Егорович. — Квартира понравилась! — и подетски обрадовался. — Пожалуй, даже раненько обзаводиться детьми в начале мая; но хозяйственная

* «Добрый день, месье! Какая хорошая погода!» — «Великолепная!» (фр.).

предусмотрительность похвальна». Вот и новая жизнь зародится: из сиреневых яичек вылупятся голые несмышлениши и в короткое время вырастут, оперятся, охвостятся и станут самостоятельными гражданами сада. Все это очень приятно. Все это утверждает жизнь. И тут к сердцу Егора Егоровича, маленького человека, но вольного каменщика, подкатила волна настоящей весенней радости, от которой хочется петь и смеяться. Петь он, однако, не умел, а засмеялся тихо, про себя, главным образом в сердце, под рубашкой с расстегнутым воротом, а на лице появилась хитренькая морщина, и прищурились от света глаза. И тут же проснулось в нем непреодолимое желание выпить чашку горячего кофею, но немедленно, не ожидая, пока будет вычищен кофейник и возжено новое пламя примуса.

Хирам сложил метр и выразил полное согласие сопутствовать мосье в недалёкий кабачок. Он, правда, ужепил кафе-крем, но — ввиду солнечного утра — не откажется от аперитива.

Если бы не скудость слов и не холодок белой бумаги; если бы не застенчивость автора, уставшего улыбаться читателям всеми родами крашенных масок; если бы не вечная проклятая боязнь остаться не до конца понятым и вызвать скуку, — мы бы резко изменили весь тон нашей повести для тех глав, где мы видим Егора Егоровича Тетёхина примкнувшим ненасытными устами ко груди матери-природы.

И действительно, мы выставляли его смешным и наивным добряком, просили любить его почти в шутовском наряде. Мы и в дальнейшем не беремся быть к нему справедливее и великодушнее. Но сейчас, на огороженном дешевым заборчиком участке земли, заросшем корявыми липами, березами и каштанами, плохородящей французской земли, истощенной поколениями врагов флоры и фауны, под солнцем и небом, — олава Природе! — еще не принадлежащим никакому государству, мы рядком с нашим героем простираемся ниц перед величием этой Природы, которая и в измятых и лохматых одеждах остается для нас единой царицей и повелительницей. Ни перед кем рабы — только перед Нею! И только Ей молитва — страстным шепотом немеющих губ! Побездать Ее —

никогда! Изумленно смотреть, учиться и вечно сливаться с Нею!

Впервые за много лет Егор Егорович испытывал прелесть одиночества вдали от городской жизни. Солнце без охоты склонялось к закату, тени удлинялись и убегали на соседние участки. В будний день малочисленные домики были на запоре: по календарю их хозяйевам еще полагалось быть в городе. О том, что где-то все же проживают чудачки, свидетельствовало только пенье петухов.

Подостлав коврик, чтобы не нажить ишиаса, Егор Егорович прилип к ступеням своего крылечка. Было радостно и прекрасно смотреть никуда и слушать ничто. В этом никуда мелькали красноватые блики низкого солнца на зелени и дорожках, мудрствовали деревья, травы, цветы. В этом ничто на все тона и полутоны звенели и жужжали мухи, жуки, комарики, предзакатно чивикали и посвистывали невидимые пичуги. С неба плыл холодок, от земли — тепло.

И тогда Она простерла над ним лилейные руки и благословила его на счастье творческого познания. Она не посчиталась ни с его житейской малостью, ни с сумбуром догадок и знаний, нахлестанных из популярных книжечек и отсталых учебников. Она рассекла ему грудь мечом, и сердце трепетное вынула, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинула. И тогда Егор Егорович услышал и понял то, чего не может услышать и понять непосвященный.

Запел петух — начально, хрипло и коряво; откликнулся другой — уверенно. Пропев, оба петуха замерли в ожидании, насторожив уши и втянув в себя когтистую ногу. И тогда издали-издали донеслись отклики, расписки в получении пропевшим, повестки с извещением дальнейшим. Второй призыв — и новые отклики, а первый призыв уже убежал дальше, углубился, расширился, от дома к дому, от села к селу, катышком и бисером по поверхности земли, перейдя границы людских делений, округов, стран, замкнув кольцом города, как мертвые площади, лишенные ритуальной благодати. Покатилось к экватору и полюсам священное петушиное слово, давно вышедшее из обиходного языка, как бы утратившее живой смысл, тех времен отзвук, когда и курица была птицей, и она носилась над лугами и лесом, перелетала реки и моря. Что оно

значит, это слово? Может быть, это одно из тех понятий, которые нельзя, непристойно, не принято в обществе называть своим именем: «любовь», «дружба», «счастье», что-нибудь непременно солнечное и слишком колючее для глаз, привыкших к темноте, и для ушей, воспитанных в привычной лжи.

Опоясало землю великое петушиное «кукуреку», лозунг братства и нерушимой связи, — что бы ни было, в каком бы курятнике ни загасли отдельные жизни, сколько бы пера и пуха ни облилось кровью под хозяйским ножом. И уж тут не было отличий и чванств в окраске перьев, в роскоши хвоста, наливке гребня, благородстве породы: все равно выкругляли грудь, хлопали крыльями, орали каждый свое — все одно и то же, ждали ответных кликов и, получив их, успокоенно опускали ногу и заносили ее для шага, клевали зерно, выхватывали, захлебываясь, из норки длинного червяка — и созывали на пир любимых жен, лишенных благодати посвящения.

«Так вот оно что!» — думал Егор Егорович.

Мимо калитки его сада пробежала собака, нескладно плебейская, ничем не приметная. Пробежала озабоченно, непрестанно нюхая дорожку. Задержалась у лежавшего камушка — расчетливо прыснула пометку, побежала дальше, завернула в отворенную калитку пустынного участка, что-то отметила там, заспешила дальше. Видел Егор Егорович со своего крылечка, как та же собака деловито завертывала на минутку в участки жилые, где были конуры ее ближних, истинно — почтальон, разносящий письма, газеты и срочные извещения.

Прошло столько-то собачьих минут — и тем же путем пробежал несуразный косматый песик, останавливаясь на тех же местах, заворачивая в те же закоулки, оставляя ответ на прочитанные записки. А когда, после них, неосмысленная женщина провела в обратном направлении фокса на короткой привязи, — фокс рвался, тянул ремень и старался коснуться того же камушка, поднять ногу у того же столбика, как и раньше пробежавшие его собачьи сородичи. И было ясно, что на этом столбике, на камушке, в колючих травах пустыря, за калиткой жилого участка — повсюду были условные приметы, пахучие иероглифы, пароли и отзывы тайного союза всех собак, независимо от их породы и их общественного положения, знаки великих

усилий грубо разбитого людьми собачьего братства — хранить общение и передавать из рода в род веками сохраненную тайну.

«Так вот оно что!» — подумал Егор Егорович.

И вдруг он увидел, что в боковой аллейке, в последнем луче солнца, раздвинувшем листву, танцуют ровным столбиком и фигурно суетятся не то комарики, не то мошки. Иная ненадолго отлетит в сторону, сделает петлю — и опять ринется в толпу. Танцуют они долго и прилежно, друг друга не задевая, рисуя в воздухе неведомый чертеж, замысловатую сетку, и это зачем-то нужно, есть какой-то тайный смысл в непрерывном ритуальном танце. Если пройти по дорожке и размахать по сторонам мушиное собрание, — оно сейчас же соберется опять в той же точке и с той же правильностью пляшущего строя. Забава? Митинг? Вечеринка? Потребность? Имей тонкое ухо — услышишь музыку соборного полета, но тайный смысл его сокрыт от непосвященных.

А куда улетают одиночки? Не послами ли от одного пляшущего столбика к другому, не вестниками ли грядущего объединения всех мошек и комариков всего мира? Но дрожит в сердце человека созвучная струна: братья мои петух и песик, сестры мои мошки, мать моя земля, — а перед тобой, великая Природа, книга непрочитанная, тайна нераскрытая, — перед тобой не равны ли я, человек, и малая, будто бы неразумная, разумом моим недогаданная мошка?

И Егор Егорович подумал: «Так вот оно что!»

Что знаешь ты, человек? Ты просыпаешься бодрым огурчиком, настешь распахиваешь солнцу дверь своего жилища и говоришь: «Благословен сей день, сулящий нам радость!»

Ты не видишь, что чашечка чудного цветка лишь полураскрыта, не слышишь тишины, сменившей обычное немолчное чирикание птиц. Солнце слепит твои глаза; скрывает от тебя дальнее облачко, которое скоро вырастет в тучу с градом и холодом.

И в ту самую минуту, когда ты, повязав фартук доброго садовника, с полной корзиной резаной соломой идешь уготовать ложе для будущего урожая четырехсезонной земляники, — тебя окликает у калитки знакомый голос:

— Егор Егорович, Гриша, в каком ты невозможном виде! А мы целой компанией!

И правда — у калитки Анна Пахомовна, Жорж и милый гость — Анри Ришар. Недаром сегодня воскресенье.

Анна Пахомовна оживлена и нарядна, если не как ранняя весна, то как позднее лето, славное нескромной яркостью красок. Жорж желт от усиленных занятий и неуклюж в обстановке сада. Анри Ришар везде у места, ловок и любезен. За пять минут он успевает в лучших и уместнейших словах выразить все, что можно, не покривив душой, сказать о здоровом загаре шефа бюро, о его живописном наряде, о миловидности домика, об упоительности сада и вообще о прелестях сельской жизни, которую мы, горожане, мы, парижане, так мало умеем ценить. При этом Ришар, пятясь, чтобы уступить мадам дорогу к цветнику, давит прекрасно начищенным башмаком семью анютиных глазок, которыми так гордился Егор Егорович и которые так холил. Анна Пахомовна прямо проходит к клумбе с тюльпанами, срывает самый яркий цветок — багряный, отороченный белой каемкой — и прикалывает его к сорокалетней груди.

Жорж легкой тросточкой сшибает головки маргариток. Затем Анна Пахомовна берет под руку Анри и ведет его показать комнаты в домике. До порога она щебечет по-французски, стараясь выхаркивать букву «эр» громче, чем требуется, как бы любуясь свободой и звучностью прекрасного языка; но, переступив порог, она восклицает по-русски:

— Фу, какая гадость! Ты с ума сошел, Гриша!

И обиженно и негодуяще уводит Анри обратно в сад.

Егор Егорович искренне смущен и спешит прибрать случайно разбросанные в первой комнате части не вполне свежего белья. Он забыл о воскресном дне и не ждал гостей. Его защищает друг Ришар, резонно доказывая, что в деревне не должно быть стеснений и что вообще мы, горожане, мы, парижане, слишком обставляем свою жизнь условностями, а между тем природа так прекрасна, и так чудесно вдыхать воздух, не насыщенный бензином.

— Bravo, mon chef*, — говорит он, ободряюще по-

* — Bravo, шеф (фр.).

хлопывая Егора Егоровича по плечу. — Bravo, mon cher frère*, — прибавляет он ласковым шепотком.

В голосе Анри нежность и покровительство к старому и, в сущности, безвредному чудаку.

Затем Анна Пахомовна из гостей превращается в хозяйку. По ее указанию Жорж и Анри выносят небольшой круглый стол и ставят его на лужайке молоденькой, только что выращенной травы, собственноручно Егором Егоровичем посеянной (английский газон для затененных мест). Сюда же четыре стула. Холодные закуски привезены с собой, сладкий торт также. Прелестный пикник! Гости оживлены, Егор Егорович тоже старается быть любезным и приветливым, хотя его сердце страдает за примятую траву и поломанные цветы. Любопытный Жорж швыряет камушками в птичий домик на дереве, и оттуда в ужас вылетает красногрудка.

Посаженный на стул, ножка которого проваливается в рыхлую землю, Егор Егорович без особого аппетита жует ветчину, потом пирожное, потом опять ветчину, потом пьет черный кофе, отлично приготовленный Анной Пахомовной, потом боится, что ему предпишут чистенько одеться и сопровождать гостей в их прогулке по окрестностям, хотя никаких окрестностей, в сущности, нет, а есть резанная на квадратики земля, и каждый квадратик огорожен забором, а за каждым забором собачья будка, капустаная грядка, розовый куст и вывешенные, как в салоне независимых, кислое одеяло и простыня. К большому удовольствию Егора Егоровича, его на прогулку не берут, а просто Анна Пахомовна заявляет: «Ну, мы пойдем гулять, а ты пока тут приберешь, Егор Егорович». — «Чудесно, чудесно, я и воду вскипячу к вашему возвращению, чайку выпьем». — «Да нет, уже не успеем, мы уедем с первым поездом». — «Так скоро? Какая жалость!»

Вольный каменщик немного кривит душой. Но это — чтобы не обидеть, чтобы сказать приятное милым гостям. Посетили-таки его в его уединении.

По уходе гостей он уносит стол и стулья, с грустью убеждается, что молодой газон, только раз подстриженный, совершенно затоптан, собирает разбросанные по траве кулечки и бумажки; идет взглянуть на пострадавшую грядку анютиных глазок, долго ждет, не

* — Bravo, мой дорогой брат (фр.).

вернется ли в гнездо испуганная птичка, — и тяжело вздыхает. На лоне природы как-то отвыкаешь от людей... Немножко обидно, что сломали отличный побег георгина, только что пробуравивший землю крепким и жирным ростком. Тюльпаны Анна Пахомовна срежет на букет. Ну что ж, если ей цветы нравятся...

Егор Егорович мужественно берет садовые ножницы и настригает веток цветущего жасмина, спиреи, всякой декоративной травки, крупных садовых васильков. Обидно, что розы еще в бутонах. То есть, собственно, одна роза расцвела, именно сегодня, и, пожалуй, самая красивая, «мисс Эллен Вильмо», но как срежешь единственный цветок! Егор Егорович любуется, отходит, приближается, потом, зажмурившись, с быстротой и решительностью отхватывает ножницами полураспустившуюся красавицу вместе с ненужнодлинным побегом. «Эллен Вильмо» в отчаянной самозащите колет шипами палец Егора Егоровича. Эх, зря загубил еще два бутона! Ну, а уж остальным займется сама Анна Пахомовна, большая искусница по части букетов. Жаль, что цветов пока мало.

Неужели красногрудка так и не вернется? Какой неразумный юноша Жорж! Это все оттого, что не учат их относиться с уважением к жизни маленьких существ. В школе не учат, а родителям некогда.

Гости возвращаются через час. Анна Пахомовна в прежнем весеннем оживлении, но с поникшим тюльпаном на груди; мужчины — несколько усталыми. По мнению Анри Ришара, местечко прелестно и имеет будущее; Жорж приятно удивлен, что недалеко устроена теннисная площадка, которой раньше не было. Анна Пахомовна выбрасывает половину настриженных мужем веточек и создает поистине замечательный букет, в котором «мисс Эллен Вильмо» едва заметна.

Прощанье ласковое и почти трогательное; в особенности мил Анри Ришар, который долго трясет руку Егора Егоровича:

— Au revoir, mon noble Cincinnatus! Nous vous laissons à votre charrue! *

Егор Егорович долго стоит у калитки, чтобы, если гости оглянутся, помахать им рукой. Когда они наконец скрываются из виду, он, накинув крючок, тихонь-

* — До свидания, мой благородный Цинциннатус! Мы оставляем вас с вашей тачкой! (фр.)

ко-тихонько приближается к дереву с потревоженным скворечником — и расплывается в улыбку: красногрудка сидит на ветке близ гнезда.

— Ну-ну, все в порядке,— говорит Егор Егорович.— Жорж — мальчик легкомысленный, но незлой. Будем заниматься своими делами.

Приступая к вечерней поливке, он меняет парусиновые туфли на сабо.

ЮБЕЛАС, ЮБЕЛОС, ЮБЕЛЮМ

С холма Хирам смотрел на людской муравейник: у каменных глыб и древесных стволов суетились кучки черных людей, хватая, толкая, подводя рычаги и машины, им, Хирамом, придуманные для поднятия тяжестей. Движения каждого муравья были случайны, движение всех их вместе предугадано и направлено волей мастера Хирама. Белым жаром сверкали свежетесанные камни, желтым румянцем ликовали доски, золотым солнцем слепил глаз металл.

Зажиревшие, вислогубые, отупевшие от ленивой жизни подданные царя Соломона с удивлением и недоверием смотрели на работу Хирамовых учеников. Иной подходил и спрашивал:

— Как и чем обтесываете вы камни нужной величины и столь изумительной гладкости?

И хитрые рабочие, сделав из ладони створку раковины, шептали на ухо толстым дурням:

— То не мы, а чудесный червь шамир слизывает со строевых глыб всякую неровность.

— А где тот червь и велик ли он?

— Тот червь с ячменное зерно, и лежит он в свинцовом сосуде, наполненном ячменными отрубями и прикрытом шерстяным покровом. Видеть его нельзя. Он принесен царю Соломону орлом из рая, где хранился с вечера шестого дня творения. Только смотри — никому не рассказывай!

С радостью наблюдал Хирам, как кипит работа днем и как замирает к вечеру,— только не затухает никогда огонь плавильных печей, и дым стелется над песками.

Тысячи строителей Храма выполняли единый план, никому из них целиком не известный. Ученики тесали

камень, остроговали дерево и выливали в форму расплавленный металл. Обученные всем ремеслам подмастерья клали фундамент, подгоняя камень к камню, и возводили стены по чертежам мастеров, с которыми каждый день совещался сам великий мастер Хирам. Всякий рабочий делал свое — все вместе делали единое общее дело, радуясь нежданному доселе чуду строительства.

Когда царь Соломон, покинув палату суда и расправы и расставшись с женами и наложницами, выходил из покоев взглянуть на строившийся Храм Господен,— Хирам показывал ему обкладку стен и ступени, и колонны с капителями, и золотых херувимов, и тысячи золотых огурцов и гранатовых яблок, и море литое,— и царь подолгу стоял, разинув похотливый рот и развесив живот над волосатыми ногами, уверенный, что все это рождается его волей, чтобы веселить его и служить его богу. Он не знал, что Хирам разбросал повсюду блестящие игрушки, чтобы усыпить вниманье царя и его слуг, и что подлинный Храм он строил не из дерева, камня и золота, а из человеческих душ, постепенно освобождавшихся от духовного рабства и возносившихся на высоты посвященного познания.

Многого не знал царь прославленной мудрости. Так, он не знал, что по единому слову Хирама, по его единому жесту, по единой букве, которую он начертит указательным пальцем в воздухе,— все работники простым и привычным движением молотов, рычагов, отвесов, уровней, наугольников и циркулей могут опрокинуть его царство и повергнуть во прах тупых скотовладельцев, льстивых придворных, грубых солдат и их ничтожного царька, кичливого профанской мудростью и мнящего себя царем царей. Царь Соломон не знал этого, потому что его уши были забиты серой лести, а глаза ослеплены блеском пышных украшений. Под богатой обкладкой и игрой золота царь Соломон не угадывал грозной строгости каменных кубов. Он не угадывал тайнописи видимых символов и связующей их великой идеи освобождения человечества от царей, жрецов, кощунственных молитв и кровавых жертв. Любуясь двумя столбами, которыми Хирам украсил вход в святилище, Соломон не знал, что имя левого столба Красота, правого — Сила, и с ними в тройст-

венном слиянии — Мудрость просвещенного строительства, воплощенная в лице великого мастера, сына вдовы из колена Неффалимова.

Белая акация выпускает зеленое резное кружево позже всех деревьев. Листья рождаются между двумя колючками, а вместе с листьями выползает пучок зеленой икры, которая должна превратиться в кисть ароматнейших цветов. На это дерево Егор Егорович смотрит с набожным восхищением, и потому, что оно даже и без цвета прекрасно (ясное и прозрачное среди всех других), и потому, что акация для вольного каменщика — дерево священное.

В середине отпускного месяца Егор Егорович съездил на один день в Париж по делу важнейшему, а оттуда вернулся уже не тем, чем был раньше, и чашу гордости и радости довел, не расплескавши.

Теперь несокрушимые подошвы его сабо шаркали по двум последним четвертям универсального круга герметической квадратуры. Был человек подобен утру и восходящему дневному светилу; следуя движению земли, стал он человеком полудня и зенитного солнца. Был человек как будто мертвым зерном, но пустил росток и расцвел в пышности; он уже готовился к Деланию и был допущен к разысканию истинного философического огня. Был человек весной — стал горячим летом. И в то время, когда путь казался ему свершенным и цель близкой к достижению, — вдруг померк свет пламенеющей звезды, солнце склонилось к закату, лето к осени и зиме, осыпались лепестки цветка, философская ртуть почернела, и в лицо человеку пахнуло тлением.

— Смерть? — воскликнул человек.

— Да, врата мудрости, — ответил ему череп, лязгая челюстями.

Смерть ли, мудрость ли, — но радостно приемлет каменщик высшую степень глубокого посвящения.

Из впечатлений Парижа у человека осталась обычная очередная беседа с братом Жакменом в кабачке. За полтора года знакомства брат Жакмен успел постареть и стать еще строже и суровее.

— Да, брат Тэтэкин, вы правы, вольный каменщик свободен в толковании символов и легенд, как

и вообще свободен исповедовать и проводить в жизнь любые убеждения. Но это не исключает стремления к единому пониманию основных идей Братства, следовательно, и к общности этапов символического познания. Я должен предостеречь вас от обмирщения ваших символических восприятий. Великий мастер менее всего был революционером!

Егор Егорович пытается разъяснить свою мысль:

— Да я и не утверждаю, что он — политический заговорщик. Я сам политикой даже и не интересуюсь, брат Жакмен. Я в России служил по почтовому ведомству, здесь — в торговой фирме по части экспедиции. Но не может душа порядочного человека, а тем более посвященного, мириться с тем, что делается на свете. Уж если строить Храм, так настоящий, стоящий, а не какую-то, — простите меня, брат Жакмен, — казарму начальством утвержденного образца. Все-таки кое-что, а по-моему, и очень многое из нынешнего нужно бы перевернуть вверх ногами, попросту и грубо говоря — послать к черту.

— Возможно, но для меня, брат Тэтэкин, Хирам есть Солнце, Озирис современного посвящения; ложа — его вдова Изиды; вольный каменщик — сын вдовы и света. Революционер не может быть строителем, его задача и его область — разрушение. А строят, мой дорогой брат Тэтэкин, способные, простые, усердные и дисциплинированные работники, по планам таких же мирных идейных руководителей.

В Париже Егор Егорович успел навестить и профессора. Румяный от загара, вольный каменщик вошел в комнату профана, лицо которого было пергаментным. Кожа Лоллия Романовича незаметно переходила в седину бороды; с такой кожей люди живут недолго и неохотно и умирают от рака, если только их бледность не объясняется голодаьем. Впрочем, это не Лоллий Романович изменился — это сказалась привычка Егора Егоровича видеть перед собою яркие весенние цвета.

Идя к ученому другу, он заранее решил предложить ему денег. Неприятно сознавать себя благополучным и почти счастливым, в то время как близкий человек в нужде. Вынимается бумажник, извлекается из него солидная, но не слишком разорительная сумма, после чего на некоторое время не то чтобы создается равновесие, а все-таки несоответствие не так разительно.

Будь Егор Егорович богат, он обеспечил бы полным пансионом Лоллия Романовича и, может быть, еще нескольких таких же замечательных людей, страдающих от нищеты и вынужденного безделья, и предоставил бы им двигать вперед науку, искусство и литературу. Участь богатых людей завидна, и странно, что большинство из них так безвкусно пользуется своим состоянием и так скуп на помощь. Сколько предложить профессору? Впрочем, он все равно возьмет только двадцать франков, и то с неохотой, словно бы лишь для того, чтобы не обидеть Егора Егоровича отказом. А если предложить ему отдых в деревне, хотя бы на остающиеся две недели отпуска?

Вот это, будем откровенны, менее всего устраивало бы Егора Егоровича, дорожившего одиночеством, столь ему любезным и столь необходимым. Нет, это было бы настоящей жертвой, притом какой-то вынужденной, вымученной, даже нехорошо.

Храбро одолев четыре этажа, вольный каменщик приостановился на предпоследней площадке. Хорошо бы, если бы Лоллий Романович согласился взять больше, франков двести — триста. Деньги вообще несколько портят отношения, но между старыми приятелями...

Войдя наконец в комнату ученого друга, Егор Егорович без малейшей подготовки и к большому своему удивлению сказал:

— Вот рад, что вас застал! Наш поезд, Лоллий Романович, отходит завтра ровно в десять с четвертью утра, конечно — с Северного вокзала.

— Вы везете меня в Россию?

— Пока к себе в деревню, этак недели на две. И не пытайтесь отказываться! У вас нет срочной работы?

— Дорогой Тетехин, я перестал клеить коробки, так как, в качестве иностранца, я индезирабелен. Но это, я надеюсь, временно, потому что вряд ли достойный гражданин Франции согласится работать на столь умеренных условиях. Притом мне казалось, что я чрезвычайно талантливо исполнял в последнее время работу. Я могу показать вам оставшийся у меня образчик.

— К черту коробки, по крайней мере, на две недели. Жду вас завтра на вокзале или, лучше всего, зайду за вами не позже половины десятого. Захватите все вам необходимое. Идет?

— Вообще — да, поскольку речь идет не о чре-

звычайно большом багаже. Вы, вероятно, заметили у меня зубную щетку? У вас прекрасный вид, дорогой Тетёхин! Вам бы нужно всегда жить в деревне.

И вот в то время, как Егор Егорович смотрит восхищенно на одевшуюся светлой и ясной зеленью акацию, голос за его спиной говорит:

— Вот уже минут пять я наблюдаю, как вы стоите в неподвижном созерцании. Значит ли это, что вы молитесь?

— И правда — молился, Лоллий Романович! Такое деревцо, что стоит и помолиться на него.

— Во всяком случае, в длинном списке деревьев, которые были предметом культа, акации принадлежит не последнее место.

Да, Егор Егорович об этом кое-что знает. С каким удовольствием он поделился бы своим знанием с ученым другом, который между тем продолжает:

— И однако, было бы патристичнее молиться на березу или на ель, особенно нам, казанцам.

— Уж тогда на пихту.

— Согласен. Прекрасное дерево. Заметьте, что лучший пихтовый экстракт гонят в Царевококшайске.

Земляки смотрят друг на друга и приветливо улыбаются. Егор Егорович чувствует внезапный прилив безграничного дружелюбия к Лоллию Романовичу. Повидимому, тем же чувством заражен и профессор, необыкновенно живописный в спальных туфлях на босу ногу, в несвежей денной рубашке с торчащей праздной запонкой и в широкополой соломенной садовой шляпе Егора Егоровича. Зеленая ложа сада окружена опоясом братских чувств; тень акации прозрачна и пропускает солнечные блики. Егор Егорович прочувственно говорит:

— Я очень счастлив, Лоллий Романович, что вы согласились у меня погостить. Конечно, я плохой для вас товарищ, то есть по моему слабому образованию; но я надеюсь, что вы можете здесь хорошо отдохнуть.

По пергаменту профессорского лица пробегает легкая розоватость:

— Дорогой Тетёхин, я не умею говорить чувствительных речей. Но я бы не уклонился, если бы вы пожелали меня обнять под этим живописным деревом.

К счастью, их никто не видит.

Продолжается история мастера Хирама, совсем не связанная с сельскими наслаждениями и предыдущей чувствительной сценой. Невозможно созидать стройное мирозерцание только на переключке превосходных сердец. В двух смежных комнатах домика горят две лампы, за окнами заливаются соловей, хотя не только не курский, но и не казанский. Профессор лежит в постеле и читает, за неимением лучшего, толстый томик «Спутника садовода», именно главу о размножении растений отводками и черенками. Егор Егорович, сидя у стола, сопоставляет прозу Библии с поэзией театрального действия, участником которого он был на этих днях в Париже.

Строитель Хирам разделил всех рабочих на учеников, подмастерьев и мастеров, по степени их знаний и их посвященности в тайны царственного строительного искусства. Им полагалась различная заработная плата, которая выдавалась по произнесении каждым слова его степени. Ученик не знал слова подмастерья, который не знал слова мастера. Тайна соблюдалась строго — за этим следили сами рабочие и мастер Хирам. Переход из степени в высшую, от работы грубой к работе искусной и от ремесла к творчеству был делом общего сговора и проверки достигнутых успехов.

Всегда ли это соблюдалось строго? Полной в том уверенности у Егора Егоровича нет. Ни одно человеческое учреждение не застраховано от ошибок. Иногда могла проявляться излишняя мягкость, а то, пожалуй, и легкое кумовство: симпатичного парня толкали вперед, а колючего по характеру попридерживали, хотя первый был менее второго достоин. С другой стороны, слишком засидевшемуся в низкой степени наверняка иногда давали снисхождение, как бы за выслугу лет, хотя его таланты и его усердие были сомнительны. По крайней мере, в наше время подобное часто случается. Нет особых оснований предполагать, что нынешний человек стал очень уж небрежнее своих предков. И вот на этой почве рождается недоразумение, разные обиды. Однако, по-видимому, в Хирамовой истории дело осложнилось скверным подвохом со стороны хитрого царя Соломона.

Всякий раз, как царь Соломон растерзывал очередную девушку из тысячи заготовленных для его

наслаждений, он чувствовал временное пресыщение и искал дневного занятия, соответственного его званию.

Нос царя был мясист, кадык отвисл и лоб низок. Но в царя оказалось достаточно догадливости, чтобы понемногу сообразить, что мастер Хирам, строитель его Храма,— человек, опасный своим влиянием среди многих тысяч рабочих, занятых строительством под его руководством. Не только сметлив, но и мудр был царь Соломон, особой ядовитой мудростью правителей, которую он передал и всем дальнейшим правительствам всех эпох и племен. Ведь народ, оставшийся от Хеттеев, и Амореев, и Ферезеев, и Евсеев, которые не были из сынов израилевых и не были дорезаны сынами израилевыми, Соломон сделал оброчным и допускал к работам; сынов же израилевых не поставил Соломон работниками к делам своим, но они были воинами, и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его.

И это были главные приставленники у царя Соломона (двести пятьдесят их), управлявшие народом. А к ним были священники, и левиты, и придверники, готовые служить царю и указанному им богу за установленную мзду.

Параллели с настоящим временем всегда вызывают улыбку на лице Егора Егоровича, с трудом переносящегося в столь давние времена. Это немного мешает ему воспринимать правильно и тексты библейские, и легенду о Хираме.

Желая знать всегда и все о действиях и намерениях этого человека, царь избрал из среды верных троих вернейших, готовых пить кровь братьев своих и мясо их жевать, попросту говоря — шпионов, и научил их, как проникнуть в ряды близких Хирама под видом работников. И они стали каменщиками-учениками, а за усердие в работе были сделаны подмастерьями и узнали проходное слово подмастерьев, получавших плату у правой колонны Храма. Но мастерами они не стали, потому что не было в их помыслах чистоты, в разуме их света и в сердцах их творческой посвященности. И не была свойственна им готовность к жертвенной смерти.

Имена их были — Юбелас, Юбелос, Юбелюм.

В соседней комнате гаснет свет; профессор задул лампу, убедившись, что размножать растения отводками проще, чем черенками, но получать черенки легче, чем добывать отводки. Соловей продолжает петь, серая невзрачная птичка, пожалуй, даже невзрачнее воробья. В Казани воробьи каждое утро прилетали к окну профессора и забавно растаскивали крошки хлеба. Потом пришли чехословаки, ушли чехословаки, и за чехословаками Казань ушла за границу. И Казань, и наука. В настоящее время жизнь сводится к тому, чтобы из нарезанного машиной картона склеивать коробочки для аптекарских товаров и иногда занимать двадцать франков у дорогого Тетёхина, человека поистине превосходного.

Получасом позже гаснет свет и в комнате, где спит Егор Егорович. Гаснет свет керосиновой лампы, но не свет познания. В темноте, локтем на подушке, Егор Егорович думает о том, что все три имени, Юбелас, Юбелос и Юбелюм, суть не что иное, как псевдонимы заведующего экспедиционным бюро Тетёхина, который, никем, конечно, не подкуплен, но обладает всеми недостатками и пороками дурных подмастерьев: недостаточной пламенностью, неспособностью отрешиться от мирского, непросвещенностью и, кажется, даже гордыней.

Три гнусных заговорщика прислонились за колоннами, чтобы подслушать слово. Жадным, завистливым глазом они подсмотрели семь совершенных точек касания, — но священное слово великий мастер говорил и спрашивал на ухо. Получив свою плату, мастера разошлись из Храма, оставив учителя в одиночестве.

Хирам встал, выпрямился и взглянул на небо. Храм не был завершен крышей, светила ночи свободно и любовно озаряли работу вольных каменщиков. Хирам не знал усталости, — он был готов пройти отсюда в плавильню, провести ночь за чертежной доской или посвятить ее размышлениям. Сняв свой рабочий кожаный передник, он направился к южному выходу.

И тогда из тьмы трусливой и гадкой походкой вышел ему навстречу подмастерье-заговорщик, прихвостень и слуга коварного Соломона, скрывая под передником тяжелую двадцатичетырехдюймовую линейку:

— Стой, Хирам!

— Кто ты?

— Я — Юбелас, подмастерье. Я устал ждать твоей милости. Я разуверился в путях познания, тобою указанных. Открой мне тайну, скажи мне мастерское слово!

Посвистывание носом в соседней комнате прекратилось, и сонный, но совершенно отчетливый голос произнес:

— Видите ли, дорогой Тетехин, я, кажется, начинаю вас понимать. Мне очень нравится ваше увлечение садоводством, как нравится и ваша скоропостижная страсть к науке. Как в Париже, так и здесь я смотрю на вас с некоторым изумлением, с большой любовью и, пожалуй, с завистью. Но я очень опасаясь, что вас и в этих огородных работах постигнет то же разочарование. Вы в свои пятьдесят лет мечетесь от интереса к интересу и требуете на все немедленного ответа. Но известно ли вам, дорогой Тетехин, что иные ученые всю свою жизнь бьются над доказательством положения, которое ничем решительно не обогатит ни их, ни человечество, — и бьются только потому, что без найденной, проверенной и доказанной формулы невозможна дальнейшая их работа, что за ее отсутствие они постоянно запинаятся. Вы же, дорогой Тетехин, хотите брать на ходу препятствия, свойства которых вам совершенно неизвестны. Кто вам сказал, что истину можно ловить за хвост?

Размахнувшись, Юбелас нанес Хираму сокрушающий удар линейкой. Он метил в голову, но Хирам отклонился, и удар пришелся ему по ключице у самого горла.

Хирам мог бы защищаться, — но он не мог преодолеть отвращения. Сдержав вопль боли, он бросился к западной двери Храма, служившей общим выходом для всех рабочих. У самой двери перед лицом его блеснул медный наугольник, и дрожащий голос другого заговорщика дерзко оскорбил ухо великого мастера:

— Я Юбелос, подмастерье. Я слишком долго ждал и требую, чтобы ты открыл мне мастерское слово!

Хирам ответил твердо второму убийце:

— У тебя много имен, о раб и шпион Соломона. Ты — Юбелос, Гиблас, Штерке, Ромвель. Ты — ничтожество, мельчайший служака транспортной конторы

Кашет. Я узнаю тебя, хитрый притворщик с личиной добряка и друга. Но мастером ты будешь не раньше, чем когда предательство и братоубийство будут признаны и объявлены верхом добродетели.

Страшный удар наугольника поразил Хирама в область сердца.

Хирам шатается. Хирам готов упасть. На высоком челе мастера капли холодного пота — сердце сейчас остановится. Почти без сознания он делает еще несколько шагов к восточной двери. Молодой и сильный, он мог бы спасти жизнь, выдав этим разбойникам мастерское слово, которое он может завтра же заменить другим. Немножко слабости, Хирам, — и жизнь спасена!

У восточной двери перед ним вырастает фигура мрачного предателя Юбелюма, в потертых серых штанах от старенького и дешевого парижского костюма, в широкополой шляпе, в неуклюжих сабо и зеленом переднике, выпачканном землей. Хирам угадывает требование третьего предателя. Слабеющим голосом он кричит:

— Никогда! Смерть лучше позора! Но ты ошибаешься, несчастный невежда: смерти нет, есть вечное возрождение. В круге вечности ты никогда не будешь мастером!

Он падает, пораженный насмерть в лоб тяжелым молотком.

Последний убийца, подмастерье Юбелюм, не слышит окрика своих товарищей по злодеянию, спешащих скрыть труп убитого учителя. Он бежит, сжав виски руками, запинаясь за груды строительного мусора. Он потерял сабо, и осколки камней режут ему ноги. Он ищет, где укрыться от гнева верных братьев Хирама и от укоров совести. Он видит пещеру вблизи источника и бросается в неприветливую темноту. Пещера мала, и он прижимается к колючей и влажной каменной стене. С ужасом он видит горящие в ночи глаза собаки, подошедшей ко входу пещеры, той самой собаки, которая разносила тайные повестки своего собачьего братства. Это животное выдаст его! И не своим голосом он кричит:

— Я не тот, я не убийца, не раб и шпион царя Соломона. Я — Абибала, мирный труженик, отец семейства, усердный служака очень прочной

французской коммерческой фирмы. И я даже не Абибала, а просто — Егор Егорович Тетехин, муж своей жены, казанский простак, убежавший от революции. Чего вы хотите? Я не мог остаться, я и не герой, и не строитель, я совершенно не подготовлен жизнью ни к мученической кончине на костре, ни к сожиганию на том же костре ближнего. И это не от равнодушия и беспламенности, а только от моей природной малости, в которой я, во всяком случае, не виноват.

Горящие глаза скрываются, и на их месте, в темной пасти, под колючими седыми усами, начинает выскакивать и прятаться золотой зуб.

— По-видимому, очередь моя,— говорит успокоительно брат Жакмен.— Могу вас утешить; вы действительно никого не убивали. И вообще никто не убивал вашего мастера Хирама. Ваш Хирам, как вы его хотите понимать, ушел к Востоку Вечному, потому что он пытался оставить чистые пути мистического созерцания. Он думал, что посвященный и его спутники могут выйти на площадь и завоевать внешний мир. Но он не учел, что в таких мирских делах царь Соломон гораздо его мудрее. Он любил жизнь для жизни, он мечтал о реальном земном рае. Нет, дорогой брат, это невозможно. Мы должны любить жизнь для смерти, ценить свой храм недостроенным, видеть блаженство в небытии и смиренном возрождении — опять в виде зерна, ростка и растения, которое расцветает, чтобы погибнуть. Во всяком случае, брат Тэтэкин, я душевнейше поздравляю вас с новым важным и почетным званием мастера. Я вас люблю и очень ценю нашу сразу установившуюся дружбу.

Как хорошо! Прежде чем полинять и испариться, брат Жакмен простирает руку и показывает Егору Егоровичу на свежий могильный курган, в который воткнута ветка акации. На глазах Егора Егоровича из парных колючек ветки показываются резные зеленые листочки, и уже другой, но тоже отлично знакомый голос произносит:

— *Acacia alba* *, дерево, обладающее колючими иглами и исключительно душистыми цветами. Растет в странах горячего климата. Во Франции произрастает особый сорт акации, так называемый *robinier*, или ложная акация.

* Акация белая (*лат.*).

После сладкого и длинного зевка голос добавляет:
— Размножается семенами, отводками и, как видите, черенками...

ЗАБАВЫ МАРИАННЫ

Мадам Жаннет, приходящая прислуга, работает у Тетёхиных дважды в день по полтора часа: утром — общая уборка, главным образом вывешивание простынь на балкончике; вечером — помощь в обеде и мытье тарелок. Основная специальность мадам Жаннет — ручка входной двери; эту ручку она чистит кислотами и порошками, трет подолгу тряпкой, а после тряпки особой суконкой. Ручка отражала бы солнце, но солнца нет, и она отражает свет лампочки. Ручка приветствует входящих и напоминает им, что здесь живут порядочные и хозяйственные люди. Кроме того, мадам Жаннет наводит лоск на видные места паркета, не посягая на углы комнат, и не позволяет пыли оскорблять каминные обжedarы. На шкапах и под ними покоится пыль, также и за картинами, висящими с противоестественным наклоном.

Раз в неделю, чаще всего в день субботний, Анна Пахомовна сама надевает серый пыльник, повязывает платком индефризабли и проникает пылесосом в места, презираемые мадам Жаннет. Пылесос втягивает в длинную глотку пепел Егора Егоровича, пудру самой Анны Пахомовны и теннисную пыль Жоржа; иногда пылесос проглатывает, не поперхнувшись, запонку или иголку, которые щелкают в трубе.

Ящик стола Егора Егоровича и особое отделение его книжного шкапа вообще неприкосновенны и заперты на ключ, а ключ лежит на столе в японской коробочке, на крышке которой аист смотрит на Фузи-Яму. Святость тайны; конечно, не обязательна для Анны Пахомовны, которая знает, что в шкапу хранятся глупые книги и брошюры, а в ящике стола лежат таинственные документы, маленький замшевый передник с завязками, похожий на детский слюнявчик, и черная маска. Анне Пахомовне приятно, что ее муж занимается таинственными нелепостями; так же было ей приятно обнаружить у Жоржа какое-то грошовой дамское колечко, очень непристойную открытку

и пакетик с гигиеническими предметами, доказывающими, что Жорж уже мужчина, и притом осторожный.

У каждого человека есть свое секретное отделение: есть, конечно, и у Анны Пахомовны. Гул пылесоса не мешает ей загадочно улыбаться. В ее секретном отделении нет никаких особенных предметов, кроме неизбежных у каждой женщины и неинтересных даже для мадам Жаннет. Улыбка Анны Пахомовны относится, таким образом, не к вещам, а к воспоминаниям, но чрезвычайно тайным и весьма греховным.

Анне Пахомовне сорок лет. Если бы какая-нибудь парижская девушка в возрасте Жоржа заглянула в секретное отделение Анны Пахомовны, она сначала удивленно подняла бы выщипанные и вновь наведенные брови, ничего не заметив, а потом захлебнулась хохотом: и это — все? Однако для женщины, только что вступившей на путь греха, достаточно и этих маленьких ожогов. Все воспоминания Анны Пахомовны сводятся к нескольким словам, французский смысл которых в общем смутен, и к двум-трем прикосновениям вполне ясного значения. Анри Ришар дерзок, но и осторожен; очевидно, он ждет, чтобы Анна Пахомовна сама поощрила его на некоторые поступки. Однако в такси он был волеён: она отпугнула его почти девичьей стыдливостью. Если бы он предпослал своим поступкам необходимые слова и объяснения, чтобы это не было грубым, Анна Пахомовна даже не знает, что могло бы случиться, потому что она почти потеряла голову. Она и сейчас водит щеткой пылесоса по совершенно чистому месту и вздрагивает от греховных ощущений. Вероятно, другая на ее месте не стала бы рассуждать. Но пусть он знает, что она не «другая». А затем этот случай дома, когда Жоржа не было... И если бы Жорж не вернулся...

Пылесос, попав в щель в полу или от смущения, гудит неистово, захлебывается, кашляет и чмокает. Не в его силах предостеречь Анну Пахомовну от ужасного падения, но он делает все, что может: он готов высосать из ее головы и унести через трубу в пылевой мешок весь мусор греховных мыслей. Он бегаёт за нею на салазках, ерзает, поворачивается, подскакивает, недовольно замолкает, подчиняясь нажиму пуговки, и снова угрожающе воет. Пылесос — утренняя симфо-

ния Анны Пахомовны, которая любит все механические шумы: пылесос, граммофон, радио, гудение подъемной машины, урчание автомобиля, взрывы мотоциклетки и рокот небесного пакостника — аэроплана. Анна Пахомовна полна неисчерпаемой энергии, но сорокалетний быт заткнул ее глушителем. В Казани, став хозяйкой, она до страсти любила бывать на базаре, где татары хватали за юбку, заманивая в лавчонки и предлагая сафьяновые полусапожки, знаменитое мыло и апельсин-лимоны. По воскресеньям ездили на пароходные пристани к приходу пассажирских — и Волга гудела свистками и капитанской руганью, не превзойденною в других профессиях. Во вкусе Анны Пахомовны был и Париж, особенно улицы их квартала — Commerce, Vaugirard, — с вечной толпой, мясными тушами, полосатыми диванами, криветками, готовым платьем, лотками зелени, шагающими сэндвичами кино и зубных врачей. Кроме того, была еще жизнь Больших бульваров, Монмартра и улицы Пигаль, — но там Анна Пахомовна робела и не знала, хорошо ли сидит на ней пальто и не устарел ли фасон ее шляпки. Свободнее она чувствовала себя на русских эмигрантских балах: на балу инвалидов, где не было инвалидов, на балу писателей, где были и инвалиды и их читатели, было парадно и очень тесно, выступали на эстрадах малолетние балерины и артистки императорских театров скovyрнувшейся империи, а античные женщины презрительно продавали бутерброды. Это был, конечно, большой свет, но в нем Анна Пахомовна не терялась по причине давно свершившегося уравниения.

Умолкнувший на минуту пылесос набрался сил и завел прежнюю волюнку. Нужно совершенно не знать Анны Пахомовны, чтобы думать, что она склонна к грехопадению. Грех чарует ее внимание на экране кинематографа и в книжке романа. Она ощущает его в вольных словах и нескромных взглядах, даже в замысловатых складочках и покрое собственного платья, шитого по весенней моде. Грех манит Анну Пахомовну, портит ее, немножко беспокоит и рисует ей необыкновенно соблазнительные картины. Но эти картины разрешены цензурой мещанского благоразумия. Анри Ришар бросается на колени и страстно восклицает: «Мадам, вы видите, как я страдаю! Скажите только одно слово — и я буду счастлив!» — «Это бесполезно,

Анри, я не могу вам принадлежать». — «Неужели вы хотите моей смерти?» — «Не говорите этого, Анри, вы еще молоды, вы полюбите другую и забудете об этом слишком случайном увлечении. Останемся друзьями, Анри!» Он сжимает руками пылающие виски и глухо стонет: «О, не лишайте меня хотя бы надежды!» — «Мой бедный, бедный друг, — говорит Анна Пахомовна под вой пылесоса, — судьбе было угодно, чтобы мы встретились слишком поздно. Анри, я старше вас, — хотя это говорить ни к чему, а лучше просто: — Анри, зачем скрывать, я также люблю вас, Анри! Но я отдана другому и не могу делать его несчастным». Он подымается и шатаясь идет в переднюю; на пороге он останавливается и бросает последний пламенный взгляд надежды. Минута — и Анна Пахомовна может потерять голову. «Стойте, Анри! Подойдите ко мне!» Он бросается к ней с открытыми объятиями, но она, сделав над собой невероятное усилие, властным жестом останавливает его порыв: «Мой мальчик, вот все, что я могу вам дать! (Mon garçon, voilà tout ce que je peux vous donner, или je puis? Лучше je peux *)». И, нежно взяв обеими руками голову любимого человека, она ласково, чистым материнским поцелуем касается его лба. Клубок слез подкатывается к горлу добродетельной женщины; наклонившись, она нажимает пуговку пылесоса, который немедленно понижает тон и умолкает. Анна Пахомовна берет его за шиворот и втискивает в ящик, бережно уложив на надлежащие места тугую трубу, шнур, металлические части и щетку. Затем, с тою же грустной и всепрощающей улыбкой женщины, сознательно отказавшейся от запретного счастья, Анна Пахомовна мягкой желтой тряпкой вытирает на камине две лысины: Федора Достоевского и Жанны д'Арк.

Пришел Жорж. Сегодня, по случаю субботы, Егор Егорович, отпуск которого кончился, завтракает дома. Нужно накрыть на стол. Жизнь продолжается, и никто никогда не узнает о жертве, которую только что принесла своей семье образцовая русская женщина.

Схема дальнейшего повествования такова. Егор Егорович Тетехин не удовлетворен действительно-

* Мой мальчик, вот все, что я могу вам дать... могу? (*фр.*) — (Разные формы слова «могу».)

стью. Мы должны припомнить, что прежде он принимал жизнь просто и охотно: довольствовался тем, что жил не хуже, а может быть, и лучше других. Конечно, под другим и Егор Егорович разумел не настоящих людей, живущих на собственной территории и избирающих себе более или менее подходящее правительство, а людей русских, то есть бывших людей, ушедших с чехословаками, с Деникиным, с Колчаком, с Юденичем и другими героями и предпринимателями за пределы отечества. Хотя среди этих бывших людей очень многие остались на визитных карточках сенаторами, академиками, генералами, атаманами, присяжными поверенными и министрами губернских и уездных директорий,— но в действительности только по метро ездили в первом классе, а в остальных отношениях жили плохо. Егор Егорович почти с первых дней парижской жизни был устроен, не нуждался и занимал пост ничем не хуже, чем в родной Казани.

Таким образом, неудовлетворенность Егора Егоровича действительностью — по схеме нашей повести — относится не к личному, а к общему, правильное сказать,— к организации на земле человеческого бытия. По части микрокосма — никаких особенных возражений, но с макрокосмом дело обстоит худо.

Неужели вы думаете, что маленький человек об этом не помышляет или не имеет права рассуждать? Мир плавает во зле, как клецка в супе, философы глубокомысленно бездействуют, а маленький человек должен молчать и не рыпаться?

Маленький человек удобно усаживается в кресле и развернутой газетой делит мир на две половины. Его, например, интересует результат заседания особой комиссии Лиги Наций по выработке вопросов пунктов, которые будут предложены сторонам в чрезвычайно спешном деле предупреждения возможного вооруженного столкновения, впрочем, уже происшедшего, между княжеством Монако и Южным Китаем. Работы комиссии, по случаю двух рядовых праздничных дней и летнего отдыха, прерваны были на обсуждении семнадцатого пункта тридцать восьмого раздела второй части третьей редакции. С удовлетворением узнав, что заслушаны и одобрены еще два пункта того же раздела, маленький человек вступает на борт нового огромного атлантического парохода, с пре-

красными ваннами, барами, театром, гольфом, аэродромом, велодромом и ипподромом, — и кресло читающего начинает мерно покачиваться. Но тут появляется чемпион тяжелого веса, и маленькому человеку приходится спасаться от его нокаута на блестяще оборудованном шарике в стратосфере, откуда, в летучей стайке советских парашютисток, Егор Егорович благополучно спускается в Нью-Йорке прямо на голову общественного врага номер первый, сидящего на электрическом кресле. Профессор неслыханного, но существующего американского университета, приняв гостя за негра, прививает ему рак и немедленно излечивает его слабой дозой яда кобры. Едва оправившись от испуга, маленький человек должен спешить обратно в Париж принять портфель министра труда в новом кабинете национального объединения, но, по ошибке, попадает на свадьбу голливудской дивы, только что разведшейся с шестым (по ее счету) мужем. Такой скандал вызывает запрос в английской палате, причем министр ограничивается лаконическим «угу», влекущим за собой комментарии мировой печати и падение суэцких акций и голландского гульдена. Голова маленького человека распухает и едва втискивается в противогазовую маску; но уже поздно, и арийский палач огромным топором оттяпывает голову Егора Егоровича по самые плечи.

— Ты спишь или читаешь? — негодуя спрашивает Анна Пахомовна, принесшая свое счастье в жертву этому человеку. — Я прошу тебя посмотреть номера последнего транша лотереи. Я уверена, что мы опять ничего не выиграли.

Анна Пахомовна угадывает. Егор Егорович удивлен:

— Неужели ты покупаешь эти билеты?

— Я купила две десятых части. Но ведь все же покупают.

Егор Егорович усиленно трет лоб. Как-то не укладывается в его голове каша и путаница событий; то есть она укладывается, но остается кашей. Что такое происходит в мире? Всегда ли было так или делается все хуже? Есть ли это прогресс или полное крушение? Зачем ей седьмой муж? Что он хотел сказать своим «угу»? Что в данном случае означает «национальное объединение»? И как может шведский король в такое

время играть в теннис, который даже Жорж отменил на время экзаменов?

Во всяком случае, мир подлежит пересмотру и переделке. Кто этим займется? Очевидно,— избранные люди, мудрецы, посвященные. Сам Егор Егорович имеет честь принадлежать к их числу, но, конечно, его роль может быть лишь самой ничтожной, подсобной, так как нет у него ни достаточного образования, ни опыта, есть только искреннее желание быть полезным человечеству. Но как? В чем? С чего начать?

Прежде такой вопрос остался бы неразрешенным. Теперь Егор Егорович может колебаться, с чего начать, но с кого начать — сомневаться не приходится: вольный каменщик должен начинать с самого себя. Если бы так поступали все,— земной шар не метался бы в мировых пространствах неуважаемой горошиной.

Семья и служба? Этого мало! Не аскетизм, конечно, но отказ от напрасных прихотей. Тут с некоторым удивлением Егор Егорович убеждается, что никаких особенных прихотей у него нет. Тогда — оказывать помощь ближнему в доступных размерах, но не случайно только, а постоянно и последовательно. Можно, например, взять на себя поддержку какой-нибудь нищенствующей семьи, и личными средствами, и сбором среди друзей. Принять участие в стипендии для студента (Жорж учится, а другому юноше не на что). Оплачивать ночлег безработного и бездомного (хотя очень уж много среди них привычных стрелков!). Все это благотворительные мелочи, но все это очень важно. Можно, например, посылать прочитанные книги русским солдатам иностранного легиона. Почему русским? Именно — всем, чтобы тем подчеркнуть общечеловечность идеи вольного строительства земного счастья!

Егор Егорович обкармливает негритенка манной кашей, примеряет свой пиджак китайскому кули, перевязывает руку прокаженному индусу. Ему хотелось бы выискать несчастного самой небывалой национальности и сунуть ему в руку стофранковую бумажку. Еще лучше — обнаружить настоящего личного врага и благодетельствовать его с ног до головы, и не ради того, чтобы произвести на него впечатление, а потихонечку, чтобы тому и в голову не пришло. Егор Егорович пронизан жаждой добра и жертвенности. В увлечении он раздает все свои деньги и приглашает

бедных французов взять из его квартиры все, что им нравится. Консьержка глубоко возмущена: «Мосье, вы портите людей, лучше дайте им по десять су!» Егор Егорович машет рукой: «Пусть берут всё!» Тогда консьержка, перестав выбивать коврик, легкой стрекозой влетает в квартиру Егора Егоровича и завладевает буфетом. Егор Егорович равнодушно смотрит, как пустеет его квартира и остается только кухонный табурет. Он садится на табурет с небольшим чемоданчиком, в котором сохранил для себя смену белья, масонский запон, ложку для надевания башмаков и несколько книжек. Теперь он может отправиться в путь нищим мудрецом, проповедником любви и духовного братства. Но едва он выходит в переднюю, как его отрезвляет голос Анны Пахомовны:

— Не забудь, что сегодня у нас обедает Ришар, и купи каких-нибудь фруктов.

Действительно, раздав все бедным, Егор Егорович забыл, что остаются Анна Пахомовна, Жорж и еженедельно или дважды в неделю обедающий у них Ришар, который высасывает один бутылку вина и съедает целую вазу винограда. Виноград он ест с кожурой, но косточки выплевывает в тарелку, прикрыв рот рукой. В этом ему подражает и Анна Пахомовна, а Жорж ест виноград и с кожурой и с косточками. Трое, они представляют из себя целый мир, совершенно чуждый Егору Егоровичу, который, однако, обязан присутствовать и также оципывать по ягодке гроздь мускатного винограда, очевидно, привозного, потому что еще не сезон. За обедом говорят о кино и называют имена актеров и актрис, как будто это близкие родственники. Анна Пахомовна обожает какого-то Фербенкса, а про актрису, очень одобряемую Ришаром, говорит, что она нефотоженнична. Черт знает что за слово, но вольный каменщик не должен возмущаться пустяками. Возникает горячий спор специалистов, и Егор Егорович, скатав шарик из хлеба, по ошибке глотает его за виноградину. По счастью, на него в этом доме не обращают особого внимания, и он может думать о своем.

После обеда Анна Пахомовна и Ришар, с Жоржем или без Жоржа, пойдут в кинематограф, а перед Егором Егоровичем выбор: остаться дома и читать или пойти за профессором и провести с ним вечерок в кафе.

И то и другое далеко от подвижничества, но уж так повелось, и он бессилён изменить порядок жизни. Действительность берет верх над мечтами.

14 июля Париж танцует на улицах: все, что осталось существенного от взятия Бастилии и последовавших затем событий. Погода в этот день старается быть любезной. 15 июля Париж уезжает из Парижа, главным образом под Париж, но кто может — на море. Прошлым летом Анна Пахомовна решила, что этим летом поедет в Жуан-ле-Пэн или на океан. Но уже в конце июля она заявила Егору Егоровичу, что экономнее будет ей поехать на парижский пляж в маленький курорт, который очень хвалит этот твой Ришар; он даже обещал заказать ей и Жоржу комнаты в скромном, дешевом и очень приличном пансионе. «Ну что ж, это чудесно, и тебе будет веселее». — «Я, главное, для Жоржа, ему очень полезно купаться. А почему веселее?» — «Но, вероятно, и Ришар поедет туда же, его отпуск в середине августа». — «Ах, да, он что-то такое говорил; Жоржа очень утомили экзамены, и он малокровен». — «Чудесно, чудесно, тебе тоже хорошо отдохнуть». — «Это не курорт, никаких особенных нарядов там не нужно. Вот только купальный костюм у меня ужасный! И Жоржу панталоны для тенниса». — «Конечно, конечно, ты уж там сообрази».

У Анны Пахомовны есть собственная сберегательная книжка, и она скуповата. Но на этот раз кое-что придется затратить из собственных сбережений, и Егору Егоровичу знать об этом ни к чему. Предстоит неделя беготни по большим магазинам и ссор с портнихой, которая ничего в срок не делает и переуживает платья. Ей говорят человеческим языком: «Здесь сделайте складочки, а там пустите свободно», — и она непременно сделает складочки там, а здесь пустит обтянуто. Анна Пахомовна терпеть не может обтянуто! Как ни экономь, а для пляжа кроме купального костюма (неужели непременно нужно с этим огромным вырезом на спине? что за ужас!) еще надо соломенную шляпу с большими полями, положим, это недорого, и пестрый зонтик, хотя я решила загорать. Затем резиновый поясok (зеленый? беленький? красный? лучше красный!), и тогда, значит, тоже красный

чепчик, легкую плетеную сумочку; и это все. Кюлотин или каш-сэкс? Два кюлотина и два каш-сэкса. Черный лифчик — это просто необходимо. А главное, все эти неизбежные мелочи — ленточки для бретелек, пуговицы, пресьоны, нитки филь-а-ган, потом лосьон для лица, пудра рашель, и не первый номер, а второй, для юга, то есть для лета, и еще пудра окр, когда загорю, потом вазелин, одеколон, мои духи кельк-флер, я без них не могу, мыло, гальманин для подмышек, душистые кубики для ванны, ну там, сервьет-иженик и прочее, всё пустяки, но наберется множество, не забыть рен-де-крем, лучше в тубиках, лак для ногтей, руж, римель,— господи, ну когда я все это успею, остается только неделя! А купальный халат! Старый не-возмо-жен!

Вагоны метро, трамваи и автобусы подхватывают Анну Пахомовну, довозят, вышвыривают, снова подхватывают, уже с набором пакетов и пакетиков. Фуры больших магазинов тормозят на улице Конвансьон. Вместо второго номера рашель, необходимого для юга, то есть для лета, из пакета нагло выполз номер первый. Это возмутительно! Было ясно сказано: номер второй. И кто покупает на август номер первый! Портниха, как назло, слишком выпустила там и обтянула тут, именно то, чего ее просили не делать ни в каком случае. Для дома очень удачно куплено готовое, легкое, страшно дешевое птит-роб, настоящая удача! Пестренький кретон, сзади совсем гладко, спереди фишу. Со шляпой оказалось трудно. Пришлось купить чемодан и совершенно такой же чемоданчик. Купальный костюм с вырезом, но самым маленьким. Анна Пахомовна так прямо и сказала: «Я хочу с самым маленьким вырезом». Но все вырезы оказались одинаковыми, какое-то сумасшествие. Наконец в четвертом магазине...

Дни летят с непопозволительной быстротой. Июль прыгнул в август. Пятого, по милости этой портнихи, уехать не удалось, но десятого непременно нужно, а то кто-нибудь подумает, что она нарочно ждет. В заключение — переузила, пришлось переделывать и буквально у нее вырвать. В последний день мадам Жаннет вздумала надерзить,— но не отказывать же ей? Как будет Егор Егорович? И когда наконец Анна Пахомовна с Жоржем, чемоданами, чемоданчиком, еще чемоданчиком и плоской, чрезвычайно легкой и хрупкой

картонкой («Пожалуйста, осторожнее, Жорж, главное, не сядь на нее!») погрузилась в поезд, — тут-то она и вспомнила, что два кюлотина и два каш-сэкса так ей и не прислали из магазина. Это было до слез досадно — и как теперь быть?

Федор Михайлович Достоевский хмуро и кисло посматривает на героическую французскую девицу, с которой его поставили на одну каминную доску. Оба они прислушиваются к гулким шагам в опустевшей квартире. Егор Егорович также прислушивается к своим шагам, не понимая, почему они гулки: убыль выразилась только в жене и сыне, все остальное на своих местах. И однако, ощущается пустота и некоторое физическое одиночество.

Непреднамеренно оглянувшись, Егор Егорович видит длинную аллею прожитых лет, ровную, простую, липовую, нестриженую. В полувековом отдалении — одноэтажный деревянный дом, в котором, законно целуясь, родители вывели птенца Егора, выкормили его и пустили в жизнь незамысловатым мальчиком с пробором белокурых волос, мягкостью свидетельствующих о доброте.

Мальчик идет по аллее не без робости, но и не без любознательности. Некоторое время домик щекочет спину и плечи, потом становится меньше, совсем маленьким и исчезает. Родители Егора Егоровича, выполнив свое жизненное назначение — создав человека по своему образу и подобию, человека простенького, малоспособного быть героем повести, — устало укладываются рядышком под общепринятый слой казанской земли. Тем временем у мальчика растут усы и также является желание продолжить род. Подросшие липки аллеи цветут — очаровательный аромат. В руках молодого путника легкая тросточка, в походной сумке невесомый багаж семи классов реального училища и доверчивое отношение к жизни. Люди пишут друг другу письма и посылают посылки. Егор Егорович облекается в форменный сюртучок с желтыми выпушками и помогает письменным и телеграфным сношениям человечества.

Тут на время картина меняется. Егор Егорович смотрит на мир через почтовое окошечко, умеряющее

вселенскую суматоху и вводящее ее в рамки. Укрошенный таким образом мир подходит в строгой очереди, наклоняется, сует нос в окошечко и заявляет о своих желаниях. Егор Егорович заносит эти желания в книгу, оплачивает их разноцветными марками и приклепывает днем отправления. Кроме языка человеческого Егор Егорович свободно владеет и языком Морзе — стуки с промежутками. Пароходчик Каменский телеграфирует из Перми, что лед тронулся. Богатому татарину шлют из Крыма депешу по делам апельсинным и виноградным. Барыню на Проломной любящий муж из Нижнего поздравляет с днем ангела. Некоторое однообразие и никакой сложности. Но в то время, как каждый живет в круге своих интересов, Егор Егорович как бы обобщает эти интересы в единое целое.

Однажды должно случиться, что в окошечко заглядывает полненькая девица и покупает две марки по семь копеек. Когда Егор Егорович дает ей сдачу, их пальцы случайно сталкиваются. Ток включается, и аппарат Морзе бешено стучит. Егор Егорович покупает новый галстук, синий шелковый с горошинами. Гениальный математик Лобачевский недоуменно смотрит на маячащую мимо его бюста пару: он с усиками, она в голубой кофточке при коричневой юбке. Липа, конечно, цветет зверски. Получатели телеграмм в Казани возмущены путаницей слов: вместо «груз» — «грусть»; вместо «лубков» — «любовь». К концу лета Егор Тетехин женат на девице Анюте. В законный срок Егор Егорович — отец. При стольких важных событиях характер жизненной аллеи ничуть не меняется: благопристойный ряд лип-равнолеток, нестриженных, но дающих чистую линию и прекрасную перспективу.

Шквал налетает внезапно. Конечно, впоследствии некоторые провидцы утверждают, что они чувствовали предстоящую грозу. Но в Казани, городе старинном, даже с высоты Сумбековой башни не было видно грозового облака. Скользнем по перечню имен и событий: гимназист Принцип, император с усами стрелкой, траншеи, большая Берта, земгоры и земсоюзы, Григорий Новый, глупость или измена, Александра Федоровна, Александр Федорович, plombированный поезд, государственное совещание, учредительное собрание, солдатская лавина, без аннексий и контрибуций, Владимир Ильич со товарищи, истерика и кровь, заря

новой жизни, чехословаки. Липы чувствуют себя от-
вратительно. Шквал сметает с лица русской земли
лишнюю мелочишку, в том числе и Егора Егоровича
с семейством. О дальнейшем, в частности о Сингапуре,
было сообщено в начале этой повести.

Таковы события внешние. Но личная жизнь челове-
ка настолько ими не исчерпывается, что непреднаме-
ренно обернувшийся Егор Егорович видит пройден-
ную им аллею ровной и почти не поврежденной в стро-
гости и прямизне убегающих вдаль линий. Трудовая,
конечно, но сравнительно легкая и до удивительности
духовно бессодержательная жизнь. Не всем быть муд-
рецами и не всем великими зодчими. Иные гравируют
на обломках прошлого свои имена. Егор Тетехин на
это не претендует: он прост, но не хочет быть смеш-
ным. Он только утверждает, что от рождения до со-
всем недавнего времени спал или дремал — не жил
по-настоящему. Но вот пришел момент, и Егор Тетехин
проснулся — его разбудил тройной стук молотка:

— Подлинно ли ты вольный каменщик?

— Таковым признают меня братья.

В перспективе липовой аллеи появляются очерта-
ния строящегося Храма, который никогда не будет
достроен. Сюда стекаются из всех стран люди, от-
меченные не особыми талантами, не профанскими за-
слугами, не богатством, не родовитостью, не пойман-
ной за хвост славой, а тайной печатью посвященности.
Они никем не призваны — они сами себя нашли и вза-
имно утвердили. Братская цепь кафинскими узлами
связала их воедино и отделила от злобствующего,
больного, непросвещенного мира, который должно пе-
ресоздать. В то время как другие строители, практики
и фантазеры благодетельствуют человечество готовы-
ми программами, потчуют его социальными опытами,
вырывают друг у друга вожжи дребезжащих колесниц
и катятся кубарем под ноги взбесившихся лошадей, —
эти тайные заговорщики, вне политических страстей
и предрассудков — по ту сторону догмы и обязатель-
ных верований, вооружившись молотом и резцом ис-
каний, медленно обтесывают каждый свой собствен-
ный грубый камень, стараясь придать ему правиль-
ную, удобную для пригонки к другим форму. Прошедшие первый искус кладут из этих камней фун-
дамент и возводят стены нового идеального Храма;

испытанные в работе наносят прекрасный рисунок на чертежную доску и руководят стройкой. Величавый Храм растёт вширь и ввысь,— но масштабы его таковы, что только все человечество могло бы общими дружными усилиями завершить его постройку достойным куполом. Дожить до этого не мечтает ни один каменщик; он довольствуется своим малым вкладом,— и он умирает, завещая свое дело мастеру новому, который, может быть, переделает заново всю его работу, потому что лучшее враг хорошего, истина никому не известна и Слово не найдено.

«Что во всем этом замечательно? — думает Егор Егорович, тыкая вилкой в остатки яичницы с ветчиной.— А то замечательно, что никакое маленькое дело не пропадает и никакой самый маленький человек не бесполезен, если только он работает по чистой совести и доброму сговору с другими. И ошибка не страшна — и она на пользу. Идем ощупью, как будто вслепую, но у каждого в груди словно бы компас, и верен общий путь, освещаемый лучами путеводной звезды. И не страшно. И как-то радостно. Вот только бы не поддаваться слишком разным житейским мелочишкам, не тратить сил на пустяки. Но и не мудрить — мудрить ни к чему». Яичницу докушав, обтер губы салфеткой и уверенно зашагал дальше по липовой аллее к прекрасному видению и неизбежному будущему.

Присев на диван, Егор Егорович борется с желанием: не протянуть ли ноги и не подремать ли часок? И вдруг видит, что ноги уже протянуты, и не две, а четыре, выставившиеся из-под одеяла. Жорж оставил на диванной подушке свой спортивный журнал и какой-то иллюстрированный еженедельник с легкомысленной картинкой на обложке. Егор Егорович брезгливо перелистывает — и зачем только Жорж покупает и читает такую гадость! «Забавы Марианны». Текст под стать картинкам, возмутительно. Конечно, печать во Франции свободна, и это хорошо. Жорж становится взрослым, может читать, что ему нравится. Но неужели такие пошлости и сальности могут нравиться юноше?

Какой-нибудь поганец-издатель, в расчете на нездо-

ровое любопытство девушек и молокососов, заказывает голодным литераторам забористые истории, а нищим художникам пикантные к ним иллюстрации. Им платит гроши, сам набивает капитал. Марианна забавляется, а нравственность в стране падает. Уж если Жорж зачем-то покупает этот журналчик, то что говорить о молодежи, лишенной доброго семейного влияния?

Проходя мимо газетного киоска, Егор Егорович увидал те же четыре ноги и сердито отвернулся. Один негодяй печатает, сто негодяев распространяют в тысячах и продают кому угодно, хотя бы десятилетней девочке. От киоска до киоска Марианна бежит за старым брюзгой и слушает его причитания. Если бы во Франции была настоящая общественность, она бы выступила на борьбу с этим злом, издавая журналы полезные, красивого вида, дешевой цены, с яркой художественной обложкой, на которую и взглянуть приятно. «Ну и грубиян!» — отчетливо говорит Марианна, подмазывая губки карандашом. Все-таки в людях, особенно молодых, должны преобладать здоровые вкусы. Но развитой общественности не может быть в стране, заеденной политикой. Единственная организация, которая могла бы...

Дальнейший разговор происходит уже в вагоне трамвая, куда забралась, конечно, и Марианна. Уступив ей место на лавочке, очень приличный пожилой господин выходит на площадку, и, закурив папиросу, не без язвительности говорит, как бы ни к кому не обращаясь:

— Простите, кажется, я имею высокую честь беседовать с вольным каменщиком Егором Тетёхиным?

Едущие в трамвае удивленно оглядываются, когда тот же самый вполне корректный мужчина тем же самым, но более робким голосом отвечает:

— Да, конечно, и я это учитываю. Удивительно, как мне это не пришло в голову раньше. Сейчас, впрочем, летний перерыв, но в первом же осеннем заседании...

— Вы исполните свой долг, Егор Егорович? Никто в этом не сомневается. Но встретите ли вы сочувствие?

Подумавши, вольный каменщик отвечает уверенно:

— Я встречу, конечно, полнейшее сочувствие, в этом я не допускаю и тени сомнения. Но силы наши

слабы, и средств у нас нет. Однако мы можем кликнуть клич.

Заглушая грохот улицы и дерзкий хохот Марианны, Егор Егорович кличет клич, который пронесется по всей стране и подхватывается тысячами сочувствующих. Радостное возбуждение общественных деятелей. Приток литературных и художественных сил. Чеки, мандаты, кружечные сборы, вычеты из жалованья, членские взносы. Организация мощных культурных издательств характера научно-популярного. Во главе одного из них, особенно деятельного, Лоллий Романович, расставшийся наконец со своими коробочками. Всюду чувствуется тайно направляющая рука тех, кто первыми отозвались на призывный клич Егора Егоровича. Марианна, облинявшая, испуганная, в стоптанных башмаках, напрасно обивает пороги порнографических издателей. «Чего вы хотите от нас? — хором говорят ей издатели. — Время таково, что выгоднее перейти на художественную идейную литературу». Содержатели киосков с негодованием топчут обеими ногами четыре ноги на выцветшей картинке, никого более не прельщающей. «Ох, Егор Егорович, уж очень вы размечтались, наивный вы человек!» — «Нет, почему же? Разве не так было у нас в России при Екатерине, в дни Николая Новикова? Разве не вольные каменщики заложили основы нашего просвещения?» Толпа братьев окружает оратора: «Расскажите, расскажите, дорогой брат Тэтэкин! Это очень интересно!» Егор Егорович с объемистой тетрадью подымается на Восток и занимает место витии. Речь его льется плавно, повествование его обосновано документами славной эпохи от великой Екатерины до благословенного Александра. Тайная ложа Гармонии, Дружеское ученое общество. Московская Типографическая Компания. Великая Директориальная ложа. Союз Астреи. Сумароков, Херасков, Карамзин, Пушкин, Грибоедов, Пестель, Рылеев, Муравьевы. Михаил Илларионович Кутузов. Генералиссимус Суворов (наконец знакомое и французам имя: *Alexandre Souvorov, général russe, fut battu par Masséna à Zurich. C'était un général habile, mais sans humanité ni scrupules* *). Из книги, на корешке которой

* Александр Суворов, русский генерал, который был побежден Массеном в битве при Цюрихе. Это был очень ловкий генерал, но без гуманности и сомнений (*фр.*).

осыпается одуванчик). «Какой прекрасный доклад, дорогой брат Тэтэкин! Троекратное рукоплескание в честь докладчика, дорогого брата Тэтэкин! Скажите, брат Тэтэкин, как случилось, что Братство исчезло?» — «Оно было закрыто великой Екатериной и благословенным Александром». Слушатели несколько разочарованы. Кондуктор, неожиданно очнувшись, кричит:

— *Fin de section!* *

Марианна выпрыгивает из трамвая легким перышком, толкнув локтем неуклюжего каменщика. Из киоска торчат и шевелят пальцами четыре ноги разного пола.

История продолжается. В конторе ждет шефа обширная корреспонденция. Секретарь Анри Ришар в отпуске, и письма Егор Егорович распечатывает сам; проглядев, укладывает стопочкой, прищипывая к письму и конверт, а на письме отмечая: «Исполнить», «Проверить», «Справиться». Работа мерная и скучная.

«Просим от сего дня по 15 сентября доставлять в удвоенном количестве следующие иллюстрированные издания «Лю», «Вю», «Ню» и в тройном «Забавы Марианны»;

«Подтверждаем получение ста двадцати экземпляров «В эфире», просим выслать двести «Забавы Марианны».

Выпростав ноги из-под одеяла, Марианна кувыркается через голову и громким хохотом оглашает кабинет заведующего отделением экспедиционной конторы: «О, как я вам признательна, мосье Тэтэкин! Вы мой лучший покровитель!»

Егор Егорович в страшном смущении. Некоторые безответственные негодяи занимаются распространением... Какой скандал!

Уверенным нажимом красного карандаша начальник бюро пишет и подчеркивает в заголовке письма: «Журнал «Забавы Марианны» не заказывать и не посылать».

Вольный каменщик кладет начало решительной борьбе с развратителями молодежи. Пусть каждый делает, что может; усилия единиц сольются в стройный хор молотков строителей нового человечества.

* — Конец секции! (*фр.*) — (Трамвайный путь в Париже делится на секции.)

Марианна удивленно присаживается на край письменного стола Егора Егоровича и, поправляя чулок телесного цвета, говорит: «Какие глупости, мосье Тэтэкин! Во-первых, мои забавы не более безнравственны, чем речи парламентских депутатов и, конечно, менее развращают общество. Во-вторых, почему из десятка журналов одинакового типа вы обрушились на один; потому только, что его читает Жорж? В-третьих, главная контора даст вам нахлобучку за введение цензуры в торговом предприятии. В-четвертых, в-пятых, в-шестых, в-седьмых, в-восьмых...» Легкомысленная сирена трещит без умолку, не подозревая, что уши Одиссея залиты воском. Наконец ее звонкий голос переходит в хриплый телефонный басок непосредственного начальства Егора Егоровича:

— Я слушаю, мосье Тэтэкин. Да, есть, кажется, такой журнальчик, довольно гнусный, а что? О, мой дорогой, нам-то что за дело? Порнография? Ну, конечно! Но, кажется, тираж растет. Что? Какое преступление? Полноте, дорогой мосье Тэтэкин! Но тогда мы должны отказаться от распространения многих изданий. Э, мой милый, что вы говорите! Ну, хорошо, хорошо, зайдите, поболтаем. Не знал, что вы такой моралист. Что? Обсудим, обсудим. До свиданья!

«Подтверждаем получение... Просим дослать. В ответ на ваше... «Забавы Марианны»... И впредь посылать как обычно... В счете вашем от 1 августа... «Забавы Марианны»... Мосье, если вас не забавляет быть рогатым, то поспешите обратить внимание...»

Как бы ни решила вопрос главная контора, Егор Егорович не сдастся. Вольный каменщик должен быть последовательным. Впрочем, не иначе поступит и честный профан. Егор Егорович штемпелюет письма днем получения.

«Мосье, если вас не забавляет быть рогатым, то поспешите обратить внимание на поведение вашей жены, весело проводящей время в курорте с вашим подчиненным по службе».

Главное — кто-нибудь должен серьезно начать борьбу и выказать себя достаточно стойким и мужественным!

«Мосье, если вас не забавляет быть рогатым...»

И почему непременно предполагать, что доброе начинание не встретит сочувствия? Главной конторе

просто до сих пор не приходило в голову, что распространение подобных журнальчиков порочит фирму; а это даже и коммерчески невыгодно. Впрочем, в данном случае вопрос становится ребром: выбирайте между старым служащим и забавляющейся Марианной! Третьего нет — довольно!

«Мосье, если вас не забавляет быть рогатым, то поспешите обратить внимание...»

Это еще что за чепуха? Откуда попало? Маленькое почтовое недоразумение: вместо делового письма вложена частная записка, и притом гнусная. Егор Егорович бросает письмо в корзину под стол, потом заботливо наклоняется, вынимает, расправляет и соображает, как же быть? С одной стороны — нельзя швырять чужих писем, а с другой — явная гадость, донос на чью-то жену. Конечно, бросить! Он комкает и швыряет записку, отстуканную на машинке и неподписанную. Есть же такие тихие подлецы, и, пожалуй, кто-нибудь из клиентов нашей фирмы. Ну, конечно! Не только выписан аккуратненько адрес бюро, но еще прибавлено: «Monsieur Tétékhine, directeur»*. Несомненно, клиент, даже и фамилию мою знает! Вот и попал! Забавно все-таки! А письмо с заказом послал, значит, этому, у которого жена. Этакие пакостники!

Окончив разбор корреспонденции, Егор Егорович берет нужные письма и сам идет распорядиться об исполнении. В отсутствие Ришара часть его обязанностей выполняет машинистка. Мадемуазель Ивэт, несмотря на слишком яркую окраску губ и ногтей, сидит за машинкой с лицом святой девы. Егор Егорович обстоятельно втолковывает ей, что нужно сделать, и по ее репликам догадывается, что мадемуазель Ивэт ничего не поняла. Он беззлобно и с великим терпением объясняет снова:

— Так пожалуйста, мадемуазель Ивэт! И сами проверьте заказы. И чтобы отметили в книгах.

Святая дева удаляется не то обиженно, не то удивленно. Сонный от жары и духоты бухгалтер вяло смотрит ей вслед несколько ниже спины, хотя эта картина давно ему прискучила.

— Несколько неудобно без Ришара, — говорит Егор Егорович, — мадемуазель Ивэт не так опытна.

Бухгалтер производит губами неопределенный звук, повторяет его дважды и прибавляет:

* «Господину Тетёхину, директору» (*фр.*).

— Кое в чем она, конечно, неопытна.

— Но девушка старательная,— успокоительно замечает Егор Егорович.

Бухгалтер в третий раз издает губами звук, который можно объяснить как угодно. Ему, в сущности, безразлично, в какой степени Ивэт девушка и в какой она старательна. Но что она сегодня кривляется и витает в облаках — в этом нет сомнения. Вероятно, что-нибудь натворила или собирается натворить.

Если мадемуазель Ивэт собирается что-то натворить, то она, во всяком случае, не торопится. Ушел заведующий бюро, ушли другие служащие, долго и сложно, потирая спину, разминая ноги и оскорбительно сморкаясь, завершал трудовой день бухгалтер и удалился. Задержавшись дольше всех, мадемуазель Ивэт деловито заходит в кабинет заведующего, перебирает на столе бумаги, недоуменно пожимает плечами и наконец догадывается заглянуть в корзину. Поверх бумажек лежит надорванный конверт, несомненно, тот самый. Значит, письмо было распечатано и прочтено. Лакированные ногти мадемуазель Ивэт еще раз нисходят в корзину и возвращаются со скомканным листочком бумаги. Раньше чем прочитать письмо, шеф всегда отмечает штемпелем на уголке день получения; штемпель стоит.

Мадемуазель Ивэт не столько в негодовании, сколько изумлена:

— Но это какой-то кретин!

Она забыла толкование славянской души, данное однажды бухгалтером: «Вы понимаете, мадемуазель? Ничего нет мудреного, что вы не понимаете по-китайски!»

Ну хорошо. А вы понимаете, по каким побуждениям мадемуазель Ивэт рвет письмо на мельчайшие кусочки и выходит с видом, несколько не напоминающим святую деву?

Марианна недоумевает: правда ли, что бюро не приняло заказов на журнал? Мадемуазель Ивэт пожимает одновременно плечами и губками. «Но ведь был договор?» — «Был условный, от номера к номеру. Вообще — поговорите с шефом».

Шеф сидит в храме на престоле. Над его креслом

светящийся треугольник, символ сознательного бытия, со всевидящим оком и буквами: иод, хе, вау, хе, которые приблизительно означают: «Я есть тот, кто есть». В руках шефа пламенеющий меч, острие которого сейчас направится на вошедшего. Еще на почтовой службе Егор Егорович привык в нужных случаях держаться величаво.

Марианна не учитывает обстановки; она игриво болтает ножкой и намекает, что о делах приятнее говорить в ресторане за бутылкой доброго вина. Однако шеф бюро довольствуется бутербродами, принесенными из дому. Тогда Марианна ушмыгивает за ширму, переплетает себя в старомодный пиджак комбатанта и зачесывает остатки волос решеткой на лысину. В петличке какая-то ленточка. Люди, имеющие основание опасаться оскорбления действием, всегда носят в петличке какой-нибудь предохранительный значок, отвлекающий внимание от их бегающих глаз.

— Вышло маленькое недоразумение, мосье... Дело идет о моем издании «Забавы Марианны».

Голос с высоты престола:

— Никакого недоразумения. Мы не распространяем порнографических изданий.

— О-ля-ля! Это немножко слишком. Но даже допустим, что Марианна не монахиня; но она ничем не превосходит другие издания того же рода, которые вы берете на комиссию.

— Благодарю вас. Мы ознакомимся и с другими и примем меры.

Марианна срывается с тона и, подаваясь на ленточку, переходит в наступление:

— Франция не нуждается в поповской цензуре, мосье. Вы иностранец и пытаетесь учить французов.

— А вы плохой француз, мосье, если способствуете развращению молодежи в своей собственной стране.

Специалистам русско-французской борьбы на полях придется расставить в разных местах технические словечки, которых мы не знаем. Помнится, что бойцы приподнимают друг друга на воздух, затем уместно выражение «нокаут» и «положил на четыре лопатки». Но нам приятно, не пытаясь интриговать читателя, заранее предупредить его, что победителем останется вольный каменщик. В этом нет ничего удивительного. Первая из двадцати двух аксиом Элифаса Леви о воле гласит: «Ничто не устоит против воли человека, когда

он знает истину и хочет добра». Восемнадцатая аксиома читается так: «Добровольная смерть из преданности идее не есть самоубийство, но апофеоз воли». Таким образом поражения в данном случае не могло и быть; и все-таки победе Егора Егоровича помогла только случайность.

Проглотив пилюлю, Марианна стучит каблучками в направлении автобуса, останавливает его у зеленой вывески и вместе с ним пожирает пространство. Где-то, на середине пути автобуса, его насмешливо и уверенно обгоняет такси; в окне такси можно усмотреть волевой профиль каменщика. В главной конторе просят плешивого бывшего комбатанта обождать: директор занят беседой с заведующим отделом мосье Тэтэкин. «Как, он уже здесь?» Шансы Марианны падают. «Но, дорогой мосье Тэтэкин, вы ставите нам ультиматум! Мы очень ценим вас как старого и преданного фирме служащего. Но не можем же мы входить в обсуждение содержания изданий!» — «Напротив, уважающая себя фирма должна это делать». — «А кстати, кто издатель? Ах, этот! О, тогда вопрос стоит несколько иначе. Ведь это старый мошенник и банкрот, он уже прогорел с двумя подобными же предприятиями. Вы можете успокоиться, мосье Тэтэкин, «Забавы Марианны» недолговечны». — «Я считаю вопрос принципиальным». — «О да, конечно... Знаете, дорогой друг, на этот раз вы меня переубедили; не стоит мараться из-за нескольких номеров, он, конечно, не заплатил типографии. Вы решительно правы, мосье Тэтэкин! Но только ваш ультиматум тут ни при чем. А вы такой горячий? Ну, я очень рад, будь по-вашему. Ох, эти русские! Как поживает ваш Сталин? А он, пожалуй, не глупее Муссолини, а? До свидания, дорогой, я вам искренне благодарен за добрый совет!»

Борьба, в сущности, окончена. Марианна делает последнее усилие спасти четвертую лопатку. «Не могу скрыть, мосье, что этот *sale russe**, ваш служащий, пытался меня шантажировать... Мосье, я старый комбатант и не позволю... Во всяком случае, я не бросаю слов на ветер... А я говорю, мосье, что пора Франции изгнать нежелательных иностранцев... Я уйду, мосье, но предупреждаю вас, что вы расклетесь...»

Объявляется результат борьбы: 2—0. Восьмая акси-

* грязный русский (*фр.*).

ома Элифаса Леви гласит: «Когда воля направлена на вздор, она отвергается Вечным Разумом».

Нижеследующий отрывок написан в форме монолога, но в действительности это была беседа, даже ряд бесед, преимущественно за столиком кафе на улице Вождар. Однако реплики героя повести настолько незначительны, что мы охотно их опускаем. Человек не без основной человеческой слабости, Егор Егорович сначала намекает, затем подробно излагает историю борьбы с Марианной, закончившуюся победой. Лоллий Романович слушает внимательно и вертит пуговицу на пиджаке никакого цвета. Пуговица мало-помалу теряет привязанность к пиджаку. На столике мокрый кружок, в кружке готовый улететь пепел от папиросы «Капораль». Безносый громкоговоритель неизлечимо нудит бочечным голосом. Такова обстановка. Обработанная для печати речь Лоллия Романовича принимает следующий вид:

— Дорогой Тетехин. Надеюсь, что вы не сомневаетесь ни в моем сочувствии, ни в моей откровенности (Егор Егорович кивает). В деле, которое мы будем в дальнейшем называть «Забавы Марианны», вы были безукоризненны и проявили не только энергию, но и высокую самоотверженность (жест скромности не удается Егору Егоровичу, он совсем не актер). Теперь я кладу на чашу весов (профессор трогает свой стакан) достигнутый вами результат, а именно ущемление несомненно порочной Марианны, а на другую чашу (трогает чашку собеседника) кладу ваше нравственное торжество, известного рода удовлетворенность подвигом. Противоположение, которое я в данном случае делаю, разъяснит вам мою дальнейшую мысль. У нас нет никаких оснований предполагать, что ущемленная вами Марианна кается в своих грехах и хочет исправиться; вернее всего, она озлобилась и замышляет новые гадости вообще и против вас, в частности, хотя последнее нас не должно интересовать. Сфера применения зла в мире огромна, выбор богатейший. Таким образом, на первой чашке весов не остается ничего (профессор берет стакан и выпивает содержимое), в то время как на второй (Егор Егорович мешает кофе ложечкой, но

не пьет) продолжает красоваться и тяготеть ваше нравственное удовлетворение. И я спрашиваю: удовлетворение чем, дорогой Тетехин? Вы должны ответить по совести: «Моим личным подвигом, безотносительно к его последствиям». (Егор Егорович приоткрывает рот, но рот сам закрывается. Передышка оратора.)

Да, дорогой Тетехин: безотносительно к последствиям. Но подобная самоудовлетворенность может быть только временной, поскольку речь идет о живом и справедливом человеке. Сыграв впустую, этот человек, временно очарованный блеском игрушки, кончит, конечно, разочарованием. Иначе говоря — зачем было затрачено так много энергии, зачем человек принимал благородную позу и рисковал личным благополучием своим и своей семьей?

Вы мне можете возразить: да, усилия одного человека часто оказываются бесплодными; но последуй его примеру другие, десяток, сотня, тысяча — забавам Марианны и еще многим другим забавам придет конец. Но ведь никто вашему примеру не следует, дорогой Тетехин! Ни тысяча, ни сотня, ни десяток, ни даже сидящая перед вами единица. В ваш математический учет вкралась психологическая ошибка, какую обычно делают добрые и отзывчивые люди, судящие обо всех по себе. Так, например, они высчитывают довольно точно: каждый человек, самый бедный, может без малейшего напряжения сил пожертвовать одно су на устройство в Париже, на углу Конвансьон и Вожирар, вместо этого быстро — столовой для безработных. Людей четыре миллиарда, итого — двести миллионов франков. Затем он берет черпачок со звонком и обходит с ним весь мир, уныло позванивая и будя совесть; в результате сбора — шестнадцать франков тридцать пять сантимов, в том числе несколько монет, вышедших из употребления. На новые подошвы не хватает.

Тут уместно привести единственную значительную реплику, сорвавшуюся с уст вольного каменщика:

— Святые деньги, Лоллий Романович!

— Что?

— Я говорю — святые шестнадцать франков.

И дрожащей от волнения рукой Егор Егорович взял чашку остывшего кофею и опрокинул в рот жестом горчайшего пьяницы.

— Видите ли, дорогой Тетехин, деньги вообще единственная святыня, всеми за такую признаваемая,— хотя я и отдаю дань вашему замечанию. Вы прилепите шестнадцать франков гуммиарабиком к дощечке, обрамляете ее и подвешиваете в правый угол, затем зажигаете лампадку и хлопаете земные поклоны. После чего, в припадке лучших чувствований, вы суете незаметно и смущенно двадцать собственных франков взаймы безработному казанскому профессору, который, вероятно, до смерти не успеет с вами расквитаться. В благодарность за это безработный поливает вас ядом подержанного и выцветшего скептицизма и пытается сбить с благородной позиции. Так благополучно протекают дни, часы и годы. Поправку к вышесказанному делает время, приглашая на отдых всех действующих лиц. Вот, собственно, и все, дорогой Тетехин. Я кое-как дотянул свою речь и, должен сказать, испытываю чувство острого стыда. К старости человек забалтывается...

Егор Егорович чувствовал, что если он взглянет прямо на Лоллия Романовича, то увидит лицо не смущенное, а как бы недоброжелательное, почти злое. Значит, смотреть не нужно. Но и не глядя, Егор Егорович видел, что голова Лоллия Романовича глубоко вросла в плечи и весь он стал маленьким, зародышевым, во всяком случае, таким, какой берет двадцать франков, не может отдать и за это ненавидит дающего. Еще никогда вольный каменщик не испытывал столь определенной нравственной победы — и она его не радовала. Как бы это так погладить Лоллия Романовича по руке? Никак нельзя, потому что это его обидит еще больше. Постучав ложечкой, Егор Егорович самым нежным и ласковым тоном (тон, собственно, предназначался для собеседника) попросил гарсона дать еще чашку кофею и тут же, задержав гарсона, сухо и вежливо осведомился у профессора:

— Мы еще посидим? Не прикажете ли возобновить ваш грог?

Еж продолжал лежать, свернувшись в клубок. «Защитные иглы», — сообразил Егор Егорович, читавший Брэма, и отвесил ему низкий поклон. Еж выставил мордочку и выправил лапу. «Сейчас я разревусь», — испугался Егор Егорович. — И все это из-за двадцати франков, будь они прокляты! Как дешево

стоит человеческая ненависть!» В это время гарсон принес кофе и грог, после чего огромное солнце любви выползло из темного угла кафе и уверенно прибило себя гвоздиком на протабашенном потолке. Отпив глоток, Лоллий Романович сказал:

— Все-таки вы замечательно хороший человек, Егор Егорович!

В первый раз он отказался от привычного «дорогой Тетехин».

Лестный отзыв смутил бы Егора Егоровича, если бы он мог его расслышать. Но в эту минуту он принимал солнечную ванну: весь растворился в свете, как человек, постигший мудрость. Если за минуту перед тем он еще мог сомневаться, огорчаться, путаться в мыслях, то теперь ему внезапно открылось самое главное, то нелогичное, чего не поколеблет никакая логика. Дальнейшие речи напрасны. Путь вольного каменщика един и прям: он указывается пламенеющей звездой. Нет малого и великого: микрокосм равен макрокосму. Горечь чашки кофею равна горечи мировой; кусок сахара сладостью равен счастью поколений. Рушилась с грохотом Вавилонская башня напрасных умствований — выжило и проросло горчичное зерно простой правды. Ум — дешевая стекляшка! Только любовь, Лоллий Романович, только любовь! Это и есть творческое постижение вечно убегающей истины!

И еще Егор Егорович понял с неоспоримой ясностью: перед ним сидел не-по-священный.

Каждый знак зодиака имеет собственную печать. Печать Тельца изготавливается из следующих металлов: медь, железо, олово, золото.

Металлы должны быть сплавлены при вступлении Солнца в знак Тельца, приблизительно около 8 апреля. В ту же минуту нужно награвировать печать, иначе она не будет иметь силы.

При вступлении Луны в десятый градус Тельца надо повесить печать.

По своему свойству печать Тельца есть средство для восстановления половых способностей. Это верное средство и для мужчин, и для женщин. Эта печать также способна открывать глаза носящему ее на измену

в супружестве. Печать надо повесить так, чтобы она касалась пупка той стороной, на которой изображен знак Тельца.

Повешенная над кроватью, эта печать, подобно печати Скорпиона, есть верное средство от клопов.

Зевнув так, что дальнорыкий, заглянув ему в рот, мог бы увидеть внутреннюю оболочку пятки, Егор Егорович захопывает книжонку по высшей магии, оказавшуюся вздором, и переводит глаза на пакет, доставленный еще днем из магазина белья на имя мадам Тэтэкин. Нужно будет завтра же переслать Анне Пахомовне. А что тут такое? Чтобы не портить веревки, он старательно распутывает ее узел искусной работой ногтей. Отличная упаковка! Конечно, что-нибудь дамское. Из внутреннего пакета выпадает эфирное и напоминающее заповольного каменщика, но из гораздо более легкой материи и без завязок; рассмотреть внимательно Егор Егорович стесняется. Нужно будет послать образцом без цены; вероятно, Анна Пахомовна заказала и не дождалась.

Перейдя в спальню, Егор Егорович медлительно раздевается и ложится с узаконенной правой стороны обширной постели. Левая сторона девственно пуста. Черная магия наводит тоску, но и о конторских делах думать скучновато. Лето идет к концу, будет приятно, очень приятно, когда с наступлением осени возобновятся братские встречи. Дело тут не в выработавшейся привычке, а в притягательной силе общения посвященных. Да, посвященных! Казалось бы, — что мне до этих людей, в профанском мире совершенно чуждых, живущих своими крохотными интересами, копошащихся в суете быта? Но стоит встретиться с ними в колоннах Храма, услышать знакомые условные слова, наполнить эти слова желаемым значением, — как по волшебству проясняется мирская муть, рождается в душе чистая приязнь, жажда соборного строительства, вера в идеал и потребность истинного Делания. В глазах непосвященного это только самообман, игра в чувства и благие побуждения. Ой ли? Всё ли мы знаем? Не источают ли лучезарная Дельта подлинными лучи благодати, не направляют ли символы и разум и чувство на более верные пути, чем сделает это наимудрейшая книга?

Еще думает Егор Егорович, докуривая последнюю папиросу (Анна Пахомовна не допускала курения в постели):

«Надо будет повидать брата Жакмена; в последнее время сдал старик, прихварывает; но духом бодр. Приятный человек аптекарь; на вид грубый, а сердце отличное. Брат Дюверже тоже милый человек. Да и страховой агент, в сущности, отличный человек и очень толковый руководитель ложи. Большинство братьев — порядочные и симпатичные люди. Есть двое-трое не совсем приятных; строго говоря, без них было бы проще и уютнее. Например, — Анри Ришар. К ложе равнодушен, да и человек, по совести, неподходящий, довольно дрянной человек, и непонятно, чем он так понравился Анне Пахомовне. Пошловатый любезник и не прочь сжульничать. Ну, Анне Пахомовне развлечение, она мало видит людей, а вот не повлиял бы он плохо на Жоржа. Жорж мальчик восприимчивый, а личное влияние хуже всяких «Забав Марианны».

Мысль Егора Егоровича берет алле-ретур и переносится временно в курорт на парижском пляже, где он видит Жоржа в новых панталонах и теннисных туфлях, а рядом Анри Ришара в каком-нибудь безвкусном пиджачке наглого цвета. К сожалению, тут же Анна Пахомовна. Вообще все эти курорты — плохая школа воспитания («Мосье, если вас не забавляет быть рогатым...»). Анна Пахомовна рождается из морской пены в одном из чрезвычайно предосудительных костюмов, изображаемых летними иллюстрированными журналами. Она не замечает, что это смешно в ее возрасте, — и Егор Егорович болезненно за нее морщится. Куча народу купается вместе, и Жорж приучается пялить глаза на женскую наготу. Бог знает, что делается на этих дешевых курортах; разные бабенки флиртуют всю («Мосье, если вас не забавляет...»). Девчонки подражают взрослым греховодницам, а пожилые женщины корчат из себя несовершеннолетних и мотаются оголенными телесами перед узколобыми спортсменами и нахальными жеребцами типа Анри Ришара («Мосье, если вас не забавляет быть рогатым, то поспешите обратить внимание на поведение вашей жены...»).

Егор Егорович тычет папиросу мимо пепельницы и привстает в постеле. Постойте, постойте! А ведь то письмо могло быть адресовано ему, а не в контору? Что за гадость! Да ведь тогда это — донос на Анну Пахомовну и Ришара!

Некоторое время он держит тело на весу, опираясь руками на тюфяк. Затем он спускает ноги на пол и шарит туфлю. Затем снова отправляет ноги под прикрытие одеяла. Вот так история!

Очень трудно передать весь последовательный ход мыслей Егора Егоровича; легче изобразить его лицо, сначала растерянное, затем негодующее, снова удивленное и наконец покрытое прыгающими около глаз и рта морщинками. Морщинки складываются в невольную гримасу человека, которому очень неловко, но необходимо расхохотаться. Покосившись на левую, девственную сторону постели, Егор Егорович действительно прыскает и заливается добродушнейшим смехом. В этом неожиданном и странном поведении вольного каменщика нет и тени недоброжелательства по отношению к Анне Пахомовне, но все-таки Егор Егорович не может вообразить себе такую грузную и почтенную женщину в объятиях молодого повесы. Затем Егор Егорович строго себя одергивает и старается опять быть возмущенным. Безобразие! Бедная женщина! Конечно, она не узнает о гнусном письме, но все-таки обидно и неприятно, тем более что отчасти она виновата: вот что значит в почтенном все-таки возрасте перекрашивать волосы! Скажем даже, чья-то глупейшая шутка, но все-таки...

Последние мысли и соображения Егора Егоровича развиваются негладко — в силу привычки к правильному образу жизни. В его представлении еще раз мелькает веская фигура Анны Пахомовны с индефризаблями и в купальном костюме, ракетка Жоржа и самодовольное и галантное лицо Ришара. Затем по билету «ретур» Егор Егорович возвращается в Париж успокоенным, его рука направляется к пуговке выключателя, и наступившая темнота оказывает обычное влияние на завидно здоровый организм: вежды Егора Егоровича смыкаются, и ангел-хранитель, похлопав крыльями и обнажив меч, становится в головах постели вольного каменщика.

На негров, издавна населяющих парижский пляж, никакого впечатления не произвело появление белой женщины в костюме, не вполне вмещавшем содержимое. И однако белая женщина была уверена, что

и небо, и море, и люди заняты только ею и, перебивая друг друга, делятся соображениями по поводу спинного выреза ее костюма. Поэтому она задрапировалась халатом, как заранее подготовила дома перед зеркалом, и для начала в первую же четверть часа сожгла в красный уголь левое плечо.

Люди делятся на загорающих и сгорающих; Анна Пахомовна принадлежала к последним. Вечером плечо пылало огнем, а через день начала лупиться кожа. Еще через день приехал Анри Ришар.

И вот все пошло совершенно не так, как живописала в своих предположениях Анна Пахомовна. Ришар не учил ее плавать, потому что сам не умел; впрочем, пляж в этом местечке оказался детским и любители плаванья должны были шлепать по мелким лужам полкилометра, чтобы погрузиться по пояс. Анна Пахомовна предпочитала держаться близ берега и изображать из себя купающуюся в гигиенических целях синичку: она ложилась на три фасадных опухоли, хлопала руками и ногами и сама удивлялась своей неустрашимости.

В программу входили также далекие прогулки в лес (медведи, дикари, бархат лужаек, грибной спорт, лирическая усталость): но вместо леса по всему побережью размахнулись дюны, прогулка по которым была бы утомительна и вязка. Местечко, слывшее когда-то модным курортом, было засыпано песком, среди которого маячило брошенное за бездоходностью и также полузасыпанное песком казино. Негритянское население по вечерам уезжало работать ногами в соседний городок. Жорж проводил в этом городе весь день, так как в местечке не оказалось даже площадки для белостантных любителей метания шариков.

Разумеется, Ришар обосновался в том же пансионе; это почти решало вопрос о падении Анны Пахомовны. А дальше? Дальше — она не вернется в парижскую квартиру, а незаметно поселится где-нибудь в Кламаре или Медоне, печальная и загадочная, пока будет тянуться процесс о разводе. Затем, узаконив свою близость в готического стиля мэрии, они снимут в Париже недорогую квартирку и обставят ее по вкусу Анны Пахомовны. Через Жоржа, который так дружен с Анри, она будет знать о том, как переносит свое одиночество Егор Егорович. Но все-таки это ужасно: после

двадцати двух лет совместной жизни! Ей не столько жаль Егора Егоровича, который скоро утешится праздной болтовней со своими масонами (слеза туманит взор доброй женщины), сколь жаль себя: придется поставить крест на всем прежнем и целиком отдаться интересам французской жизни: ни гречневой каши, ни творогу, и вместо чая — липовый цвет! Анри, конечно, бросит прежнюю службу, — не может же он остаться в бюро под начальством Егора Егоровича; но Анри такой способный и такой образованный человек, ему легко устроиться.

В ожидании неминуемого Анна Пахомовна по ночам запирала свою дверь на ключ и на задвижку, но долго не засыпала, сладостно боясь нападения отуманенного страстью Ришара. Впрочем, Ришар и Жорж по вечерам где-то пропадали и вставали поздно, оставаясь вялыми до утреннего купанья. На явное завоевание Ришаром Жоржа Анна Пахомовна смотрела как на очень ловкий маневр со стороны Ришара; в лице юноши у них был заранее заготовлен верный союзник: мальчик простит и поймет свою мать. И все-таки Анри ошибается, если думает, что это произойдет здесь! Это может произойти только после долгой борьбы, окончательного объяснения, Медона или Кламара и мэрии! Но Ришар достаточно чуток, и потому он ведет себя не только сдержанно и благоразумно, но и с напускным равнодушием, дорожа честью своей и Анны Пахомовны.

Мадам Краус, будто бы датчанка, но, наверное, просто певичка, появилась в пансионе пятью днями позже. В первый же день намазалась йодом или какой-то другой дрянью и объявила себя загоревшей. Она свободно стрекотала по-французски и хлопала по руке не только Анри, но и, в сущности, малолетнего Жоржа. Вырез ее купального костюма был таков, что Анна Пахомовна в сравнении с нею была коконом шелковичного червя и монастырской послушницей. Не говоря уже о спине, мадам Краус была спереди разделена надвое по талии кофейной противно припухлой полоской, над которой колебались на бретельках нервные подробности. С визгом и хохотом мадам Краус вбегала в воду, шлепала по ней пятками, треугольником задирала ноги, пригоршнями брызгала водой в лицо Анри и Жоржа, которые с первого же дня к ней прилепились почтовыми марками. Пускай еще Анри, он

мужчина и держит себя самостоятельно и независимо; но Жорж совсем мальчик — какое безобразие! Анна Пахомовна стала приносить с собой на пляж выписанную сюда на месяц русскую газету и, не обращая никакого внимания на купающихся, мужественно читала не только морские рассказы капитана 2-го ранга, но и статьи высокого смысла, подписанные Юниусом. Хотя теперь по вечерам Анри и Жорж оставались дома и гоготали в салоне с мадам Краус, которая гадала им на картах и напевала итальянские песенки, — Анна Пахомовна, не принимая участия, запиралась в своей комнате и молчаливо возмущалась пансионом, пляжем, дюнами, курортом, поведением Жоржа и тем, что приходится жить под одной кровлей бог знает с кем.

Все дальнейшее развивалось в последовательнейшем порядке, хотя и не преднамеченном. Жорж уехал с мадам Краус играть в теннис; Анна Пахомовна с Ришаром, раскаленные солнцем, вернулись к завтраку в купальных халатах. У комнаты Анны Пахомовны Ришар задержался и, может быть, хотел войти. Это было бы совершенно неприличным, особенно при сложившихся обстоятельствах. Анна Пахомовна, одной рукой придерживая полу халата, другой, обнажившейся до локтя, высоко держась за косяк двери (варьяция позы античной девушки, несущей кувшин), длинной французской фразой, давно вызубренной с помощью самоучителя и франко-русского словаря Макарова, разъяснила Ришару, что она — не та, за которую он, может быть, ее принимает. Тогда Ришар сначала несколько удивился и оторопел, потом, объяснив по-своему фразу Анны Пахомовны, использовал прием, который, по его наблюдениям, неотразимо действовал на женщин всех возрастов свыше семи лет.

Второй раз в жизни Анри Ришару довелось услышать крик, которым дикая народность выражает свое неполное удовольствие; в первый раз это было в кабинете шефа экспедиционной конторы. Не умея падать в обморок, Анна Пахомовна, теперь уже на родном языке, дала точную оценку поведению Ришара, хлопнула дверью и оставила себя без завтрака.

Медон подмигнул Кламару, оба вежливо раскланялись с мэром — и роман Анны Пахомовны кончился.

Хотя Егор Егорович не был тревоугодником, но часто, возвращаясь со службы с ощущением легкого дрожания в пустоте, пытался представить себе, какой обед ждет его дома. За отъездом Анны Пахомовны обед изготавляла мадам Жаннет по женственному французскому вкусу и оставляла его холодным на кухне на всегда готовой вспыхнуть газовой плите. В столовой мадам Жаннет сервировала один прибор, причем экономно накрывала только умеренный сегмент круглого стола сложенной вдвое скатертью.

Отворив дверь и заботливо повесив ключ на гвоздик, Егор Егорович не заметил в передней дамского пальто и зонтика, но сразу обратил внимание, что стол накрыт на двоих. «Разве я кого-нибудь жду? Я ничего не заказывал мадам Жаннет!» Положил портфель, вынул платок, чтобы отереть потный лоб — и увидел в дверях спальни жену:

— Вот приятная неожиданность! Ты вернулась? А Жорж?

«О прости, прости меня!» — воскликнула опозорившая себя, но раскаявшаяся женщина, ломая руки. «Я знал это и был готов к худшему». — «О нет, я осталась тебе верна, клянусь!» — «Не нужно клятва, я верю. Но с этого момента ты перестанешь красить губы и щеки, отрастишь волосы и вся отдашься заботам о муже и воспитании сына. Сначала твои волосы будут пестрыми, но мало-помалу к ним вернется первоначальный цвет, а обесцвеченные концы можно будет отрезать. Согласна ли ты?» — «Да, я это сделаю, и никто никогда не назовет меня ветреной женщиной и крашеной бабушкой. Моим единственным развлечением в часы одинокого досуга будет отныне пылесос». Он протягивает ей руку, которую она хватает и целует. Комната наполняется хныкающими от умиления ангелами, а радио за стеной играет гимн Гарибальди или «Славься-славься».

Именно так мы и закончили бы главу «Забавы Марианны» или даже всю повесть, если бы подобная сцена, сама по себе сильная, хоть немного соответствовала характерам героев. И однако Анна Пахомовна просто ответила:

— Жоржу я позволила остаться и дала немного денег. Но это не курорт, а какой-то ужас. Я предпочитаю сидеть в Париже. Ну, как у тебя?

Но ведь недаром вместе прожиты годы! Егор Егорович понимает. Егор Егорович жалеет. Он искренне выражает радость, даже ощущает эту радость. Он суетится, оживленно перекладывает на столе вилку на место ножа и обратно, он спешит в кухню:

— Вот и чудесно, будем сейчас обедать, я мигом разогрею.

— Оставь, пожалуйста, я сама; я приехала еще днем и все приготовила.

— А ты, кажется, сильно загорела?

— Да, немножко.

Он еще спрашивает о Жорже и не заикается об Анри Ришаре. Анри Ришара нет на свете. Анри Ришар стерт резиночкой в памяти человечества. Анри Ришар не будет больше по средам пожирать паюсную икру и отколупывать ягодки винограда. В сущности, Анри Ришар надоел им обоим, и дружба с ним вредна для Жоржа. Егор Егорович ест с большим аппетитом и старается быть милым и заботливым. Но ведь он и вообще милый и заботливый, как-никак семью кормит, и неплохо. Уж раз Анна Пахомовна вернулась, пробыв на море всего десять дней вместо месяца, значит, так нужно. Она говорит в пояснение:

— А я, знаешь, как-то соскучилась по дому.— Эти слова звучат неудачно, и Анна Пахомовна спешно добавляет: — Сначала думала поехать еще куда-нибудь, но потом решила — право же, не стоит!

— Ну, что ж, я очень рад!

После обеда Егор Егорович читает, а жена моет посуду, хотя обычно это полагается делать утром мадам Жаннет. Перед сном Анна Пахомовна с настоящим удовольствием берет ванну и смывает остатки морской соли. И только в постеле, когда Егор Егорович уже готов расправить крылья, чтобы улететь в иные миры, Анна Пахомовна, настроив голос и наладив слова, говорит с легкой небрежностью:

— Между прочим, Гриша, я должна тебе сказать, что этот твой Ришар оказался ужасным наглецом. Я это говорю вообще.

На несколько минут Егор Егорович откладывает очередной полет. Но так как Анна Пахомовна не делает никаких пояснений, а он не решается спросить, то сложенные крылья расправляются, и Егор Егорович плавными взмахами уносится за пределы

семейных забот и уж слишком ничтожных сует подлунного мира.

Ни на минуту не опустившись на землю, Егор Егорович летает над улицей Конвансьон, над департаментом Сены, над пляжами и безбрежным океаном, который сверху напоминает блюдечко голубого чаю. Путь смелого летчика лежит в страну царя Гильгамеша, строителя города посвященных за семью стенами; но в этом городе, строящемся по единому плану, без права малейшего отступления, за которое гражданину грозит смерть, — в этом страшном городе все стали рабами, хотя и поют о свободе истошным голосом. Напуганный летчик стремится дальше, огибая слишком высокие горы и планируя над ласковыми долинами, где люди простоваты, грешны и нестроги, понимают и прощают друг друга и вместо торжественных гимнов поют веселые мотивчики. Здесь летчику очень хотелось бы снизиться, но его уши все еще напеты враньем о долге, обязывающем человека быть сухарем и лицемером. Оробев, вечный искатель, — он дальше машет уже усталыми крыльями и вместо земли обетованной угадывает вдали все ту же спальню на улице Конвансьон — начальный и последний этап. Ветер свищет в крыльях и выходит через ноздрю. Сегодняшний полет, пожалуй, опять бесплоден.

Ровно в восемь часов Егора Егоровича будит звонок. Накинув халат, он благодарит франком почтальона, принесшего возвращенный почтой, за отъездом в Париж получательницы, уже знакомый пакет с предметами неизвестного назначения, слегка напоминающими запон вольного каменщика.

РЫЦАРЬ РОЗЫ И КРЕСТА

В комнате, насквозь протабашенной, так что по карнизам ползут коричневые драконы, в кресле, единственно удобном для тела старого, а теперь больного, Эдмонд Жакмен, рыцарь Розы и Креста, гонит чтением ноющую боль во всем теле и неотвязную мысль о скором уходе из профанного мира.

Ноги старика закутаны пледом и протянуты на низкий табурет. Свисают к страницам седые брови. Над головой дымное облако, над облаком

железобетон, слой людской начинки, черепичная с трубами крыша, копоть выдыханий Парижа, стратосфера и Млечный Путь.

Вот что сказал ученик:

— Неведомые силы окружают и влекут меня, когда я долго гляжу на струю воды, сквозь которую проникает луч солнца.

Вот что сказал учитель:

— Не имеющее цвета, пройдя через три грани, раскрывает себя в семи различных цветах;

— семь лампад охраняют вход во святилище, и семь звезд великих вращаются по своим путям, начертанным в глубинах мира;

— семь сил неудержных правят вселенной в повиновении закону грех начал;

— это — устремление, и это — покой и движение;

— это — отторжение, и это — призыв и крепость объятий их взаимной связи;

— и это — восхождение вечное.

Старый учитель сурово и глухо кашляет, подавшись вперед, чтобы не слишком содрогалось тело. Прокашляться совсем не может — так, чтобы вдруг наступило полное облегчение: мешает сжимающее грудь кольцо. Не по бедности, а по обычаю предков в его квартире служит отоплением только камин. По тем же вековым традициям камин будет топиться только с первого ноября, будет ли тогда холодно или будет неожиданная теплая погода. Эдмонд Жакмен к давней старческой болезни прибавил простуду. Широкая спина заполнила впадины кресла, ею же за много лет вмятые. Пенсне оседлало мясистый нос, исчирканный красно-синими нитями. Рядом на столике лампа с неудобным абажуром, в коробке гордость национальной мануфактуры — черный смрадотворный табак и трубка с длинным мунштуком, похожая на Эдмонда Жакмена, как законный ребенок.

В этот час не доносится шума улицы и неслышно бродят под потолком тени, наталкиваясь на коричневых драконов и свисая до самой лампы. Против кресла дверь, ведущая в неприятную столовую, вход в которую задернут остывшим кислым дымом. Войти туда некому, потому что Эдмонд Жакмен одинок.

Вот что сказал ученик:

— Твои слова уже давно свили гнездо в моем сердце. Но скажи мне: как можно научиться видеть?

Вот что сказал учитель:

— Свет проникнет в тебя через три грани души и озарит семь ступеней твоего существа; и в этом едином отразится тебе Единое;

— и вот земля раскроет свою глубину, и ты увидишь то, что есть зло;

— тогда ты ужаснешься безмерно, и камни под твоими ногами уподобятся морской пучине, и ты умрешь в отчаянии и снова восстанешь, ибо узнаешь, что ужас твой не был совершенным.

Тогда ученик сказал:

— Мне страшно, Мудрейший, но я готов.

Эдмонд Жакмен набивает и закуривает трубку. Ее концы удлиняются, буравят стены и уходят в беспредельность, где не встретятся. Дым, выкатив пронзенным посредине шаром, образует замкнутый круг над седой головой. Так бесконечна наша мысль и так ограничена в самой себе область, подвластная разуму.

В каминной трубе, упершись костлявыми коленами в одну стенку, рожки воткнув в другую, уныло посвистывает черт средней величины и невысокого чина; так он сидит уже много лет, в глубоком пессимизме опустив мочалкой черный от сажи хвост. Давно известно и ему, и начальству, что этого вольного каменщика им не заполучить в подвальный этаж астрального плана; и не потому, что он рыцарь Розы и Креста, а потому, что он не склонен к политике. С другими просто: выставить его кандидатуру в Палату, помянуть адвокатским барышом или ленточкой Почетного легиона, — и скоро ногами вверх, а вниз козлиной бородкой перевернется потухшая пентаграмма, хлюпочкой заболтается язык и чешуйками сползет непрочная посвященность. Еще дудит попугай конфетные словечки на «d»: *droit, devoir, discipline, démocratie* *, еще бьет себя в грудь лицемер, тараша честнейшие глазки, — но уже с натугой волочит волоком черт на погост его подмоченную добродетель.

Не таков Эдмонд Жакмен, не запятнавший чертежной доски даже проектом доходного дома. И напрасно в его каминной трубе сохнет на сквозняке блюстителю порядка.

Вот что сказал учитель:

— Не страшись смерти — она не властна над

* право, обязанность, дисциплина, демократия (*фр.*).

посвященным. Три силы вознесут тебя на ту высоту, которая доступна твоему сердцу, и там ты узнаешь, что ты жив, и начнешь шириться в своем объеме, и будешь, как мир, и мир будет в твоём теле;

— лишь тогда ты будешь видеть не то, что видят твои глаза, и слышать не то, что слышат уши, но лишь к чему через них коснется твоя душа, рожденная в Свете.

С горы на салазках, с мудрейшего носа сползло стеклянное седло. Из большого грузного тела жизнь не вылетает легкой пташкой; выходя с развалкой и разминкой, она мнет и тревожит усталую плоть. Она борется с упрямым и сильным духом, жаждущим новых постижений. Она напрасно убеждает его: зачем тебе Знание, рыцарь без страха и упрека? *Summum sapientiae doloris summum* *.

За долгий путь жизненный и стаж посвященности Эдмонд Жакмен прошел все семь этапов скитаний вольного каменщика: восторг, сомнение, равнодушие, отрицание, новая вера, знание, исповедание. В ученичестве был пламенным; в товариществе отклонял в стороны символический шаг, соблазнился чистыми линиями разума, искривил лицо усмешкой; в мастерстве шел путем обычным и едва не оступился в профанство, сочтя свой путь завершённым. Мог бы, как многие другие, принять за найденное Слово маленькую пробную истину — и добавить к домашнему благополучию тот клуб порядочных людей, которым для многих стала ложа.

Эти люди входят с ленивым удовольствием в дружеский привычный уют. Им не отсечь небрежным движением руки высокую мысль от животных устремлений, не почерпнуть новых глубин в сиянии лучезарной Дельты. Их левая рука небрежно держит резец, правая не направляет удара. Мохом житейского порос для них кубический камень, на их чертежной доске написан только счет земных благ и барышей. Люди маленькой найденной истины, они спят с открытыми глазами, заменив уютной благорасположенностью тоску по веках утраченному Слову. И не может быть творческого жара в сердце, сросшемся с бумажником в боковом кармане.

Но не заблудился Эдмонд Жакмен на путях царст-

* Во многоей мудрости много печали (лат.).

венного искусства. В дни войны он потерял разом жену и сына; сын был убит, жена похищена испанской болезнью — и он стал одиноким. В памяти остался только голос женщины, делившей с ним жизнь, да детская песня, которой он учил сына, — только самое давнее. Теперь домом стала для него мастерская вольных каменщиков, семьей — мировое Братство. Крест страдания расцвел Розой надежды и творческой любви. И вот — грудь отверстая, и Пеликан кормит птенцов кровью незаживающей раны. Опять — бесконечный путь исканий, и неверно, что Слово найдено в хитрых толкованиях четырех букв, в проповеди Назорея, в обновлении Природы огнем.

По-прежнему тени застилают землю, кровавый пот на осьмиугольном камне и завеса Храма разодрана надвое. Лежат поверженные во прах столпы царственного искусства — Мудрость, Сила, Красота. Тесно людям на земле, отравленной их злобой и враждой. Трусами они заваливают границы государств, тюрьмами застраивают свои города, кровью вытравливают зелень полей, дымом застилают небо. Как круги на воде, возникают и исчезают временные истины, и бессилён разум указать человеку пути к отдыху и спасению.

Чего может достигнуть слабый духом и телом одинокий человек? Только бросить на тлеющие угли остатки хлеба и вина: *consumatum est!* * Но кому передать тайный чертеж недовершенных и недовершимых исканий? *Iis quibus datum est noscere misterium* **. Где эти носители угасающих факелов, сыновья вдовы, рыцари Востока и Запада?

Кашель отдается болью в ногах и пояснице. Эдмонд Жакмен знает, что, если пошевелиться, — боль еще усилится. Он кладет трубку, пенсне, книгу, рукой с надутыми венами разматывает плед, опускает ноги и встает с истинным, но от себя скрываемым мучением, опираясь на толстую палку с резиновым наконечником. Постояв и утишив боль, он переступает ногами и медленно, уверенно и сурово выходит в смежную комнату, неудобную и еще более холодную столовую, трижды обходит обеденный стол, держа равновесие, и тем же мерным шагом, не позволяя

* Свершилось! (*лат.*) — (Евангелие от Иоанна, 19, 30.)

** Тем, кому дано познать тайну (*лат.*).

себе его ускорить, возвращается к креслу. Так он не дает болезни осилить свое тело, так упражняет волю и выражает свое презрение к физическим страданиям.

Черт в каминной трубе недовольно шевелится: ну, загулял старик! Надежды все равно нет никакой, а по долгу службы приходится прислушиваться. Может быть, возропщет или опечалится профанной печалью, испугается близкой смерти. Все дело в том, чтобы мастера, день которого угасает в четвертой четверти герметического круга, столкнуть в нижний астральный план и не дать ему возродиться в ученике и начать новое восхождение к зениту. Задача для простого черта довольно мудреная. Ножку ему, что ли, подставить? Напугать гугуканьем? Средства, достаточные для пугливого профана, но ничтожные в борьбе с посвященным каменщиком.

И почему такая несправедливость? Достаются же другим легкие номера, иногда даже пачками — свяжи одной веревочкой и тащи. Тоже и там говорятся слова и пускаются в ход чувства, — но в час расплаты улетает легковесный багаж мыльным пузырем. А тут камень веры и мудрость строителя. Крест черту не страшен — непобедима расцветшая Роза! Знает черт, что карьера его испорчена и не ждать ему награды даже за выслугу лет в проклятой трубе. Размазывая по лицу сажу, он плачет черными слезами.

Теперь Эдмонд Жакмен не чувствует никакой боли, ни в ногах, ни в груди, ни в пояснице, а если и чувствует, то иным занята его мысль. Пока силы не оставили человека и пока он ими владеет, — работа не должна прекращаться. Тяжкое время переживает Братство, втянутое в заботы и раздоры мира профанов. Если теми же путями пойдет оно и дальше, — не пресечется ли традиция, связующая его с посвятельными союзами всех времен и народов? Кто должен быть на страже башни, не рыцари ли Розы и Креста?

Эдмонд Жакмен включает верхний свет и становится за креслом, держась руками за его высокую спинку. Именно так, высокий, седой и строгий, подымется он на Востоке лицом к долинам. И в свою последнюю речь он вложит не опыт жизни мирской, не мысли своего давнего одиночества, а выводы приобретенной в строительстве, пусть несовершенной и неокончательной мудрости.

Эдмонд Жакмен скрещивает на груди руки знаком

Доброго Пастыря и набирает полную грудь воздуха. Но первое его слово прерывается мучительным кашлем старого и больного человека. Кашель отдается болью во всех членах, и руки едва удерживают его в величественной позе. Он кашляет долго, и его голова, налившаяся кровью, печально никнет.

Проходит несколько минут, пока силы старика восстанавливаются,— но высокий порыв уже прошел. Перед ним больше нет братьев, ожидающих его слова,— он опять один. Больной, но не сдавшийся. И, твердо памятуя о том, что никогда печаль не должна завершать строй мыслей вольного каменщика и что даже глубокому трауру должна сопутствовать яркость красок и хотя бы малая радость,— Эдмонд Жакмен, старый учитель, рыцарь Розы и Креста и кавалер Кадош, вытерев платком протабашенные усы и не меняя прежней позы, как бы боль ни манила скорее сесть в покойное кресло,— голосом густым, сипловатым и беззубым, слабость подавляя странной и почти страшной улыбкой, поет первую песенку, которая вспомнилась и какой он когда-то обучил своего сына:

Arlequin fit sa boutique
Sur les marches du palais,
Il enseigne la musique
A tous ces petits valets.

И дальше, веселее притоптывая больной ногой:

A monsieur Po, à monsieur Li,
A monsieur Chie, à monsieur Nelle,
A monsieur Polichinelle *.

СОЮЗ ОБЛЕГЧЕНИЯ СТРАДАНИЙ

В зодиакальной двенадцатнице лето — огонь! Воля! — сменилось осенью — воздух! Дерзание! Тяготы жизни вынудили многих переменить квартиры — из

* Арлекин свой балаганчик
Устроил у дворцовых лестниц,
Его музыке послушны
Были маленькие слуги.

...
И месье По, и месье Ли,
И месье Ши, и месье Нель,
И месье Полишинель. (фр.)

четыре комнаты втиснуться в две, из двух — в одну большую с кухней, но без ванной. Французская академия наук закончила словарь живого языка и, не передохнув, начала его обновление с первой буквы. Были пересмотрены правила взаимоотношения пешеходов и автомобилей. В остальном жизнь, летом потно дремавшая, подтянулась и покатила по вылизанному резиной асфальту. Парка Глото возилась с клубком, на который при рождении наматывается нить жизни. Парка Лакезис, единственная из сестер работающая, ткала дни и события. Старшая, Атропос, женщина без предрассудков, чикала, где полагалось, нить жизни ножницами.

В день субботний, приятный краткостью служебных часов, Егор Егорович зашел не в своем квартале купить эфиро-валериановых капель, которые, со дня возвращения с пляжа, Анна Пахомовна истребляла без счетчика. Каплями пахло в квартире, на лестнице и в подъезде, и кошки из этого и из соседних домов бродили удивленными и ошалелыми, принимая октябрь за март. Расплатившись и сунув пузырек в карман, хотел уж выйти, но был остановлен приветственным окликом свыше: постукивая о притолоку внутренней двери, Егору Егоровичу кивала голова хозяина аптеки. Затем он был уведен в прилегавшую к магазину комнатку, где из ступочек и колбочек, пузырьков и баночек, коробочек и порошков латинская кухня посылала в воздух настойчивую отраву.

— А я и не знал, где вы процветаете!

Аптекарь с улыбкой широчайшей и долгим трясением руки сказал:

— Рад, что хоть случайно зашли. Давно хотел заманить к себе и братски поболтать. Людей вижу много, а поговорить не с кем. Позвольте угостить аперитивом. Изготовление свое.

В чистую стеклянную стопочку с делениями налил зеленой жидкости, долил из другой бутылки дистиллированной воды, — и такую же порцию себе.

Егор Егорович осторожно пригубил:

— Нечто крепковатое!

— Оценили?

— Как будто пахнет полынью. Прекрасен аметистовый цвет. Не абсент?

— L'amertume de la vie *. Ваше здоровье, мой дорогой брат.

Аптекарь был вытянут в длину с таким расчетом, что, когда он сидел на низком стуле, взвив к небу коленки, то был похож на цифру четыре, как ее пишут на счетах прачки и мясники. Щеки, подбородок и губу брил начисто ежедневно в семь утра; но уже к полудню его лицо напоминало истертую о слоновьи клыки зубную щетку. Был худ и подержан, как вышитая крестиком закладка молитвослова. При всем том был живописен и очень симпатичен, хотя без улыбки казался несколько суровым. Улыбка зарождалась в левом уголке губ, затрагивала нос — и внезапно разлившись по морщинам, запинаясь за ухо и легко скатывалась по жилистой шее за воротничок, откуда, вероятно, распространялась и дальше. Волосы аптекаря, ростом до восьми сантиметров, на висках меньше, были вытесаны из строевого леса, стояли хором перпендикуляров в количестве, сохраненном с детства; и от этого весь он в целом был похож на кисть талантливого художника, намеченную для разрисовки потолка.

Братья по ложе, они за все знакомство перекинулись едва двумя-тремя фразами. Теперь, встретившись непреднамеренно, обрадовались друг другу с искренностью, свойственной только исповедникам предвзятой приязни, привыкшим смотреть в глаза, а не коситься на зубы. Впрочем, Егор Егорович вообще верил, что у каждого человека растет на лопатках хотя бы одно ангельское перышко, только нужно до него доцарапаться; мосье Русель таких обобщений не делал (французы не любят обобщений: да здравствует Франция!), но проникся расположением к русскому брату с того вечера, как — по его призыву — положил в кружку вдовы лишние сорок су.

Некоторое время молча потягивали раствор перламутра и оба смущались, что беседа не завязывается. Так встретившись, два профана не преминули бы рассказать друг другу то, что оба одинаково прочитали в газете; но всегда — свой разговор у повстречавшихся вольных каменщиков; даже и на чужих людях они сплетаются глазами и молча говорят про свое. Егор Егорович первым почувствовал необходимость частично опорожнить душу, высыпав сокровенное в ушную раковину дорогого брата:

* — Горечь жизни (*фр.*).

— Вот вы, брат Русель, старше меня стажем, хотя годами мы, вероятно, состязаться не будем. Скажу вам по чистой совести, меня как-то не вполне удовлетворяет наша работа. Все это, конечно, хорошо и приятно, но разве нельзя как-нибудь развить, что-нибудь такое, знаете, делать существенное? А то как будто больше слов, чем дела.

Аптекарь встал, изломал четыре и, нагнув голову, превратился в семь. Он говорил то без запятых, то с точками в неподходящих местах. Он рад, что брат Тэтэкин поднимает этот вопрос. «Вот я. И не один я. Ритуал — да. Важно. Просто развлечение... тогда не стоит... или же высокая цель братства... и не напрасно говорится... царственное искусство... вы совершенно правы. Думаю. Как? Двое-трое. Еще двое-трое. Пятеро. Наконец, объединение... и вовлечет всех соборно... и начать сегодня. Непременно. Вот сейчас. Э?»

Егор Егорович понял и восхитился:

— Я тоже думаю — сразу и не откладывая, вот хоть сейчас. Хотя бы вот вы да я, мы с вами, а потом примкнут.

— Да. Маленькие. Хотя бы.

— Именно. Хоть какой пустячок, лишь бы прищепка. Приятно, брат Русель, что мы друг друга легко понимаем. Именно нужно, когда решили, так тут же, сейчас же, не выжидая. Что-нибудь. Скажем, — помощь. Я знаю, что маленькой благотворительностью наши задачи не исчерпываются. Это — полутное. Нужно там добиваться понять причины и цели бытия. В смысле познания природы, брат Русель. Откуда мы, куда мы и прочее. Но на голой философии, брат Русель, душа-то, моя душа и вот ваша душа, не успокаиваются.

— Не успокаиваются.

— И надобно...

— Что-то такое...

— Особенное. Какое-нибудь этакое, знаете, пустяк, но чтобы действительно. Что-нибудь делать.

— Оправдание.

— Именно оправдание, как бы доказательство, что не просто так, одно прекраснотушие.

Тут приотворилась дверь и рука просунула в нее бумажку. Аптекарь бросил на бумажку взгляд и сказал в дверную щель: «Сейчас, подождать». Затем он с бы-

стротой и ловкостью, поразившими Егора Егоровича, разможжил в ступочке какой-то орех, пересыпал на чистую бумажку, подбавил не то гипсу, не то сахару, завернул пакетик быстрым перебором длинных пальцев и отметил чернилами номерок на рецепте и на пакетике. Егор Егорович подумал: «Вот это действительно работник, а ведь легко и ошибиться». Затем брат Русель вышел в магазин, побыл там минуты две и вернулся смущенным и даже слегка покрасневшим.

Егор Егорович вежливо спросил:

— Не мешаю ли я вам?

Аптекарь, не ответив, залпом допил свою стопочку и, комкая слова, сказал:

— Чрезвычайно одета. Плохо. Отпустил так.

— А что такое?

— Бесплатно. Gratis *. Очень бедный квартал. Благодарю вас, брат Тэтэкин.

Егор Егорович зашпешил, полез в карман жилета и убедительно зашептал, как будто речь шла о предмете не только секретном, но и не очень-таки чистом:

— Непременно пополам, брат Русель. Это сколько?

Вцепившись друг другу в волосы, они катались по полу в равной борьбе, с заплаканными глазами. «Это мое!» — кричал один, но другой перекрикивал: «Пусть это будет общим, брат Русель, условимся так!» Если бы не предшествовавший разговор, аптекарь ни за что бы не уступил. Сквозь стену дома с улицы на них смотрела изумленная женщина с микроскопическим порошком в руке; этого она никак не ожидала. Наконец Егор Егорович положил аптекаря на обе лопатки, после чего они проглотили пополам порошок: на каждого пришлось по полтора франка. Получив с монеты десять су сдачи, Егор Егорович опять зашептал скороговоркой:

— Это ужасный, ужасный пустяк, дорогой брат Русель, но это нужно. Сказали «сейчас» — сейчас и начали. Я небогат, однако свободно располагаю, ну — пятьюдесятью, я думаю, даже ста франками в месяц. Например, — вы будете записывать, и мы будем делить. Если мы привлечем третьего, четвертого, вы понимаете? Тогда на три и четыре части. И это уже нечто! А я все думал: что бы такое придумать? В полной тайне, конечно.

* Даром, бесплатно (лит.).

Опять, не заботясь о запятых, но спотыкаясь на точках, брат Русель разъяснил Егору Егоровичу, что «в этом квартале бедность... иногда жалко до слез... без работы... общественный суп... дети... самому туго. Но. Не голодаю же. Тоже могу сто. Будут осаждают. Иначе слова... Соломонова храма грубый камень... готовность к смерти... вашу руку, брат Тэтэкин. Даже если наивно. Но почему? Имеет смысл. Позвольте налить вам еще этой продукции?»

— Однако — крепковато!

Они простились с притворным равнодушием и шутливостью. Но Егор Егорович вложил чувства в рукопожатие. Милый человек аптекарь. Сразу видно, что прекрасный и милый человек. Чудаковат, но без фраз. Множество на свете превосходных людей, но мы как-то проходим мимо, не замечая. Бородавку видим, а чистое и свежее лицо ускользает. Брат Жакмен не примкнет; он занят интересами высшего порядка, не всякому доступными, хотя тоже — чудесный человек. А вот с кем снестись — с братом Дюверже! Да всякий присоединится к настоящему делу! Сначала трое, потом пятеро, а уж если десять человек — это прямо замечательно. И полнейшая тайна!

Идя домой, Егор Егорович легко отбрасывал пятку, и ему казалось, что он катится на кожаных колесиках. Нет, мир, во всяком случае, не погиб! Вот так идешь, ничего не знаешь, и совсем нечаянно натыкаешься на человека, несущего в себе точно такие же добрые намерения. А высказать не решается или просто некому. И мысль пропадает зря, без выполнения. Порошки, например, можно отпускать в каких-нибудь треугольных пакетиках; и это все — ничем себя больше не выдавать. Кто такие? Да там какой-то союз филантропов, так себе, балуются пустые люди! И довольно, ни малейшего опровержения. Ничего, голубчик, не знаю, ничего не знаю, сам я тут ни при чем. «Общество бесплатного отпуска бедному населению медицинских препаратов». Длинновато. «Союз помощи»... Не в названии дело.

Шли люди непрерывной вереницей, толкались локтями и, незаметно для Егора Егоровича, щелкали его в затылок под поля шляпы: «Шалишь, дурачок?» Посередине улицы двигалась процессия аптекарей и фармацевтов в белых балахонах; впереди везли гильотину,

а к ней на цепочке был привязан брат Русель. Его казнили на рассвете, не как преступника, а как помещанного. Два ангелочка надоели вожатым трамваев и автобусов: на каждой остановке они соскакивали, обегали улицу, ища третьего и четвертого для участия в жертве и опознания подмигнувшей им истины. Третий и четвертый прятались от них под кроватями, в шкапах и центральных отоплениях. Промчалась на велосипеде женщина, везя треугольный пакетик с надписью «Gratis»; она оказалась консьержкой; она спешила на почту внести накопленные за неделю чаевые; близок час, когда она купит лавочку с вывеской «Вино и угли». Кошки на улице Конвансон бешенствовали и рвались: в кармане вольного каменщика протекал пузырек. И наконец Анна Пахомовна сказала:

— Куда ты пропал, Гриша? У меня ужасно, ужасно... Ты купил капель? И что с тобой, у тебя красные глаза.

— Немножко устал. Но в общем прекрасно. Ты не можешь себе представить, какие есть на свете изумительные люди.

— Почему люди? Ты что-то пил?

— Разве? Действительно, япил какую-то жидкость, совершенно случайно, даже чуточку голова кружится, пожалуй, полежу.

И увидел во сне огромную бутыль, может быть, карстового масла, с надписью:

«Союз облегчения страданий. Бедным бесплатно».

Из реквизита кукольного театра высовывается всклокоченная седая голова забытого резонера, бывшего казанского профессора Лоллия Романовича Панкратова. Колеблясь на ниточках и смешно переставляя ноги, Лоллий Романович плывет по сцене и останавливается против замершей и обвислой фигурки главного героя этой повести. Шлепая подвязанной челюстью не вполне в такт словам, он говорит голосом автора, спрятавшегося за сценой:

— Рад вас видеть, дорогой Тетехин, в цветущем здоровье и бодром настроении. Впечатление такое, как будто вы наделали кучу добрых дел. Как поживает Анна Пахомовна?

Выясняется, что Анна Пахомовна поживает ничего

себе, если не считать нескольких ведер валериановых капель и повального бешенства окружающих вырожденцев тигровой породы. Жорж окончил экзамены и уже именуется инженером. При этом Жорж сделался французским гражданином, но продолжает хорошо относиться к родителям, во всяком случае, к матери, а впрочем, и к отцу, на средства которого он пока живет. Как инженер и французский гражданин, Жорж понимает недостатки Егора Егоровича, бывшего почтового чиновника, бывшего русского, а теперь нансеновского подданного. Но Жорж не виноват, что случайно родился русским; этот природный недостаток поправлен натурализацией, приобщившей его к высшей латинской расе.

— Скажу вам, Лоллий Романович, что мне это не особенно приятно. Как-то... раз уж ты русский, то и оставайся русским. Но мальчику была закрыта всякая дорога, а работать и жить ему надо, так что я и не препятствовал.

Лоллий Романович вообще неясно представляет себе, как мог бы дорогой Тетехин кому-нибудь в чем-нибудь препятствовать. Очевидно, профессор забыл о случае с Марианной. Пока трепыхается и жестикулирует фигурка вольного каменщика, его собеседник мирно висит на ниточках; затем опять его очередь:

— Мы уже в таком возрасте, что вряд ли, в случае международных осложнений, встретимся с Жоржем на поле брани с разных сторон. Но что вы скажете, дорогой Тетехин, вообще о гибели культуры в современной Европе?

Этот вопрос вводится в разговор кукол с целью пробудить особое внимание зрителей своею важностью; до сих пор речь шла о пустяках, не возвышаясь к вопросам мирового значения. Пальцы на потолке перебирают нитки, дергают коленки собеседников, и обе фигурки усаживаются за обычный столик углового кафе.

Воспроизводить последующее фонографически было бы утомительным. Поэтому ограничимся тезисами каждой стороны.

Тезисы дорогого Тетехина таковы. С культурой, конечно, неладно. Спасти ее можно только соборным действием избранных людей, которые сначала обрабатывают сами себя, затем друг друга, затем и весь окружа-

ющий мир. Было бы странным, если бы тезисы вольного каменщика были иными.

Против этого стройного, но не очень практического плана действий Лоллий Романович выставляет следующие доводы. Пока самообработка и шлифовка других произведут желаемый эффект, во всех странах выдвинутся вперед настоящие дельцы, с узкими лбами, шерстью на груди и спине и резиновой палкой в руках. Первым делом они высекут адептов самосовершенствования, затем так называемых представителей народа и, наконец, всех остальных. Таким образом прежде всего установится равенство.

— Но, Лоллий Романович, вы не можете этому сочувствовать?

Сочувствовать Лоллий Романович не может, но его сочувствие или негодование не играет никакой роли. Столь же мало значит, будет ли вольный каменщик дрыгать ногами или будет спокойно висеть на ниточках (смех в зрительной зале). Человек не потому раб, что не может завоевать свободу и при ней остаться, а потому, что быть рабом чрезвычайно удобно и гораздо менее хлопотно. Временная боль в ягодицах компенсируется полнотой пассивных прав: права не размышлять, не рыпаться и ни в чем не каяться. Сложность полета мысли заменяется готовым Евангелием, Кораном, Торой и сводом законов. Энергия, напрасно затрачиваемая на борьбу, может быть употреблена на молебны и восторженные оды. И нет места покаяниям, когда ответственность возложена на действующих розгой.

Егор Егорович отказывается понять, как такой умный и передовой человек, как профессор Панкратов, может с легким сердцем высказывать подобные мысли. Это даже и в шутку нехорошо! Разумеется, Егор Егорович признает, что каждой стране потребна твердая и сильная власть...

Профессор, дернутый за среднюю ниточку, подпрыгивает до потолка. Он даже и не заикался о том, что п о т р е б н о; он говорил только о свойствах человеческой натуры. Но если п о т р е б н о, то пожалуйста! И дальше его собственные слова:

— Вы только представьте себе, дорогой Тетехин, как прекрасна будет жизнь. Встав утром в указанное время, вы молитесь на портрет вождя, ставите себе

противобунтарскую клизму и идете в ближний участок немного посечься. Затем, освеженный, вы читаете газету, в которой изо дня в день перепечатывается один и тот же текст, но число и номер ставятся заново. Благодаря этому вы заучиваете наизусть, что принадлежите к величайшей нации и величайшему государству и что все остальные люди — бяки, подлежащие уничтожению. Напитавшись таким сознанием, вы идете служить, то есть становитесь на задние лапы, складываете ладони и усиленно смотрите на подвешенный кусок сахара. Закончив трудовой день, опять в участок посечься — и домой спать рядом с разрешенной вам государством и церковью женой. Ваши сновидения, конечно, просматриваются и одабриваются цензурой. Если такая жизнь вам почему-либо не нравится, то вы об этом заявляете, и вас уничтожают принятым в данной стране способом: гильотиной, виселицей, топором, пулей, удушением или электрическим током.

Егор Егорович слушает профессора с большим неудовольствием. Подобных шуток он не любит. Он знает, что в мире не все благополучно, но верит в обновление человечества проповедью свободы, равенства и братства, а главное — любовью и стремлением к познанию истины. Лоллий Романович озлоблен тягостями личной жизни и, очевидно, утратил веру в прогресс человечества.

И однако — дух Егора Егоровича смущен. Действительно, с такой угрозой, как порабощение человеческой личности, невозможно бороться только бесплатным отпуском лекарств против расстройства пищеварения. Но как же быть и что делать? Выйти на улицу и кричать истошным голосом? Стрелять из револьвера и бросать бомбы?

Пользуясь тем, что дело происходит в кукольном театре, Егор Егорович делает опыт: упирает в плечо приклад винтовки, зажмуривается и нажимает собачку. Оглушенный выстрелом и покалеченный отдачей, он оглядывается и видит перед собою труп профессора, залитый клюквенным морсом. Один глаз Лоллия Романовича хитренько прищурен и продолжает издеваться над дорогим Тетёхиным. Егор Егорович выбегает на улицу и бросает бомбу. В образовавшейся на мостовой воронке усматривается разбитый автомобиль, куски женщин и детей, пудреница и раненая собачка. Нет,

это, во всяком случае, не по душе Егору Егоровичу; что угодно, но к кровавой борьбе не способен!

Вытирая остатки морса, профессор говорит иронически:

— Ну, что ж, тогда действуйте облаточками хины и каскарасаграда. Или запишитесь в политическую партию, все равно какую, и оглашайте окрестности ослиным ревом. Осел — народец полезный, терпеливый и бичуемый. Под таким именно девизом выходил некогда юмористический журнал в одной стране, которая первой и доказала справедливость изречения.

— Зачем вы так говорите, Лоллий Романович? Есть же иной путь...

— Есть еще один путь, дорогой Тетехин, который я и избираю.

Профессор выпивает огромный бокал цыкуты и умирает.

Конечно, мы неточно воспроизводим разговор старых друзей и побочные события. Профессор не умирает, а с трудом взбирается на седьмой этаж, где он довольно дешево снимает комнату для прислуги, светлую и без отопления. Комната завалена нарезанным картоном, из которого клеятся коробочки для патентованных лекарств. «Ваш муж перестал вас любить. Натирайтесь дважды в неделю этой мазью, и к вам, вместе с чудесным цветом лица, вернется семейное счастье». «Последнее завоевание науки — нет больше лысых волос! Излечиваем совершенно и навсегда секретно без уколов в запечатанном пакете. Отзыв известного писателя Дурындина: с тех пор как я стал употреблять...» На некоторое время профессор обеспечен работой по своей специальности. Дверь мансардной комнаты выходит на балкончик. К перилам приделана деревянная доска, на которой профессор, в дни благополучия, рассыпает хлебные крошки, — как было в Казани. Французские воробьи ничем не отличаются от казанских сородичей; они решительно не допускают, чтобы хлеб предназначался не для них, и потому проявляют чудеса хитрости и ловкости, стараясь похитить крошки, оставленные двуногим простаком. Профессор наблюдает за ними через пыльное стекло и каждый раз, хотя и неохотно, вспоминает, что там можно было видеть в окно довольно обширный сад и лоб чудака Лобачевского.

Затем он погружает кисть в банку с клейстером и препятствует мыслям принять нежелательный оборот в связи со случайными воспоминаниями. Клеит он быстро, аккуратно, опытной рукой, напевая на похоронный мотив недавно произнесенную им итальянскую фразу об осле:

— Asino è il popolo itile, paziente è bastonato*.

Раз в неделю аптекарь утраивается: триптих святых чудачков. Святой Жан-Батист Русель посередине, в высоту едва уместаясь в рамке; по бокам — весь в улыбке святой Георгий Тэтэкин и святой Себастьян Дюверже, вообще говоря — торгующий обоями (братьям скидка 50 процентов). Егор Егорович держится весело и восхищенно, брат Русель — серьезным хозяином, брат Дюверже — уважительно и с отсутствием юмора. Этот последний обладает удобной наружностью человека, которого мы сегодня уже два-три раза встретили на улице и столько же раз вчера; нет оснований думать, что мы не пожмем его руки завтра. Себастьян Дюверже вполне сознает свою обыкновенность и относится с уважением и как бы удивлением к своим компаньонам по тайному обществу отпуска медикаментов бесплатно.

Когда Егор Егорович предложил брату Дюверже эту странную операцию, обойщик не сразу понял ее смысл. Сначала он подумал, что в проекте русского брата и аптекаря есть какая-то коммерческая выгода (как есть она в скидке 50 процентов с цены обоев) и, еще не дослушав до конца, решил примкнуть. В дальнейшем из необыкновенно пылкой речи брата Тэтэкин он понял, что коммерческой выгоды нет, а есть чистый убыток, — и тоже решил согласиться, но, так сказать, с ограниченной ответственностью. Наконец до его сознания дошло, что ему попросту предлагается жертвовать франков пятьдесят в месяц на отпуск неимущим йода, салицила и слабительного. Тут его мысль начала путаться, а вместо нее заговорило то неразумное, щекочущее, но приятное чувство, которое он привык испытывать на тайных собраниях ложи, но в природе которого никогда не мог разобраться. В этом, собственно, и была приятность и беспокойно-притягива-

* — Осел — народец полезный, терпеливый и бичуемый (*ит.*).

ющая сила. Подсчитав мысленно свои возможности, брат Дюверже, по деловой привычке, не сводя глаз со случайно расстегнутой пуговицы на жилете русского брата и потеряв нить его путаной речи, решительно и суетливо забормотал, что готов дать столько, сколько дадут компаньоны, чтобы уж все поровну. Сто так сто! И, в некотором ужасе, будучи человеком весьма среднего достатка, потянулся за бумажником, хотя пока денег не требовалось. При этом он так и не понял, как это получилось, а кстати — почему до тех пор никому не приходила в голову столь блестящая финансовая операция? По уходе достойного брата Себастьян Дюверже некоторое время растерянно улыбался, потом покачал недоверчиво головой и принялся за подведение итогов делового дня.

Раз в неделю заговорщики встречались в аптеке Руселя, который представлял аккуратно выписанный на бумажку секретный счет. Егор Егорович отмахивался и просил просто сказать ему, сколько полагается на его долю. Дюверже, наоборот, внимательнейшим образом проглядывал отчет, деловито хмуря брови на таких обозначениях, как *Sacodylate de soude á 0,05, Urotropine et Charbon pulvérisé*, строго подсчитывая цифры расхода и медленно, на бумажке, деля его на три. Результат он записывал в свою книжечку и отмечал дату недельного расчета. С такой же аккуратностью он пересчитывал и полученную от Руселя сдачу со стофранкового билета и клал ее в особый карман. Все это выполнив, делался добродушным и даже шутил, рассказывая анекдот, которого, за ветхостью, уже никто, кроме него, во всем Париже не рассказывал и который в его изложении терял и то, что имел в молодости.

Всякий раз между тайными дельцами возникал спор: аптекарь настойчиво указывал, что делить расход на три части несправедливо, так как сам он, получая за медикаменты две трети их продажной цены, не только ничего не теряет, а еще имеет некоторую наживу, и что поэтому достаточно, если компаньоны будут совместно уплачивать только половину. Пропуская запятые, он хмуро выкрикивал:

— И притом. Хотя с выбором только очень бедным... об этом болтают... увеличилась клиентура платных... валят толпами. Не ожидал. Реклама. Что?

Наживаюсь... вид благотворительности... даже если пустяки... несправедливо... пересмотреть соглашение... достаточно пополам... вы оба... половина моя. Иначе. Освидетельствовать при-куран. Вот.

Егор Егорович горячо возражал, что нужно учитывать труд брата Руселя и его реальный убыток. Дюверже вслушивался беспокойно, туго соображая, и пытался высчитать на бумажке, но не знал, что именно. Побеждало всегда красноречие русского брата, и все заканчивалось тремя шипучками (сода, кислота, aqua distillata*), так как от абсента Егор Егорович отказывался — в тот раз немножко болела голова.

Они расставались неохотно, по нескольку раз пожимая друг другу руки. Выходя из аптеки, оба каменщика смущенно косились на покупателей: нет ли среди них неопознанной жертвы их заговора. По их уходе Русель принимался за прерванную развеску порошков и порошочков, откладывая в особый шкафчик пакетики с недавно заказанной печатной наклейкой, на которой слово «gratis» было включено в равнобедренный треугольник.

В мире прибавилось трое счастливых людей, несколько смущенных своим счастьем: суровый аптекарь, удивленный обойщик и восторженный шеф отделения экспедиционной конторы. Это очень много, когда в одном и том же городе есть три счастливых человека, три ребенка одной ложи-матери, три истинных сына вдовы из колена Неффалимова! И если может быть сомнение в безграничности их любви к человечеству, то их взаимное любовное тяготение было вне спора. «Побольше бы таких людей», — думал о новых друзьях Егор Егорович. «Весьма», — бормотал про себя аптекарь. Торговец обоями удивленно мыслил: «Настоящие деловые люди!»

ИСПЫТАНИЯ

Ход повести заметно ускоряется — всякая лошадка бежит домой быстрее, наверстывает время вечерний автобус по опустевшим улицам. Увлечшись так хорошо знакомым образом, мы представляем себе радость шофера, который вот сейчас сдаст в депо машину и отправится домой; дома он, вероятно, закусит и ля-

* дистиллированная вода (лат.).

жет спать, потому что рабочий человек встает рано. Но неужели он пойдет домой пешком, он, перевозивший за день столько народу? Множество попутных вопросов: что делает шофер, так сказать, на суше, когда он свободен? Вспоминает ли он и на досуге лица пассажиров, рассказывает ли жене какие-нибудь любопытные сценки и случаи из своей служебной практики? «Знаешь, что случилось? Еду я нынче через площадь Согласия, народу, конечно, видимо-невидимо, даю гудки...» — и дальше подробно описывает вплоть до момента, когда вместо автобуса запылала на площади свеча.

При этом, в качестве любопытного, присутствовал и Егор Егорович Тетехин, который, увидав пылавший автобус, воскликнул: «Что же это делается?!» По несчастной случайности, Егор Егорович оказался в передних рядах напиравшей толпы, хотя не был ни комбатантом, ни поросенком из «Аксон Франсэз». По ту сторону выстроились ряды полицейских, но, кажется, это не те самые, которые стоят с палочками на перекрестках, а особо выкормленные и натасканные. «Как бы не вышло потасовки!» — думал Егор Егорович, пытаясь любезно уступить свое место более активным элементам и косясь на подоженный вагон. И однако напором нескольких тысяч его подносило к мосту. Излишне пояснять, что вольный каменщик не принимал никакого участия в пении, гугуканье и грозных криках. Его личные симпатии были всецело на стороне общего примирения и проявления истинно братских чувств. И даже, увидав близ себя гогочущего субъекта с довольно неприятной физиономией и узнав в нем издателя «Забав Марианны», Егор Егорович мог бы и ему протянуть руку, хотя отнюдь не одобрял его поведения и его воинственных и непочтительных возгласов по адресу республиканского правительства. Собственно, только по характеру этих восклицаний Егор Егорович и понял с ясностью, что попал в толпу напрасно.

Когда раздалась первые выстрелы, Егор Егорович быстро заулыбался, тем самым показывая, что, во-первых, он тут ни при чем, а во-вторых, он не верит, чтобы в Париже могли по-настоящему стрелять в толпу, хотя бы и очень грозно наступавшую. Можно бы, например, дотянуть до обеденного времени, и тогда все равно граждане разойдутся по домам

и рестораникам, опасаясь гнева жен или в расчете застать обед при-фикс, а иначе придется заказывать по карточке, что невыгодно. В частности, Егору Егоровичу, как русскому, достаточно своей революции. Хуже всего было то, что бежать было невозможно, попросту — некуда. Старательно пятясь по мере сил, он вдруг увидал, что какой-то вполне приличный по виду господин сначала упал на колени, а потом разлегся на очищенном месте, как у себя дома. Тогда улыбка сошла с лица вольного каменщика, и, уже не стесняясь и не оправдываясь, он с усилием втерся в отступавшую толпу. Стиснутый сторонними плечами и спинами, по привычке беспрестанно повторяя: «pardon»* — он не столько пустился на утек самостоятельно, сколько был увлечен течением. Что у него оказался разорванным карман пальто, он заметил только на набережной у следующего моста, когда близорукими глазами искал шляпу, потерянную гораздо ранее и подобранную уже не им.

Все это было далеко не смешно, в особенности для человека, попавшего в Париж из Казани проездом через Сингапур, то есть человека, верующего в революционные возможности. Шляпа стоила пятьдесят девять франков, такси еще восемь, потому что в феврале только люди будущего могут гулять с обнаженной головой. Прибавим, что Анна Пахомовна встретила мужа словами: «Ну, знаешь...» — и что пришлось объяснять ей чистейшую случайность растерянного вида и разорванного кармана. Одним словом, все эти события произвели на Егора Егоровича впечатление сильнейшее.

Оно усилилось в последующие дни, когда и улица и обслуживающие ее газеты вплели в горячку необузданного спора резкую брань по адресу той братской организации, которой Егор Егорович отдавал не досуг и любопытство, а свой ум и свое открытое лучшим чувствам сердце. С ужасом и недоумением он прочитал, что это он стрелял в себя на площади Согласия, он виноват во всех несчастиях, как подстрекатель политической склоки, участник всех преступлений, мошенничеств, подлогов, убийств, взяточничества, что карты Егора Егоровича, наконец, раскрыты, и его уничтожат вместе с аптекарем и владельцем розничного обойного

* «Извините» (фр.).

магазина. Егор Егорович пытался объяснить, что тут ошибка и явное недоразумение, так как, напротив, и он сам, и Жан-Батист Русель, и Себастьян Дюверже, и еще многие, да попросту все, включая и страхового агента, который, конечно, получает свой процент со страховых полисов, но человек превосходный, все они — люди мирные и честные и готовы это всячески доказать; что, по их общему мнению, лучше никому не ссориться, а всем обняться и скорее приступить пока к ремонту, а затем и к дальнейшей постройке Соломонова храма. Могут, вероятно, и в такой отборной среде оказаться не совсем хорошие или даже совсем нехорошие люди (Егор Егорович ни на кого не намекает), но в каком же обществе они не встречаются? Вольные каменщики — обыкновенные люди и за святых себя не выдают. Но даже Анна Пахомовна возражала на это с невозмутимым хладнокровием и присущей ей рассудочностью:

— Ты просто ничего не знаешь. А я была с самого начала убеждена, что этот твой Ришар втянул тебя в самую грязную компанию. Он и Жоржа пытался свести с одной безнравственной особой...

Не договорив, Анна Пахомовна, подавляемая воспоминаниями, запиралась в спальне и проглатывала очередную эфиро-валериановую бочку.

Ах нет, все это не так просто! Чувствуется, что вольному каменщику предстоят новые испытания...

Кораблю угрожает опасность. С корабля поспешно удирают наиболее сообразительные мыши. Анри Ришар пишет возмущенное и возмутительное письмо агенту страхового общества. Анри Ришар не желает оставаться в кругу людей, среди которых могли быть взяточники. Анри Ришар отрясает прах ног своих на пороге учреждения, кощунственно называющего себя храмом. Он сожалеет о душевных силах, наивно и непроизводительно затраченных им за годы пребывания в рядах людей, среди которых... (см. выше). Он требует, чтобы его имя было немедленно вычеркнуто из списков людей, среди которых... (см. выше). Он сожалеет, что не может сегодня не швырнуть в лицо людям (см. выше) те жалкие франки, которые он взял заимобразно из «братской» (кавычки подлинника) кассы

взаимопомощи, но он сделает это в ближайшее время. Кстати, с некоторой досадой Анри Ришар про себя вспоминает, что не вернул и шефу бюро его глупейших двухсот франков. Анри Ришар едет в главную контору экспедиционной фирмы и там, между прочим, негодуя, но совершенно секретно выражает свое горькое сожаление о том, что ему приходится служить под непосредственным начальством одного из тех людей, в среде которых... (см. выше). Он уже не говорит, что покровительствовать подозрительным иностранцам могут в переживаемый момент только не дорожащие честью своей нации. На обратном пути Анри Ришар покупает значок, указывающий на его принадлежность к высокопатриотической организации. Впрочем, на службе Анри Ришар держит себя вполне корректно.

— Mon cher chef,— говорит он доверительно,— я вышел из рядов общества, в которое имел несчастье войти сам и втянуть вас. Советую и вам последовать моему примеру. Как иностранец вы можете особенно горько поплатиться за связь с людьми, среди которых... (см. выше).

Егору Егоровичу несколько противно, но он не скрывает своего мнения:

— Собственно, о каких людях вы говорите, Ришар? Ведь это все только политические сплетни, совершенно бездоказательные и притом очень гнусные по их источнику. Но если даже и попал в нашу среду дурной человек,— разве можно предавать за это анафеме все Братство? Ну, недоглядели, очень жаль, будем внимательнее. На тысячу подлецов один оказался масоном — и сейчас целая буря! Хотя, конечно, очень печально, что все-таки такой масон нашелся.

— Mon cher chef, вы слишком добры и доверчивы. И мне будет очень больно (в голосе Ришара горечь), если кто-нибудь из людей, которым вы так доверяете, подставит вам со временем ножку. И я говорю вам: «Tenez-vous sur vos gardes, mon cher chef!»*

В обеденный перерыв у Анри Ришара деловое свидание. События совершенно пересоздали характер некогда легкомысленной Марианны. Никаких четырех ног под одеялом! Теперь Марианна охраняет достоинство нации. Она издает очень популярный антимазонский листок. Это — не пустой вздор, это кричащая

* «Будьте внимательны, дорогой шеф!» (фр.)

истина, подтверждаемая документами. Нужно вскрыть гнойник до дна, нужно добить врага его собственным оружием. Бывшая Марианна публикует ужасающие факты из древней, новой и новейшей истории, приводит списки имен с адресами. Работая честно и в открытую, Марианна предварительно проверяет точность адресов, запрашивая лиц, заподозренных в принадлежности к тайному обществу, не предпочтут ли они не видеть своих имен опубликованными, что вполне достижимо путем оказания газете небольшой материальной поддержки. На деятелей политических это не производит большого впечатления, но мелкие чиновники и лавочники иногда оказываются достаточно скромными, чтобы отрицать рекламу. Во всяком случае, Марианна презирает автобусы, предпочитая такси, платит наличными не только типографии, но и ценным сотрудникам и осведомителям. Значок комбатанта переехал с потрепанного пиджака на отличный костюм, и портной, если еще не получил, то надеется получить с клиента полностью.

То, что делает Анри Ришар, он делает исключительно во имя общественного блага. Комплект «Бюллетеня» за четыре года не полон, но отсутствие нескольких номеров не составляет важности. Имена членов организации в «Бюллетене» печатаются полностью при соответствующих ложах; условные обозначения будут пояснены. Для уважающей себя газеты это может оказаться истинным кладом.

Марианна внутренне трепещет от радости, но на случай делает кислое лицо:

— Кое-какие номера у меня есть. Все же интересно познакомиться. Вы его захватили, этот «Бюллетень»?

— Он со мной, но здесь рассматривать неудобно.

— Я посмотрю дома. Я хочу сказать, что мы, конечно, сговоримся.

Анри Ришар хмурится. Он не хотел бы быть неверно понятым. Он руководится исключительно интересами национального движения. Притом в наше время смешны и вредны и даже преступны тайнственности. Честные люди борются с открытым забралом. Только поэтому он готов передать серьезной газете те печатные документы, которыми он располагает. Но не больше! Возможно, что он, Ришар, знает очень многое, но не в его правилах изменять слову, некогда, пусть по

наивности и неведению, данному людям, среди которых, к его большой скорби,— да, скорби! — оказались... (см. выше). К тому же есть некоторые затруднения чисто этического порядка. В свое время, нуждаясь в деньгах, он взял небольшую сумму в так называемой братской кассе взаимопомощи и еще не успел отдать. Очень неприятно, так как это его связывает. Но скоро он надеется расплатиться и тогда будет чувствовать себя свободнее от обязательств.

Марианна растрогана благородством молодого человека. Ей в свое время также приходилось нуждаться и прибегать к чужой помощи. Уж она-то это отлично понимает! Но как может мосье Ришар думать, что орган печати, служащий исключительно национальным интересам, не войдет в его затруднительное положение и не освободит его посильно от досадных обязательств, если, конечно, сумма...

О, это совершенный пустяк! Анри Ришар не имеет причин скрывать сумму братского долга,— и глаза Марианны медленно, но окончательно выкатываются из глазных впадин и повисают на трехцветных ниточках. Марианна подозревала, что эти люди умеют закупать попавшихся в их сети, но все же не ожидала такой щедрости. Тысячные гонорары газете не под силу! Конечно, если бы производить погашение долга по частям, то есть теперь же распорядиться «Бюллетенем» и другими сведениями в интересах национальных, а самую уплату производить по мере использования материала...

После рыбы они едят телятину-соте, после телятины сладкое вроде крема. Вторая бутылка бордо облегчает беседу, сближает людей, и за кофе с ликером Марианна просто говорит:

— Ну, четыреста франков — и кончено!

Ришар глубоко возмущен:

— *Mon cher monsieur*, вы принимаете меня за мелкого разносчика.

— О, что за слова! Вы, Ришар, умный человек и, конечно, понимаете, что большего ваш материал не стоит. Да у нас и средств таких нет.

— Тогда оставим этот разговор.

— Вот это — напрасно! Слишком много сказано, чтобы оставлять. Настолько много, что будь, например, на моем месте человек непорядочный, он бы

просто завтра же опубликовал свой разговор с братом Анри Ришаром, продавцом секретных масонских документов; материалчик для газеты подходящий, особенно если интервью написано опытным пером. Я, конечно, шучу, мосье! И не только шучу, а попросту сдаюсь. Итак — сотню накидываю, но ни сантимата больше. Иначе говоря — четыреста пятьдесят.

— Позвольте, вы говорили четыреста? Значит — пятьсот?

— Раз говорил, значит, так и есть — пятьсот франков.

Анри Ришар не юноша, но все же он достаточно молод, чтобы интересам личным предпочитать интересы нации. Он пожимает плечами и небрежно спрашивает:

— Конечно — сейчас?

Марианну прямо даже удивляет такой вопрос. Марианна вынимает бумажник и столь же небрежным тоном отвечает:

— Кажется, полсотни не хватит, я на такую сумму не рассчитывала, но об этом пустяке не беспокойтесь, за мной не пропадет.

Заметив, однако, возмущенное движение собеседника, добавляет с поспешностью:

— А впрочем, вот еще бумажка, в другом отделении. Сейчас мы попросим счет, — и деловые расходы пополам. Кстати — давайте-ка сюда ваш материалишко! Видите — заплатил не глядя. Dites, mon vieux*, а не раздобудете ли вы какой-нибудь такой, знаете, любопытной братской корреспонденции, ну, понимаете, любовных письмишек, чего-нибудь такого, поострее?..

Егор Егорович жестоко простужен, кашляет, как овца, и сосет лепешки, данные ему Руселем. Лепешки изобретены самим достопочтенным братом, который глубоко убежден в их целебности. Вкус лепешек ароматом напоминает ту необъяснимую жидкость, которою поливают цементные полы парижского метро, причем служащий несет архаический сосуд с дырочками и пытается не замочить себе ног. Служащий сам смущен и недоволен, а все присутствующие

* Скажите, старина (*фр.*).

испытывают щемящую тоску, пока подошедший поезд их не увозит. Долго после этого людей преследует подозрительный конфетный запах, и их не утешает сознание того, что образовавшаяся грязца очень важна для дезинфекции. Другое качество лепешек Руселя любопытно в медицинском отношении: от них язык, нёбо, гортань и десны потерпевшего обволакиваются жидкой резиной, препятствующей функции речи, так что Егор Егорович на сочувственные вопросы принужден объяснять, что ему «неошка незороица».

Такая связанность голосовых органов помогает иностранцу быть сдержанным в суждениях, когда речь заходит о событиях в стране, гостеприимством которой он пользуется. Покупайте лепешки Руселя, два франка пятьдесят сантимов в оригинальной упаковке! Егор Егорович разевает рот, но его язык прилипает к гортани. Таким образом, ему остается выслушивать мнения полноправных граждан, не потребляющих лепешек. Мнения этих граждан, однако, расходятся. В то время, как одни считают лучшей мерой для спасения нации — закрытие объединений левого толка, другие думают, что ликвидация лиг правого крыла достигла бы лучших результатов. Начавшись на улице, вопрос переносится в вечно строящийся храм Соломона, куда, по мысли строителя, не должны проникать предрасудки и страсти мира непосвященных. Это в особенности волнует Егора Егоровича, который, с усилием отдирая язык от распухшего нёба и чувствуя повышение своей и чужой температуры, спрашивает себя и других: «Ах же тах»? Ему хорошо известно, что политические споры не должны допускаться в масонских ложах и что взаимная терпимость обязательна в братских отношениях. И он мучительно ожидает, когда же наконец молоток агента страхования призовет к порядку увлекшихся профанскими делами ораторов. Обиднее всего, что нет брата Жакмена, блюстителя великих традиций, с мнением которого все считаются; брат Жакмен очень болен.

Но, может быть, Егор Егорович не прав: не могут не отзываться на вопросы дня живые люди и не могут не влагать в это мирских страстей? Не их ли отечество в опасности, не ему ли грозит приход тех дельцов с узкими лбами, крепкими подбородками, шерстью на

груди и палкой в руках, о которых говорил Лоллий Романович? И Егор Егорович, переполнившись сомнениями, усиленными его крайне болезненным состоянием, берет из коробочки новую лепешку. Видя это, аптекарь ему одобрительно кивает.

Из внимания к простуде Егора Егоровича мы излагаем его сомнения спокойными словами. В действительности дело (и простуда) гораздо серьезнее, и воистину вместе с телом страдает душа вольного каменщика, уже успевшего сродниться с мыслью о святости строительной мастерской. И пришли в Иерусалим, и Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли — дом мой домом молитвы наречется для всех народов; а вы сделали его вертепом разбойников! — Ну, что же, Егор Егорович, вас вот только пеленой обтереть — и прямо в святые! Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет. «Да я что же, я не осуждаю», — хочет воскликнуть вольный каменщик, но гортань его слиплась, и дело кончается кашлем в платок, который он держит наготове. Сидел бы дома и пил чай с лимоном. После нескольких кха-кха в стороне раздается тррр, и громкоговоритель выпаливает потрясающим стены басом: «Социальная значимость любой общественной организации, будь то первобытная ячейка, клан или разветвленная профессиональная классовая группа...» — но кто-то повертывает кнопку, и новое шипение заканчивается оркестром балалаек. Никогда еще не было в Храме ничего подобного! Егор Егорович тем же платком, в который кашлял, вытирает выступивший на лбу пот: «Кажется, у меня легкий жарок!» — Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Привратник смотрит в глазок и, приоткрыв дверь, впускает опоздавшего к началу заседания брата Дюверже, который, проделав все, что в таких случаях полагается, усаживается рядом с Егором Егоровичем. Внезапно все успокаивается, и голос докладчика продолжает бубнить о необходимости роспуска фашистских лиг. После того, что произошло на площади Согласия, когда горел автобус,

Егор Егорович вполне понимает чувства оратора, но ему не ясно, как же тогда быть с девизом свободы? И вообще — наше ли это дело? Здесь ли решать подобные вопросы? Брат Дюверже склоняется к его уху и осведомляется о здоровье. Егор Егорович благодарно улыбается и кивает головой, а вместе с ним кивают и улыбаются все электрические лампочки, не говоря уже о трехсвечнике, озаряющем лицо страхового агента. Такая приветливость чудесно действует на нервы, и Егор Егорович думает: «Хорошо бы не заснуть!» Но едва он издает первый храп гуттаперчевым горлом, как брат Дюверже вынимает палочку с зачиненным концом, натывает на нее картофелину и хлопает соседа по уху, отчего речь оратора разбивается на мелкие шарики, которые выкатываются, не задерживаясь в пустой бочке. Затем нечто хлюпает, и раздаются шаги острожников, звенящих кандалами. Ласково разбуженный братом Дюверже, Егор Егорович успевает опустить монету в кружку подошедшего собирателя милостыни; монета звякает, и Егор Егорович просыпается окончательно, но уже в ином мире, в котором физические тела потеряли устойчивость. Человеческая рука, с таким искусством работавшая на переднем фасаде, оказывается совершенно беспомощной, когда ей нужно попасть в рукав пальто. «Вы совсем больны, брат Тэтэкин, у вас глаза красные». — «Да, неошка незороица», — повторяет нестойкий на ногах человек полюбившуюся фразу. Проткнутый под мышку двумя братскими крючками, он натывается на свежесть улицы и сердечно благодарит: «Ну, тут уж очень просто!» Улицы торопятся, и через какой-нибудь год Егор Егорович оказывается на своей Ковансьон; но за это время успевают проржаветь и расшататься шарниры его коленок, так что, если бы не ложный стыд перед консержкой, которая еще не спит, Егор Егорович предпочел бы вползти на лестницу с помощью рук. Стукают и брякают дверцы, раздается нестерпимый гуд, и в продолжение следующего года, затраченного Егором Егоровичем на подъем в свой этаж, громыхающий голос доказывает ему, что его мысли о свободе и терпимости являются ничем иным, как тенденциозным классовым отображением на абсолютную объективность. Прищевив палец раздвижной решеткой, Егор Егорович вырывается из клетки,

висящей над пропастью, и оказывается на правой стороне обширнейшей, как мир, постели. Вот блаженное состояние! Анна Пахомовна бродит по потолку, встряхивает максимальный термометр и стучит скляночками: «Я говорила тебе, Гриша, что нельзя выходить в таком состоянии!» Счастливо улыбаясь, Гриша опять подтверждает свое «неошка незороица», и философская ртуть, разогнавшись, взбегаёт на тридцать девятый этаж.

Соседские кошки при встречах взаимно осведомляются, почему в доме не пахнет больше валериановыми каплями? Потому, неразумные кошки, что женщина, потребляющая валериан от безделья, пустоты и рисовки, теперь сидит у изголовья больного мужа, с которым прожила долгие годы и которому осталась верна, несмотря на соблазны мира и покушения дерзких оболстителей.

Индефризабли Анны Пахомовны стойки и несокрушимы, но лицо ее не запятнано ни пудрой, ни кирпичным узором, ни противоестественной кровавостью уст; и нет лакированных поганок на пальцах честной женщины. Третий день Анна Пахомовна спит, не раздеваясь, если можно назвать сном чуткую дремоту в кресле. У Егора Егоровича жестокий грипп.

Чередуюсь, стучат молотки венерабля и двух надзирателей. Вольный каменщик проходит под стальным сводом мечей от западной двери к озаренному ярким светом Востоку. Страховой агент в неистово сверкающей золотым шитьем ленте сурово спрашивает его, готов ли он к смерти. Егор Егорович смущенно признается, что, хотя он, как хорошо известно венераблю, и застрахован, но не прочь бы пожить еще, тем более что, заболев внезапно, он не оставил заместителя в экспедиционном бюро и даже не успел протелефонировать в главную контору Кашет.

В сторонке раздаётся смех, и Лоллий Романович, с пергаментным лицом и в гимназической курточке, режет коньками лед реки Казанки, выписывая замысловатые вензеля. «Дорогой Тетёхин,— говорит он,— стоит ли думать о пустяках, когда так весело!» Егор Егорович удивляется, почему зимой жарко, и сбрасывает шубу за шубой, пока не остается в одной рубашке.

Ему совестно перед братьями говорить речь в таком наряде, тем более что это — его первая большая речь в ложе. И, однако, он утверждает, что политические вопросы препятствуют обработке грубого камня и что братья бродят по краю пропасти. «Я жажду истины!» — почти со слезами говорит Егор Егорович, и его зубы стучат о стакан холодного чая с лимоном. Свет тухнет, и больной, открыв глаза, видит, как Анна Пахомовна подталкивает доктора к окну и выбрасывает его на улицу. Вылетая, доктор осведомляется, хорошо ли больной укрыт, и затем с улицы начинает посылать ему свежие струйки воздуха. «Приятно,— думает Егор Егорович,— однако полежу еще, хотя пора на службу; дел накопилось, должно быть, немало». — Странно, что и Анна Пахомовна не торопит его одеваться и пить кофе. Хлопнув окном, она на цыпочках кружит по комнате, наклоняясь, приседая, вползая на стены и на потолок, двоясь в зеркальном шкапу. Бесперывность ее движений кружит голову Егора Егоровича и наполняет его глаза слезами. Чтобы смахнуть их, он пытается трянуть головой, но мешает тяжелая меховая шапка. Он стонет, и Анна Пахомовна участливо склоняется и спрашивает:

— Хочешь еще выпить, Гриша?

Собственно говоря, Гриша — уменьшительное от Григория, а не от Егора. Но Анна Пахомовна всегда называет его так, и Егор Егорович привык и не уверен, что именно сейчас стоит заняться выяснением этого пункта; есть вопросы гораздо более важные, и обидно, что заседание так внезапно прервалось. На чем именно? Этого Егор Егорович вспомнить никак не может. Единственное, что он сознает прекрасно, это что его голова не обычной, а кубической формы, и этим объясняется боль и тяжесть. Ряд таких же голов громоздится по обе стороны прохода. Среди них головы братьев Руселя и Дюверже выделяются необыкновенной величиной и оригинальностью формы: вверху они завершаются правильными пирамидами. «Вероятно, и моя такая же,— догадывается Егор Егорович, с трудом взбираясь по лестнице и чувствуя, как холодеют ноги.— Надо будет как-нибудь приспособиться!» Но сколько он ни подымается, никак не может перерасти брата Руселя, стоящего в ритуальной позе, с рукой у горла. Отличный, стойкий человек, истинный камен-

щик, хотя и чудак! Егора Егоровича объемлет радость: с такими людьми Братство не пропадет! «Только не все это понимают. А вот я, хоть и болен, очень болен, а знаю, что все это не пустяк, а великое дело». Анна Пахомовна приносит и кладет на него стог сена, комод, множество галстуков, и ноги начинают согреваться. Благодарно улыбаясь, Егор Егорович продолжает начатый так удачно разговор: «Утверждаю, что для среднего, скажем, даже маленького человека, вот как я, как мы с вами, брат Русель, Братство наше — истинное спасение духа, большое, большое счастье!» Колочая голова кивает и бормочет: «На страже! И так понемногу. Надеюсь, примкнут». Не лежи Егор Егорович больной в постеле, он бросился бы обнимать очаровательного чудака-аптекаря. Вот что значит — соборное строительство! «В бороду профанам, брат Русель? Э?» Брат Русель уверенно кладет в ступочку орех, разбивает его пестиком: крак! — и высыпает содержимое ступочки в рот Егору Егоровичу, который никак не может прожевать, откашливается, перебирает сухими губами и горько жалуется. Опять «Гриша» и опять лимонад. В полном сознании Егор Егорович испуганно говорит:

— А не опоздаю ли я на службу?

— Уж какая служба, лежи!

— Кажется, был доктор?

— Доктор сказал, что это небольшой грипп. Полежи — и пройдет.

— Вот какая история! И все ушли?

— Доктор ушел, а кто же еще? Вот поставь температуру.

Холодная палочка втыкается под мышку, и Егор Егорович опять закрывает глаза. И хотя заседание могло бы возобновиться, но мешает путаница, тем более что лежать это и неудобно. Поэтому на время Егор Егорович камнем погружается на дно черного озера.

Недели три, пожалуй, провалялся в постеле Егор Егорович, и первая неделя его болезни не была пустяком. Во всяком случае, в высоких сферах, заведующих человеческими судьбами, был поставлен вопрос, продлить ли дни вольного каменщика, или призвать его к Вечному Востоку? Но перед ареопагом высоких судей выступил неведомый адвокат, возвысивший голос

в защиту маленького человека, на склоне лет нашедшего и веру и утешенье:

— Он кажется вам малым и ничтожным, не заслуживающим вашего внимания? А я вам говорю, что этот нескладный и добрый чудаков духовно выше ваших прославленных героев, ваших любимых модных философов, политических вождей, изобретателей, сладкогласных поэтов, чемпионов боса, актеров киносцены и нобелевских лауреатов науки и литературы. Кто сказал вам, что истина опирается на плечи гигантов и макушки гениальных голов? Неправда! Ее куют средние люди, пасынки разума, дети чистого сердца, способные постигнуть то, чего не могут найти холодные мудрецы, запутавшиеся в таблицах умножения.

И тут, увидав, что судьи изумлены и разглаживают всей пятерней седые бороды, адвокат Егора Егоровича счел момент удобным для решительного пафоса. Закинув левую полу тоги на правое плечо и протянув к зеркалу руку, в кулаке которой что-то зажато, он произнес буквально следующее:

— О судьи, убежденные сединой вечности! Вам ли, наблюдавшим вихри туманностей и мелькание тысячелетий, вам ли прельщаться мишурой и временными блестками земного Разума! Вам ли теряться в выборе между гималаями искусных мудрствований и песчинкой доброго чувства! Зачем увеличивать толкотню на Вечном Востоке, все мягкие кресла которого заняты так, что скоро понадобятся приставные стулья? Пусть он останется там, где он нужен и где, сам того не зная, он лечит всякого, с кем соприкасается, найденным им философским камнем. Не вы ли, о судьи, указали человеку путь к совершенству, бросив на землю ключ к тайне Природы, постигаемой только в братском строительстве? И вот пред вашим судом мизернейший из посвященных, истинный вольный каменщик Егор Егорович Тетехин (адвокат отлично, без малейшего акцента, произносит русскую фамилию). Если вы жестоки — лишите его жизни. Если вы мудры — продлите ее для новых испытаний, из которых он да выйдет победителем!

И, свободным жестом бывшего присяжного поверенного, бросив на стол вещественных доказательств треугольный пакетик с пирамидоном в порошке, — защитник опустил на адвокатское сиденье и стал

деловито выбирать пот со лба, убежавшего далеко на затылок.

Председатель суда, записав что-то на бумажке, наклонился к судье левому, пошептался с ним, и тот кивнул головой; то же самое направо — и новый утвердительный кивок. Это было как раз в конце первой недели болезни Егора Егоровича утром в день воскресный, когда наш больной, проснувшись, повернул исхудалое лицо к дремавшей в кресле Анне Пахомовне и сказал:

— Нынче мне, кажется, получше. И пожалуй, я даже кофею выпью, а то и с булочкой. Ты бы обтерла мне лицо и руки мокрым полотенцем!

ПУТЬ КАМЕНЩИКА

Земля. На земле хижина, обсаженная тополями и незабудками. Из трубы чернильными завитушками подымается дымок. Собачка с загнутым хвостом и тонкими ножками добродушно лает вообще и в частности. На протянутой веревке подсыхает от пролитых слез прикрепленный деревянными скрепочками бесхозный носовой платок. Мирный быт, не оживленный присутствием человека.

Туман подымается к нему. По мере его восхождения сквозь него протыкается благородная солнечная рожа с сиянием в виде черточек. Общая серость покрывается лазоревой окраской. Просыпаются куры и надежды. Чувствуется приближение приятного.

Над горизонтом светлая точка: беленькая на голубеньком. Уж, во всяком случае, не аэроплан, а что-нибудь симпатичнее. Она бесшумно приближается. Возможно, что это ангел. Оказывается — человек. Ни к чему скрывать и тянуть дальше: это возвращается на землю чуть было не скovyрнувшийся в вечность вольный каменщик Егор Егорович Тетехин. Собачка, перестав лаять, крутит хвостиком. Незабудки забыли, что еще зима, и цветут изо всех сил цветами, похожими на подсолнух, тополя благовоняют, носовой платок намокает слезами радости.

И опять действие переносится в обычную обстановку — в третий этаж дома на улице Конвансьон. Не только самостоятельно умывшись, но и поскоблив

щеки новым ножичком безопасной бритвы, Егор Егорович в первый раз за месяц надевает пиджачный костюм, внезапно ставший просторным в области центрального отопления. Кофей пьется сегодня за столом, а не в постеле. Газета читается в кресле. Большинство голосов кабинету выражено доверие, впечатления в Вене, прения в палате общин, арестованный банкир оказался благодетелем человечества, позвольте через ваше посредство поблагодарить, концерт возвратившегося из триумфальной поездки по Уругваю, вечеринка лейб-гусаров, трехсвятительское подворье, баскет-болл, требуются набивальщики для кукол, ночной телефон отдела объявлений.

— Не выйти ли мне немного прогуляться?

— Сегодня хороший день. Но не дольше десяти минут, и я пойду с тобой.

Они идут под руку, как бывало в Казани на Проломной улице, когда она была пухленькой Анюточкой, а он важничал желтыми выпушками почтового чина. Время — остановись!

Скажите ему — пусть оно остановится! Мы хотим вспоминать о приятном в нашем прошлом; мы и в настоящем хотим если не восторгов, то хотя бы отдыха, потому что силы наши подорваны, мускулы мысли ослабли, устала наша душа. Должны быть какие-нибудь пределы бесчеловечности — мы их не видим! Мы кривим рот в попытках беззаботного смеха, — но уже и шутить нельзя: получается отчаянная гримаса. В порыве протеста (потому что ведь душат людей, зарубают их топором, жгут книги, последнее утешение и прибежище!) мы на полях припрятанной Библии детскими каракулями рисуем целующихся голубков, стареньких папу и маму на коротких ножках, с одиноким глазом, наползшим на ухо, с растопыренными пальцами, зонтиком и ящиком проходящего трамвая. Мы давно сдались, не помышляем ни о какой борьбе, — только дайте передохнуть одну минуточку, господин палач!

Улица Конвансьон дребезжит хохотом — каков эпилог большой душевной драмы! Егор Егорович смотрит на все и всех глазами ребенка, которого впервые вывезли в колясочке. Если бы ему пришлось сейчас подписывать счета в конторе, он расписался бы почерком Диккенса: «Возвращенный к жизни». Но еще никто не знает, что прописывать счетов ему больше не при-

дется, — это в дальнейшем будет делать Анри Ришар. Почтальон деловито шарит в сумке и вручает консьержке пачку писем и газет. Вернувшись домой, приятно утомленный прогулкой и воздухом, мосье Тэтэкин не сразу поймет смысл сухих вежливых строк:

«Главная контора имеет честь известить, что с такого-то числа она вынуждена отказать от чрезвычайно ценных услуг заведующего отделением. Veuillez agréer... expression... distinguées»*.

Причины, конечно, чисто формальные, но обязывающие: превышение установленного процента иностранцев. «Mon cher monsieur Tetékhine, вы легко поймете наше огорчение... — Но это будет уже потом, при личном напрасном объяснении. — И действительно, лишь задачи национального оздоровления страны, в связи с затруднениями характера экономического...». — «Как же так?» — трет себе лоб Егор Егорович, не искушенный в вопросах разумной экономической политики. Известно, между прочим, что все люди — братья. Мосье Ришар, новый шеф конторы, диктует письмо мадемуазель Ивэт. Его уверенный голос не дает сосредоточиться на цифрах апатичному бухгалтеру. В соседней комнате увязывают пачки иллюстрированных изданий, и никто на свете не подозревает, что свершилась некоторая несправедливость, не мешающая, впрочем, жизни продолжаться.

Но ведь это, конечно, только маленький эпизод, и не к нему относятся слова о пышно распустившемся репье бесчеловечности. С первых строк этой повести мы твердим не о малом, а о строительстве мира и миров. И если ущемленной и обиженной оказалась маленькая букашка, — то и в этом да отразится тождество макрокосма с микрокосмом.

Пальчики, перемазанные чернилами и красками, посягают на новую грандиозную картину. Живые солдаты стоят палочками, мертвые палочками же лежат. Танки похожи на корабли, пушки на клистирные трубки. И все это так залито красным, что даже на изнанке картины отпечатки пальцев. Мальчик-художник приучается мыслить национально. Он мечтает быть фельдмаршалом, но, наверное, будет хорошим

* Примите выражения... (*фр.*) — (Формула окончания делового письма.)

депутатом или редактором. Сегодня готовится будущее, но еще можно в нем ошибиться.

Ничего особенно страшного не случилось; во всяком случае, с другими бывает гораздо хуже. Во-первых, нет, конечно, сомнения в том, что Егор Егорович, с его служебным опытом, с его знанием языков, найдет другую работу. Во-вторых, скоро где-нибудь устроится Жорж, он — инженер, а это будет немалым облегчением. Наконец, на переходное время все-таки кое-что остается в банке, а там уладится.

— И знаешь, что хорошо, — говорит Егор Егорович жене, — хорошо, что есть у нас свой клочок земли и домик. В случае последней крайности...

Но Анна Пахомовна возмущена и взволнована больше мужа:

— Я ни-ког-да не сомневалась, что тебе подставит ножку этот твой Ришар. Я этого всегда ждала и, прости меня, ужасно удивлялась вашей дружбе. Я женщина и лучше тебя знаю людей. Ришар — наглый и бессовестный человек, от которого можно ожидать всего.

Егор Егорович в душе и сам как-то не уверен, что Анри Ришар — светлая личность. Но есть в этом человеке и хорошие качества. Так, например, его прямота: разочаровался в масонстве — и честно об этом заявил, выйдя из ложи. И почему винить Ришара, когда то же, что с Егором Егоровичем, случилось и со многими русскими, уволенными по закону о проценте иностранцев. И Лоллий Романович давно сидит без постоянной работы, а уж куда же ему тяжелее, даже и сравнивать грешно.

Дни бегут наперегонки — даже странно, почему такая спешка? Круг деловых знакомств Егора Егоровича невелик, и все же приходится целые дни затрачивать на блуждания. Нет человека, который бы ему не сочувствовал и не старался это выразить. Даже в главной конторе фирмы его уверили, что стоит только кончиться мировому кризису, как опять найдется место Егору Егоровичу, если не в Париже, то в провинции. «А почему вы не вернетесь на родину, мосье Тэтэкин? Говорят, что там нет никакой безработицы и все благоденствуют?» — «К сожалению, я не мо-

гу». — «Ну, какой же вы преступник! Вас, конечно, амнистируют, как и других; об этом писали в газетах». Разговор бесполезен, и Егор Егорович не хочет больше утруждать... Друг Русель очень советовал ему побывать еще в одном месте, но оказалось, что там нужен химик и непременно французский гражданин. Егор Егорович кормит трамвайные предприятия и способствует процветанию метро. Месяцем позже он старается хотя бы малые концы преодолевать пешим хождением, да это и полезно. Анна Пахомовна пока отпустила мадам Жаннет и сама проявляет чудеса поваренного искусства: «Оказывается, Гриша, что покупать продукты на базаре гораздо, гораздо выгоднее, чем в лавках. Ты не можешь представить себе разницы!» Волосы Анны Пахомовны темнеют у корешков; она еще блондинка, но уже пестрая, и не двух-, а трехцветная: третий цвет вплетает еще совсем небольшая седина.

Как странно устроено человеческое лицо! Сегодня оно так приветливо и открыто — завтра недоверчиво и настороженно. «Как поживаете, дорогой, что новенького? Да что вы! Что ж делать, всем сейчас плохо, вот у меня, например... — Лицо смотрит с ободряющей лаской, шутливо говорит: — Эх-эх, все поправим!» — и спешно, хотя отчетливо-дружески пожимает на прощанье руку.

Однако не нужно обобщать. Лоллий Романович, узнав от Егора Егоровича о его затруднениях, разинул рот и долго смотрел на дорогого Тетёхина: «Если я не ошибаюсь, это плохо?» — «Пока ничего особенного, Лоллий Романович, но конечно... Впрочем, я не теряю надежды». — «Не теряете? — недоуменно переспросил Лоллий Романович, как будто бы Егор Егорович задумал переплыть Ламанш в четверть часа. — А почему же вы не теряете?» Затем он намекнул Егору Егоровичу, что дела склада патентованных лекарств как будто идут хорошо, так что, пожалуй, могла бы найтись работишка и для нового человека. Днем позже он сам зашел к Егору Егоровичу и, вынув еще в передней, положил в столовой на стол двадцать франков: «У меня очень большая удача, дорогой Тетёхин! Вот пока в счет неоплатного долга». — «Да не нужно, Лоллий Романович, ради бога спрячьте, у меня денег хватит надолго. А какая же у вас удача?» — «Да вот надежды

и авансы так и сыплются, так и сыплются. Что-то огромное!» Но глаза старого профессора бессовестно лгали, и после долгой борьбы было решено, что пока эти двадцать франков он удержит у себя, а в случае надобности Егор Егорович непременно их востребует. Профессор ушел недовольным и озабоченным; дома деньги сунул в свой трухлявый комодик, чтобы случайно и по рассеянности их не растратить. У него действительно была редкая удача: в первый раз попросил за свои коробочки авансом двадцать франков — и ему охотно дали, причем кассир, выдавая деньги, прибавил: «Tenez, mon vieux. Bien sûr, quand on a envie de boire un coup, alors là!..»*

Что-то плохи, однако, дела Егора Егоровича. Уже идет к весне, деньги тают, а нет и признака надежд. Да и как устроиться Егору Егоровичу? О месте вроде прежнего и думать не приходится по тяжелым нынешним временам. Хоть бы какую-нибудь работишку поскромнее — а какую? И непривычно, и не найти. В роскошном кабинете восседает за письменным столом величественный директор акционерной компании. Служащие и посетители робко входят и млеют от почтения и преданности. Этот идол — Егор Егорович. Или поменьше: помощник секретаря синдиката мыловаров Егор Тетёхин; оклад три с половиной тысячи и тринадцатый месяц; конечно, и отпуск. Вон чего захотел! Будем говорить проще: бухгалтер русского конfectionного заведения, тысяча двести и столько-то пирожными. По узкой улице мчится такси; у шофера пресимпатичное лицо; из-за угла выбегает школьник, тормозить поздно — трагедия! Бледного, рыдающего от горя шофера доставляют в комиссариат. «Имя?» — «Жорж Тэтэкин». Нет, это не по нашей части! С гораздо большей уверенностью бывший шофер стоит у станка и точит металлическую болванку неизвестного назначения. Главное — смотри внимательно, а думай, о чем хочешь; очень удобно. Егор Егорович избирает темой для размышлений совершенствование человечества, — и вдруг болванка оказывается никуда не годной. Раз так, два так — и Егора Егоровича

* «Вот, старина. Конечно, когда хочется выпить, тогда!..»
(фр.)

вышвыривают на улицу. Тогда он набивает чемодан всякой дрянью и звонит у подъезда. Отворяет барыня в пеньюаре, еще не причесанная. «Бонжур, мадам! Прекрасные фильдекосовые чулки, одеколон, мыло, необходимые мелочи». — «О нет, благодарю вас». — «Мадам, цены фабричные, вы нигде не найдете! Руж, пудра, пресьон, булавки». — «Да мне ничего не нужно». — «Разрешите только показать, мадам, только взгляните, можете не покупать». — «Я вам говорю — не нужно, ничего не нужно!» Мужской голос из глубины: «Да гони ты их в шею, черт знает сколько шатается!» И неудачливый комиссионер Егор Егорович стоит с прищемленным дверью носом. В это время по лестнице спускают с пятого этажа рояль. Двое здоровенных рабочих подпирают снизу, третий, послабее, пожилой, неуклюжий в своей синей блузе, кое-как удерживает рояль за ножку. «Эй, опускай тихо, черт! Да не толкай, легче!» — Хлюп, храп, дзинь — оступился, выпустил ножку, сам больно ударился — храст и звон на всю лестницу. «Балда! Не можешь, так и не берись! Вот тебе и музыка — сам и плати!» Смущенный синезубчик Егор Егорович чешет в затылке и не знает, как быть. «Разрешите, мадам, я донесу ваши покупки. Прикажете кликнуть такси? Покорнейше благодарю, мадам!» И на заработанные десять су Егор Егорович пьет в бистро высокий стаканчик тепловатого кофею с молоком. Но что делает в это время Анна Пахомовна, которой также, вероятно, хочется выпить чашечку, да еще и с хлебом? Мне кажется, Егор Егорович, что ваша карьера предначечена: вы отлично обучены обращению с орудиями строительства, вы отесывали грубый камень, вы учились пригонять друг к другу камни кубические, вы возводили стены Соломонова храма. Ваше место в артели каменщиков. Егор Егорович накидывает пиджак на левое плечо, как делают итальянские рабочие, и шествует с артелью на стройку. Он изучил все необходимые слова профессии: *che te possino... рога Madonna... mortacci tui...** Он плюет через зубы и может работать четырнадцать часов на палящем солнце. Кипит строительная работа. Великий Испытатель вручает дорогому брату символическую лопаточку, и досточтимый мастер возглашает:

— Восславим Труд! Он делает человека лучшим!

* Итальянские ругательства.

— Восславим Труд! Даже ничтожнейшее из усилий человека есть участие в прогрессе человечества!

— Восславим Труд! Благодаря ему придет день, когда Храм будет закончен!

Поодаль топчется толпа непосвященных каменщиков, строителей жилых домов, школ и тюрем. «Восславим Труд!» — предлагает им Егор Егорович, но решительно не встречает сочувствия. Мало того, один смельчак с недокуренной папиросой за ухом выходит вперед толпы и дерзко заявляет: «По-вашему, трижды восславим, а по-нашему, — будь он трижды проклят!» Егор Егорович объясняет профану, что дело идет о труде свободном и совершенном, каковым человеческий труд непременно станет в условиях социального равенства, и что символ социального равенства — уровень. Профан настроен сравнительно мирно и потому пока не бьет Егора Егоровича, хотя явно его презирает. Нетрудно догадаться, что этот профан — Лоллий Романович, специалист по клейке коробочек, давний пролетарий. «Мой дорогой Тетехин, напомним вам замечательные слова: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, из которой взят», — за что покорнейше благодарим. Чем вас, собственно, очаровывает такая перспектива? Почему вы уж так усердно восславляете труд? Вы чуточку мазохист, дорогой Тетехин. Впрочем, эта черта вообще присуща многим религиозным людям, например — целующим крест, отвратительное орудие пытки и казни». — «Но скажите, Лоллий Романович, не есть ли труд — священный долг человека?» — «Видите ли, дорогой, вообще долг — понятие отрицательного порядка, и называть его священным кощунственно. Вы — догматик и гаситель свободы, никак не ожидал от вас подобного, дорогой Тетехин! А я даже подозревал, что вы — масон». Теперь Егор Егорович окончательно путается — как же так? Разве не долг нами руководит, когда мы приносим жертву благу ближнего? «Дорогой Тетехин, ну посудите сами. Вот вы даете мне двадцать франков, хотя не вы мне должны, а я должен вам, и гораздо больше. Тут, скажем, игра словами. А вот второе: я пытался вернуть вам двадцать франков в счет моего долга. Если вы думаете, что мною руководило чувство долга, — то наша дружба с этого момента прекращается навсегда». Егор Его-

рович совершенно сбит с толку, а Лоллий Романович, в припадке неудержимой веселости, прыгает сначала через его, потом через собственную голову: «Дорогой Тетехин, хотите еще две загадки на ту же тему? Это — из вашей интимной жизни, о которой я могу только догадываться. Однажды вы послали одному негодяю двести франков, которые ему был должен другой негодяй, взявший с него взятку. Вот это как раз было выполнением священного долга, то есть нравственной нелепостью; вы, так сказать, немного сханжили. А в ином случае вы прелестно сотрудничаете с подобными вам очаровательными мудрецами, оплачивая стоимость слабительного неизвестным вам людям. И вы напрасно себя унижаете, воображая, что выполняете нравственный долг. Имейте в виду, дорогой кантианец, что у этого гениального философа была настоящая немецкая дубовая голова!» И, сказав эту дерзость, Лоллий Романович испаряется.

Усталый от мыслей и напрасных поисков работы, Егор Егорович чувствует потребность присесть на лавочке рядом с горбатой старушенцией, которая роется в кошеле. Когда-то всякая прогулка по Парижу была большим удовольствием для Егора Егоровича, просидевшего кресло в конторе. Сам шел бодренько и любовался чужой бодростью. Идут люди по своим делам, и ведь подумать только, что у каждого своя жизнь, от других отличная, и каждый человек как бы центр вселенной! Вот и эта горбунья тоже чувствует себя центром, сущностью, а весь мир — только ее окружение. Очень забавно, а так. И из всех этих жизней слагается одно целое — человечество. А как слагается? Очень просто: от сердца к сердцу, от ума к уму протянуты ниточки. Получается будто бы путаница, а в определенный момент, например, при каких-нибудь важных событиях, путаница сама распутывается, ниточки натягиваются, и получается народ, живущий одной мыслью и одним сердцем. Замечательно!

Старушенция вытаскивает из кошелька не то котелок, не то консервную банку. Ее пальцы делают множество лишних движений, точно она играет на немом рояле; вероятно, больная. И лицо ее трясется, серое, землистое, и в такт вздрагивают космы седых волос, которые не рассыпаются, а висят липкими прядями. Егор Егорович чувствует к ней великую жалость и отводит глаза.

Достав банку, старушка покидает лавочку и семени́т к воротам дома казенного вида, где уже образовалась очередь таких же странных, серолицых, удивительно грязных и неподобающих Парижу людей. Егору Егоровичу нетрудно догадаться, что здесь раздача общественного супа. Видал и раньше, походя, но некогда было приглядеться. «Хорошо это заведено в Париже, что вот бедный человек получает горячую пищу бесплатно», — и проходил с чувством удовлетворения и за людей и за себя, дома ел суп, свой, частный, из белой тарелки с золотым ободочком; ну, там подсыпал по вкусу соли или перцу, а заедал пирожком. Сейчас чувства Егора Егоровича напряжены по-особенному, немножко, конечно, болезненно, и лица стоящих в очереди впервые поражают его общей землистостью и какой-то смиренной тупостью. Не просто бедность, а бедность крайняя и последняя, за которой следует смерть.

Смерть стоит в очереди четвертой. Повернув лицо к Егору Егоровичу, она смотрит мимо него и сквозь него, вообще — никуда. Может быть, раньше смотрела в глаза, оценивала, любила или ненавидела, общалась, так сказать. Теперь ничего не осталось от прежнего. От ее бесцветных глаз сердце вольного каменщика холодеет. Он чувствует, что он здесь неуместен — сытый человек в теплом пальто. Но уйти ему невозможно: он прикован. Смерть жуёт серыми губами, у нее под носом реденькие усики, а по одежде она — женщина. Но таких женщин не бывает, таких людей не должно быть. Егор Егорович залит ужасом, веки его горят сухими слезами, — так с ним первый раз в жизни. Смерть переступает с ноги на ногу, отворачивается и делается обыкновенной женщиной, до крайности бедно одетой. От неожиданности Егор Егорович вскакивает и голосом безумца, впрочем, никому не слышным, кричит «караул». Он кричит долго и протяжно, как воют собаки, испуганные ночными тенями, пока не срывает голос. Так уже было с ним однажды, и много парижских домов было разрушено его руками. Но тогда он только догадывался — теперь он наконец узнал, потому что теперь призрак нищеты и смерти стал ему ближе и родственней, как тот скелет, нарисованный на стене черной храмины посвящения: «Ты сам таким будешь». Теперь он готов вцепиться в седую

бороду Строителя Вселенной, злобно пустившего в пространства вертящийся шарик с несчастными букашками: «Так ты это называешь величием и стройностью мироздания?» — и в лгущую глотку влить ему котелок бурды, именуемой общественным супом, чтобы он захлебнулся своим произведением, чтобы запросил пощады у разгневанного человека, пал бы на колени и обещал немедленно загасить все светила и омертвить планеты. И только теперь впервые вольный каменщик Егор Тетёхин, сын вдовы и мастер доски чертежной, понял с необычайной для его простацкой головы ясностью, что царственное искусство не забава для толстячков и не тихая ритуальная молитва, а прелюдия великого бунта духовно просветленных рабов против лживых жреческих причитаний и сладенькой теплоты, которую суют в рот причастникам на золотой лжице. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Не мир принес я вам, а меч! И вот маленькая вошка, запутавшаяся в бороде Строителя Вселенной (потому что ведь философии-то он не знает, не обучен), Егор Егорович хватает с престола пламенеющий меч и, размахивая им, бежит по бульвару Пор-Руаяль до остановки автобуса. Заметив знак, шофер тормозит машину, и вольный каменщик, запыхавшись, рушится на свободное местечко второго класса.

Если бы все было в порядке, пальто Егора Егоровича было бы не только приличным, но и новым. Но вот странная вещь: стоит человеку попасть в беду, как пальто его не делается, а кажется подержанным, и уже не сидит, как сидело прежде. Это необъяснимо, как необъяснимо, почему иным голосом мы говорим о нужде другого, иным о нужде своей и почему от полноты бумажника зависит походка. И еще: раньше Егор Егорович, проходя мимо кондитерской, смотрел в окошко и соображал: «Кажется, таких тортов Анна Пахомовна не любит»; теперь он совсем не смотрит, и торты стали деревянными, необычайно глупой формы, с какими-то липкими картошками, неприятно. И наконец еще одно: что бы Егор Егорович ни делал, о чем бы он ни думал, — в его голове торчит колышком и тупо покалывает обязательная мысль номер два: как же так? Что же будет дальше? Ответа нет,

и, однако, не верится, что нет ответа. Как же так, без ответа?

И вот опять сидят трое в комнате, прилегающей к аптечному магазину Руселя. Букет запахов: эфир, скипидар, ментол, мускат, мыло, карболка, *ragibus dosis, mixti — detur — signetur*, через час по столовой ложке. Брат Русель ничего не обоняет, так как это его природный запах. Брат Дюверже побаивается шкапчика с надписью «Venena»*. Брат Тэтэкин стесняется приступить к делу, но наконец говорит:

— Я обязан предупредить, братья... Вот я на всякий случай... Тут как раз пятьсот,— раз, два, три, четыре, пять — пятьсот.

Деньги всегда внушают уважение, но не все можно понять. Сердце брата Дюверже екает, потому что тут, очевидно, новое деловое предприятие русского брата, а между тем сейчас дела идут плоховато. И он уже нащупывает карандаш, чтобы начать вычисления, хоть и неизвестно какие. Аптекарь уверен, что брат Тэтэкин не зря выложил стофранковые билеты, и сейчас начнется что-нибудь замечательное. Егору Егоровичу приходится продолжить пояснения:

— Самое печальное, что это, вероятно, в последний раз. Я в таком огорчении, что и не знаю. Но очень уж боюсь, что могу позже смалодушествовать, то да се, разные осложнения. Одним словом — вперед за пять месяцев, не считая истекшего. Итого — шесть, а уж там — как случится. Говорю просто: надежд никаких не имею.

Лицо красное: неопишимо стыдно.

Позвольте объяснить. Егор Егорович по пути забежал в банк и взял эти деньги с текущего счета, с которого они текли теперь с неизмеримо, ну, прямо безо всякого сравнения большей быстротой, чем раньше подкапчивались. Заторопился Егор Егорович и потому, что он не герой, а простой средний человек, способный испугаться, так что уж лучше заранее. Все-таки еще полгода можно будет приходить на тройственное собрание тайного союза и продолжать превосходное общение с этими славными людьми. Брат Дюверже мысленно считает: «Раз-два-три-четыре-пять», и снова: «Раз-два-три...». Ему начинает казаться, что такую сумму, хоть и с большим трудом, а все-таки можно

* «Яд» (лат.).

преодолеть, хотя обои хорошо идут ранней осенью, после октябрьского терма, а сейчас сезон мертвый. Одним словом, он продолжает ничего не понимать, но вполне доверяет пайщикам. В отличие от него брат Русель, знающий о плохих делах брата Тэтэкин, понимает сразу, и в его сердечной ступочке с треском раскалывается орех. Вот только как это выразить? И тут он вспоминает, что вино «Сэн-Рафаэль» обладает значительными целебными свойствами. Он отбирает стопочки в восьмую литра, украшенные делениями. Он разливает молча, берет свой стакан и заряжается длинным, как сам он, тостом, от которого, за выпуском менее необходимых слов, остается следующее:

— Mon très cher frère Tetékhine et vous tous, mes frères!* (хотя tous** — один Дюверже). Эта минута. Обладатель славянского сердца, да. Горжусь дружбой и ощущаю продолжать жить, да. Исключительно счастлив выразить. Довольно. И позвольте!

Стальными иглами он ставит кровососную банку на обе щеки Егора Егоровича. Брат Дюверже, который только из ясной и обстоятельной речи Руселя понял наконец весь смысл происшедшего, искренне восхищен деловитостью и предусмотрительностью этого, несомненно, перворазрядного финансиста. «Сэн-Рафаэль», чувствуя внутреннюю опустошенность, подобрав полы, удирает на полку и высылает точное свое подобие. А дальше просто как-то неловко описывать происходящее в комнате при аптеке Руселя. На Егора Егоровича кричат, суют ему обратно в карман деньги, он протестует, снова их выбрасывает, и задумчивые девицы, опершиеся на гробницу с надписью «Banque de France»***, оказываются настолько помятыми, что одна минута — и от их одежд останется не более, чем у опечаленной дамы на обороте билета. Но мы не дадим победить Егора Егоровича! Он горячо защищается и просит не лишать его этого последнего удовольствия и утешения.

— Давал без труда, теперь от скудости, и делаю это для себя, для себя, не по долгу, а вот так — хочу!

* — Мой дражайший брат Тэтэкин и все вы, мои братья! (фр.).

** все (фр.).

*** «Французский банк» (фр.).

В сравнении с теми, которые суп, я остаюсь Крезом, так что уж...

Брат Русель решительно подымается и идет к полке за третьим «Сэн-Рафаэлем».

— Если так, то! — говорит он.— Последний тост. Почетного члена нашего тайного союза. Пью!

Егор Егорович и тут отмахивается и протестует, но ничего не поделаешь: тост принят и подтвержден братом Дюверже, готовым сегодня расшалиться,— то есть большинством голосов.

Вдруг брат Русель делается серьезным, бледнеет, встает и вытягивается так высоко, к потолку, что оставшиеся сидеть каменщики кажутся жилыми домами в районе Эйфелевой башни.

— Mes frères, — гремит он с недостижимых высот.— Эта сумма. Двадцать пять раз двадцать. Или двадцать раз двадцать пять, если хирург. Фонд обеспечения бесплатных визитов врача, экстренные вызовы. Исключительные случаи! Фонд имени почетного члена. Фонд Жорж Тэтэкин! — Не дав пройти восторженному изумлению, Русель выбегает в магазин, убивает своего кассира, выхватывает из кассы два билета с грустными женщинами и прибавляет к билетам Егора Егоровича.— Пять и два — семь!

День подвигов и неожиданностей, день незабываемых впечатлений. Совершенно подавленный происшедшим, брат Дюверже в тихом ужасе вытаскивает карандаш и делает пометку в своей книжке, после чего, не веря собственным ушам, совершенно спокойным голосом произносит:

— Семь и два — девять!

Эйфелева башня шатается, обрушивается на обойное заведение и погребает его под своими обломками:

— Да. Я это знал! — Егор Егорович больше не может и рыдает, как теленок.

Когда все понемногу успокаиваются, Егор Егорович, опьяненный чувствами и целебным вином, все еще всхлипывая, пытается объяснить обоим друзьям, что если Братство вольных каменщиков существует, то, значит, оно действительно существует, а что оно существует, в том он, Егор Егорович, не допускает сомнения, потому что не существуй Братства вольных каменщиков, не существовало бы и братьев, которых он

любит от всей души и высоко ценит. То, что не удастся высказать словами, Егор Егорович дополняет жестами, ударяя себя в грудь и указывая протянутой рукой на бутылку с раствором марганцовокислого калия.

— И если я погибну, — поясняет он свою основную мысль, — то я погибну с большим удовольствием!

Ему возражают, что он не погибнет, а, наоборот, возродится, так как именно теперь, когда все это случилось, гибнуть нет никакого смысла. Брат Дюверже со счастливым лицом утвердительно кивает головой, пока она не остается в повислом состоянии. Брат Русель доликает стаканы свой и Егора Егоровича, после чего они оба, внезапно ослабев, задумываются над судьбами мира и теряют прежнее красноречие.

Остальная часть сцены интереса не представляет.

ЗАВЕТ МАСТЕРА

С шестого этажа медленно спускается по лестнице прямой и огромный старик, похожий лицом на Анатоля Франса. Над его правым плечом сияет солнце, над левым маячит серп луны. Седые нависшие брови оттягивают его голову книзу, сильная воля вскидывает ее обратно. Одной рукой он держится за перила, в другой руке посох, которым он ударяет о ступени лестницы. От этого стука в ужасе шарахаются, сбегают вниз и сваливаются в пролет лестницы серые мыши желаний, рыжие крысы страстей и гиены человеческой злобы. Попираемые змеи обвиваются вокруг его ног и в бессильной злобе кусают себя за хвост; густогривый лев, став на задние лапы, отдает по-военному честь шествующему рыцарю. Внизу у выходной двери его встречает и провожает поклонами Сибилла Фригийская, лицом старообразна и нравом гневлива, но перед ним робка и преданна, которая говорит:

— Хорошо ли вам выходить в такую погоду, мосье Жакмен? Вот вечерняя почта, мосье Жакмен!

Из внутреннего храма дверь отворяется во внешний мир, суетливый и шумный. Небо оплакивает землю, красными буквами вспыхивают огни ада, лязгает железо, трубят вестники гибели, толпы рабов и грешников проходят, погрузив головы в поднятые воротники. Тяжело дыша и больно ступая слоновыми ногами,

старик доходит до угла и делает знак перевозчику Харону, который подкатывает резиновую лодку.

Город Париж срывается с места и бежит навстречу, по обе стороны заглядывая в затуманенные окна такси. Крылатый с белой палочкой, всегда спокойный и выдержанный, сейчас чувствует, что мимо него скользнула смерть. В окне печального бюро прыгают уродливые металлические круги, заготовленные в подарок родственникам. В больших магазинах приказчики широким жестом раскидывают свертки черного шелка перед дамами с заплаканными глазами. Подобрав вонючую полу, бритый попик шагает через лужу, и нотариус защелкивает секретный замок несгораемого шкапа. Такси пересекает мост, на котором висит в киоте спасательный пояс. Из-под грузовика вытаскивают старуху, и полицейский агент царапает карандашиком в книжке. Неумолимый счетчик наворачивает полуфранки, за шумом улицы не слышен бой башенных часов, тени чередуются со светом — и шофер тормозит у подъезда.

Удлиненный четырехугольник издавна означал видимый мир: запад и восток, север и юг. Непознаваемое разумом включено в три грани лучезарной Дельты: убегающие лучи возвращаются и образуют клубящуюся облачность. Ярко озарен Восток, полумрак в колоннах Храма. На тройной стук привратник, заглянув в глазок, приотворяет дверь.

И тогда меж двух светочей вырастает высокая прямая фигура старого каменщика. Больная нога делает шаги, твердая рука сгибается в треугольник, — и вдруг, не в порядке обычая, без команды, только из почтения и от невольного ужаса перед грядущим, пути которого неведомы, сорок человек, сидящие на длинных боковых скамьях, разом подымаются в глубоком молчании и тем же жестом вздымают правые руки.

От заката к Востоку шествует вольный каменщик ровным и упрямым шагом, опираясь на стучащую о плиты трость. Под его подошвами чередуются белые и черные квадраты, — как ночь сменяется днем, как зло побеждается благом в вечной борьбе Ормузда с Ариманом. Сегодня брат Жакмен облекся в черную ленту, шитую серебром, — философский траур рыцаря Кадоща, прожившего век и более, в последний раз пришедшего в ученическую ложу. В последний раз, с трудом,

но и с неколебимым упорством, он одолевает три скромные ступени — он, уже знакомый с семью ступенями символической лестницы, от *pes plus ultra** платформы до очищающего душу познания законов, руководящих движением небесных светил.

Грузное тело с человеческим оханьем опускается на бархатный стул. Сурово молчит рыцарь — долго и глубоко кашляет человек, и лицо Анатоля Франса наливается кровью.

Солнце с востока бросало лучи в долины, и вот там, на скамейке, в ряду других, с двух боков сжатый, вытянув шею, сидел наш симпатичный и в последнее время такой бедненький Егор Егорович, тоже мастер, тоже долженствующий быть готовым к смерти, да и готовый, пожалуй, но, в малости своей, совсем не рыцарь и не философ, а просто — безработный беженец, муж достойной жены и отец натурализованного сына, запутавшийся в сомнениях. Вместе со всеми он встал — и вместе со всеми снова опустил на скамью, насквозь пронизанный чувством человеческой жалости, страха и восхищения.

Это он позволил себе усомниться? Это он из-под обломков житейского высунул крысью мордочку и пискнул хулу на дневное светило за то, что оно не всех равно греет, хотя светит и всем равно? Это он с игрушечной сабелькой вызывал на бой Великого Архитектора Вселенной? Егору Егоровичу очень стыдно, очень стыдно! Что еще там с ним будет, как повернется его жизнь, — а тут большой человек, испытанный каменщик, умудренный годами и опытом, замученный болезнью, поборол жажду телесного покоя и пришел принять участие в братских строительных работах. И вот — все взоры к подвижнику, и все сердца к нему, к его готовности предстать перед лицом вечности во всеоружии рыцаря и каменщика, не дорожащего металлами, вечно ищущего и вечно познающего.

Победив приступ старческого кашля, брат Жакмен сидит, прямой и суровый, может быть слушая докладчика, может быть думая свое. На его скулах вздымаются и опадают покрытые щетиной желваки — единственные предатели мучительных болей. Из-под насупленных бровей черные глаза старца смотрят на ряды

* крайнего предела (*лат.*).

братьев, скользят по равнодушным, выскивают верных и стойких служителей и мастеров царственного искусства. Егор Егорович видит взор, обращенный на него,— и, открыв рот, замирает в боязни справедливого осуждения. И вдруг,— или это только кажется Егору Егоровичу,— строгое лицо брата Жакмена смягчается едва приметной доброй улыбкой. Неужели ему? И сердце Егора Егоровича гладит бархатная лапка, и так ему хорошо теперь, и так он полон любви ко всем.

Докладчик закончил, и в порядке дня — поименная переключка. На вызов брат Жакмен отвечает глухим, но отчетливым «présent»*, другие откликаются, кто баском, кто фальцетом, и Егор Егорович, дождавшись очереди, отзывается с тревожной поспешностью; ему кажется, что его голос отличен от других голосов крикливой неуместностью. Когда же список окончен, брат Жакмен берет слово, вонзает посох в дерево подмостков и вырастает без видимости болезненного напряжения. Все глаза к нему — и ложа замирает.

Ждут его слова,— но он молчит. Мгновение его молчание кажется долгим часом. Брат Жакмен, лицом не дрогнув, борется с болью в ногах и пояснице и с волнением; он хочет, чтобы голос его был спокойным,— и голос брата Жакмена спокоен:

— Я пришел сюда в последний раз,— говорит брат Жакмен,— пришел проститься перед уходом к Вечному Востоку. Замкнут герметический круг, исчерпаны силы вольного каменщика.

Снова долгая пауза. Если было тихо в ложе, то теперь мертво и не слышно дыхания. Брат Жакмен подготовил дома долгими одинокими вечерами свою прощальную речь братьям, краткую, скудную словами,— но каждое слово полновесно, важно и необходимо. Эту речь он помнит от слова до слова, но он должен преодолеть приступы болей и спазмы горла. Дома, повторяя свою речь, он не раз прерывал ее кушлетами детской песни, настойчиво напевая «À monsieur Po, à monsieur Li», здесь этого нельзя. Двигаются желваки на щеках, рыцарь Кадош должен победить в себе физическую слабость. Он говорит дальше:

— Уходящего мастера сменяет новый, работа не должна прекращаться! Но, идя путями посвященных

* «здесь» (фр.).

к познанию вечных законов Природы (тут блестят жаром глаза оратора, сверкает золотой зуб, и рука его простерта к колоннам),— да не уклонится новый мастер на ложные окольные пути увлечения профанного мира! Не для того пронесен через века свет масонского посвящения! Не для того великий учитель Хирам пал от руки невежд и предателей, не выдав им священного Слова! Храм посвященных не рыночная площадь и не избирательный участок!

В храме посвященных мало воздуха — и грудь оратора сжимают клещи давней болезни, его ноги не хотят сдерживать обессилевшего тела. Не будет окончена речь, в которой обдуманно каждое слово. Побелевшие губы брата Жакмена, порвав нить речи, беспомощно и неслышно шепчут ненужный стих:

Arlequin fit sa boutique
Sur les marches du palais...

Братские руки помогают оратору опуститься на мягкий стул. Старик испуганно оглядывает лица ближайших, ища приговора своей человеческой судьбе,— не все ли кончено, не опускают ли его в место последнего успокоения? Но лица спокойны и полны доброго расположения: «Сядьте, дорогой брат, вы утомились!» Он отталкивает руки и опускает брови на потухшие глаза!

— Mon très illustre frère,*— взволнованным тенором говорит страховый агент, удовлетворенно отмечая про себя естественную растроганность голоса.— Ваши слова всегда были и будут руководством в наших работах. Но мы надеемся, дорогой брат, мы уверены (он произносит слово «уверены» с напрасным подчеркиванием), что вы еще долго будете принимать в этих работах личное и самое деятельное участие. Прошу всех братьев присоединиться ко мне в тройном горячем рукоплескании в честь нашего дорогого брата Эдмонда Жакмена!

Слова страхового агента уместны и совершенно необходимы: ими отгоняется веянье смерти. Трагическое ими обращено в обыденное, роковое — в старческую слабость. Страх на лицах сменяется добрым расположением, свет потустороннего переключается в электрический провод, вечность откатывается вдаль,

* — Мой весьма знаменитый брат (*фр.*).

и свобода, равенство и братство повисают в воздухе полотнищами знакомых, сильно подержанных знамен.

В числе других Егор Егорович плавно спускается с зенита на мозаичный пол ложи. После взблеска света, подобного вспышке магия, все предметы приняли прежние очертания. В сердечной растерянности Егор Егорович не замечает нечаянной неувязки; со всей искренностью доброго человека и преданного брата он желает брату Жакмену возврата здоровья. Если же судьбе угодно, чтобы наилучший из каменщиков оставил этот мир, Егор Егорович клянется неукоснительно следовать его высокому завету, как последуют ему, конечно, и Себастьян Дюверже, и Жан-Батист Русель, и страховой агент, и все, прослушавшие недоговоренную, но во внутреннем своем смысле вполне законченную речь. С этого вечера, с этого момента духовный путь Егора Егоровича навсегда определен, всем его сомнениям положен конец. В чем дело? В маленьких житейских неудачах? В несоответствии явлений профанного мира высоким идеалам Братства вольных каменщиков? Но ведь это только там, за стенами строительной мастерской, на асфальте улиц, в толпе заблудших и не принявших высокого посвящения, во временном и несущественном!

Егор Егорович никому не уступает чести и счастья отвезти домой, на парижскую окраину, больного старика и мудрого учителя. Эдмонд Жакмен, потерявший всякое величие и оставленный бодростью, опирается всей тяжестью о плечо русского брата. Улицы смотрят в окна такси без особого любопытства, поблескивают огоньками аптекарские шары, вывески отражаются в темной воде Сены, неизвестные помешивают ложечкой в угловых кафе, счетчик останавливается на прежней цифре, и Сибилла Фригийская неодобрительно качает головой: она предупреждала мосье, что ему вредно выходить по вечерам, да еще в дождливую погоду. В старом доме нет лифта, и подъем на шестой этаж совершается этапами, с долгими передышками на каждой площадке. У Егора Егоровича отнюдь не юношеское сердце (Казань — Сибирь — Сингапур), но разве можно сравнивать! Егору Егоровичу даже несколько стыдно за свое завидное здоровье, и он решительно требует, чтобы брат Жакмен опирался на него всей тяжестью. Егор Егорович превосходный актер, он не

только рассуждает о посторонних предметах, он может даже расшутиться и насчет погоды, и насчет консьержки, высказать свой взгляд на удобства и неудобства подъемных машин (был такой случай — остановилась посредине и ни с места, да так с полчаса и пришлось ждать — мое почтение!), он знал одного человека, который вот так же задыхался на подъемах, а пожил два месяца в деревне — и все как рукой сняло, так что потом взбегал свободно на шестой этаж. Егор Егорович врет соловьем и суетится фокстерьером, даже преодолевая пятую площадку. В передней пахнет пылью и табаком, в кабинете пахнет пылью, табаком и старым человеком. Эдмонд Жакмен, поддерживаемый Егором Егоровичем, опускается в кресло с обратным изображением формы его одряхлевшего тела. Силы старика исчерпаны, глаза полузакрываются, но рука шарит по столику, нащупывая прокуренную трубку. Егор Егорович подталкивает трубку и равнодушным голосом, даже с легким зевком, говорит:

— Ну вот, все хорошо, можно нам и покурить!

Дав закурить Жакмену, закуривает и сам легкую папиросу, обмывая ароматным дымом свое простоватое, но острой жалостью ущемленное сердце.

Едва Егор Егорович, выйдя от больного, появляется на площадке шестого этажа, как перед ним вырастает полноправная фигура, хватая его за шиворот и, не тратя времени на счет ступенек и этажей, швыряет его в пролет лестницы: довольно обычный авторский прием для оживления рассказа и привлечения внимания к дальнейшему.

Дело в том, что временно нам Егор Егорович не нужен, даже мешает; в его присутствии приходится говорить деланным языком, приписывать ему мысли, развитие которых для него затруднительно. Иногда в подобных случаях вытаскивается на сцену слегка потрепанный образ профессора Панкратова, присяжного резонера повести, — но и этот прием делается утомительным. Неужели действительно нельзя обойтись вообще без зрительных образов и поговорить простым языком? Чревоушатель сажает на стул посреди сцены куклу, подающую реплики и отвлекающую своим комическим видом внимание зрителей от

истинного источника звуков, от чревовещательского чрева. Кукла нелепа и не обязана походить на человека; она говорит писклявым голосом, не существующим в природе,— будто бы фокус от этого выигрывает. Так и Егору Егоровичу было предложено выступать в роли выразителя мудрости веков, на что он положительно неспособен. По этому случаю его временно отшвыривают и ставят напетую авторами граммофонную пластинку.

Вы, конечно, полагаете себя разумнее бывшего казанского почтового чиновника. Доводы вашего разума основаны на достаточном количестве опытов,— к чему вам символические побрякушки? Вы рождаетесь в полном соответствии с вами же придуманными законами биологии, живете по всем правилам борьбы за существование, строите общество на классовых началах и пытаетесь пересоздать его в коммунистическое (или, наоборот, боретесь против этого). Вы изучаете «как» и не утруждаете себя ненужными «зачем». В крайнем случае вы принимаете на службу бога и поручаете ему ведать малопонятными и практически бесполезными вопросами. Чтобы бог не слишком путался под ногами, вы можете подвесить его в правый угол или поручить ему выработку кодекса морали: «Око за око — зуб за зуб», «Люби ближнего, как самого себя» и т. д., только бы было ясно и категорично — от сего дня на все времена. Установив, таким образом, непреложность нравственных догм, вы пытаетесь столь же безошибочными истинами выразить и явления видимого мира, хотя это несколько хлопотнее. Вся прелесть в том, что вы идете путями разума, при дневном свете, не позволяя себе мистических уклонов и не чихая выше носа.

И вдруг появляется какой-то Егор Егорович, в запоне с красной или синей оторочкой, на негнущихся ногах, ступни которых сложены треугольником; оправившись от падения с шестого этажа, он отряхивает пыль с рукава и штанины, охорашивает галстук и, с робостью откашливаясь, заявляет, что относится к вам с полным уважением, но не может не указать, что конечной истины нет ни в области нравственной, ни в области положительных знаний и что это открыто ему в Париже на улице Пюто или на улице Кадэ, причем и это также не истина, а лишь откровение, то есть творческая догадка.

Вы досадливо отмахиваетесь и отправляете его в правый угол или в канцелярию состоящего при вас бога; но оказывается, что у него есть свой собственный храм и свой Великий Строитель Вселенной, не пахнувший ладаном, не рожденный от девицы, не обладающий деспотической властью и не посягающий на свободу ваших умозаключений. Он просто старый друг многих поколений философов, ушедших к Вечному Востоку, но оставивших великолепнейшее наследство. По отношению к нему Егор Егорович располагает всеми правами дикаря, секущего своих идолов за малейшую провинность. Вы еще допускаете, что Гермес Трижды Величайший мог впутаться в такую несерьезную компанию, но Аристотеля, Платона, Канта, Бердяева и самого себя вы не считаете возможным уступить. Егор Егорович не упорствует, так как мало с ними знаком. Вообще он проявляет возмутительную терпимость и, зная вас за профанов, готов открыть вам свет, как людям свободным и добрых нравов, если только вы согласны временно вернуться в утробу матери, отказаться от всего, вами якобы найденного, и начать поиски сначала.

Вы отвергаете, Егор Егорович не настаивает, и каждый шествует дальше своим путем: вы — путем опыта, он — путем царственного искусства, впрочем, не исключающего и профанских достижений.

В качестве таковых Егор Егорович прежде всего спешит использовать метро, так как время позднее и можно не застать пересадки. Билет стоит семьдесят сантимов, тогда как раньше стоил франк пятнадцать; это не значит, что переменился человек, став из первоклассного второклассным; это только значит, что изменилась его ценность на человеческой бирже. Егор Егорович не замечает станций — его мысли заняты всецело происшедшем сегодня в ложе. Если старый человек, преодолев боли и слабость, приходит провести один из последних своих вечеров в кругу тех, кого он зовет братьями, если он приходит к ним со словами завещания, значит, Братство — не забава маленьких буржуа, страховых агентов, аптекарей, обойщиков, адвокатов и депутатов. Он сказал, этот старый учитель: «Да не отвлечется новый мастер ничтожными злобами дня и да не... еще что-то такое, и не для того великий строитель Хирам...» Это, конечно, замечательно! Но

только не всякому доступно. Он-то, брат Жакмен, способен на какой угодно подвиг — вон какая в нем сила духа! А мы — люди маленькие, нас строго судить нельзя. И все-таки стыдно, очень стыдно покоиться на пуховых постельках таблицы умножения и возлагать надежды на голосование в Палате. Заплатками на локтях не создашь нового человека! И кто-нибудь должен же подумать о большем, чем сегодняшней день.

Это ничего, что погруженный в сумятицу мыслей Егор Егорович пропускает свою станцию и вынужден кусок пути проделать пешком. Дождь прошел, прогулка перед сном даже приятна. Закончился примечательный день, который надолго останется в памяти не одного только вольного каменщика Тетехина!

ПОДВИГ

Неприятно, когда на всем ходу сталкиваются два велосипедиста; хуже, когда два таксомотора, и совсем ужасно — два грузовика. Но и столкновения людей не всегда радостны.

Если бы Егор Егорович раньше заметил Анри Ришара, он перешел бы на другую сторону; но столкновение произошло носом к носу, и Ришар, всегда любезный, почти заключил Егора Егоровича в дружеские объятия.

— Я так рад вас видеть, мосье Тэтэкин, и так часто о вас вспоминал! Надеюсь, что вы здоровы и благополучны?

Егор Егорович здоров, жена также. Дела еще не наладились, но об этом говорить не стоит. К сожалению, он несколько спешит и зайти в кафе не может.

Но возможно ли, чтобы не нашлось у него десяти минут для старого друга, который непременно хочет предложить ему согреться добрым американским грогом, — погода так ужасна. Он не огорчит отказом старого сослуживца, который иначе подумает, что мосье Тэтэкин имеет против него зуб.

Егор Егорович совершенно не приспособлен для дурных отношений и решительных действий. Единственное, на чем он настаивает, это замена грога чашечкой черного кофею. Столик в закоулке пустого кафе кажется ему липким, кофей тепловато-противным, а собственный язык неповоротливым. Нет, он ничего

не имеет лично против Ришара: каждый человек действует сообразно своим взглядам.

Но очевидно, у Анри Ришара есть основания думать, что не все его прежние друзья, или, по былой терминологии, братья, так терпимы и так справедливы. Да, он разочаровался в Братстве и счел своим долгом, как честный человек, оставить его ряды. Разве он поступил бы лучше, оставшись среди людей, которые относятся к нему с недоверием и распускают про него порочащие его честь слухи? Да, да, он отлично осведомлен обо всем, в том числе и о презренном доносе этого мерзавца, издателя бездарных и подлых уличных листков! Его только удивляет, его воистину по-ра-жает, что гнусным наветам такого лица придают какой-то вес!

Егор Егорович чувствует себя глубоко несчастным: зачем он согласился на беседу с Анри Ришаром! Следовало вежливо и твердо отклонить его настойчивое приглашение. В этом кафе спертый прокислый воздух, никакой вентиляции, а из-за перегородки доносятся пьяные голоса; вообще — обстановка противнейшая.

— Вы меня знаете, дорогой друг мосье Тэтэкин! — и Ришар бьет себя в грудь не больно, но трагически. — Вы знаете, что я не способен на предательство, да еще из-за денег! Я хочу сказать, что я, конечно, никогда бы себе не позволил, а тем более из-за каких-то сотен франков...

Анри Ришар с негодованием отшвыривает ложечку, которая падает на пол, доказывая звуком, что она не серебряная. Все-таки ему приходится наклониться и безразлично ее поднять.

— Хуже всего, — продолжает Ришар, — что я до сих пор не удосужился погасить мой маленький долг в кассу ложи; хорошо, что вспомнил, — непременно сделаю это послезавтра. Да я и вам, кажется, должен двести франков, так уж заодно...

Егор Егорович ищет глазами шляпу и говорит:

— Это неважно, а вот я боюсь опоздать...

Нет, Ришар не может ему позволить уйти, не выслушав его объяснения всей этой смешной, конечно, но противнейшей истории. Ему оправдываться не в чем, но он не намерен и скрывать. Документы... то есть какие же это документы! Просто — печатный «Бюллетень»! Они были выкрадены у него из стола в бюро.

Это правда — было легкомысленно их там оставлять; но он не мог держать их дома, где даже не знают, что он принадлежал к Братству. Этот негодяй, явившись в контору по делам в его отсутствие, выкрал «Бюллетень» и опубликовал имена. Затем он имел наглость предложить ему, Анри Ришару, добыть какие-нибудь скандальные частные письма, обещая за это чуть не горы золота. Он был вы-бро-шен за дверь вот этими руками!

Егор Егорович уныло смотрит на эти руки Ришара. У Ришара довольно красивые руки, и даже ногти хорошо отполированы. Егору Егоровичу известно, что какая-то уличная газетка публикует фамилии масонов, а также известно, что в этом заподозрено участие Ришара; но о таких делах в ложе стараются не говорить, пока дело не расследовано компетентными лицами. Известно и про какой-то анонимный донос или что-то в этом роде. Раньше Егор Егорович как-то не хотел верить, чтобы Ришар был способен на очень уж большую подлость, тем более рискованную. Теперь, глядя на руки, вышвырнувшие негодяя, Егор Егорович предпочел бы поскорее уйти из кафе на чистый воздух. Поэтому, положив на блюдечко монету, он решительно берет шляпу, но недоумевает, как бы ему уйти, по возможности не подав Ришару руки. Это очень трудно и требует мужества, которым Егор Егорович, кажется, не обладает в достаточной степени. Привстав с дивана, Егор Егорович смотрит на часы и пытается сделать шаг. Его останавливает странное заявление Ришара, заметившего его нерешительность:

— Мосье Тэтэкин, если я говорю это именно вам, то лишь потому, что именно вы, мосье Тэтэкин, были истинным виновником всей этой истории.

Егор Егорович в недоумении опускается на свое место.

— Да, вы,— продолжает Ришар.— Когда я был в отпуске, вы изволили в чем-то не поладить с издателем «Забав Марианны» и убедили главную контору отказать ему в распространении его журнала.

— Это был порнографический листок!

— Очень возможно. Таких листков мы распространяем немало. Мосье Тэтэкин, я, конечно, не подозреваю вас в каком-нибудь,— как этот говорится? — заинтересованном пристрастии, хотя не совсем пони-

маю, почему именно на этот листок вы обратили особое внимание. Но, во всяком случае, это дало повод известному вам негодюю начать поход сначала против вас, а потом и против меня.

— Вы говорите вздор, Ришар!

— Святую истину, мосье Тэтэкин! И прибавлю, что вы уволены со службы по проискам этого мерзавца, именно как масон и как человек, на которого нельзя очень полагаться. И я вас предупредил.

Все несчастье в том, что Егор Егорович снял шляпу. Теперь приходится сидеть с закрытыми глазами и слушать, как Ришар, узнав о кознях против его дорогого шефа, горячо отстаивал его интересы в главной конторе, как он сам хотел, из чувства солидарности, бросить службу в этом учреждении, где не умеют ценить людей, и как остался только для того, чтобы обличить негодяя и добиться возвращения на службу Егора Егоровича. Он еще не добился этого, отчасти отвлеченный своими личными неприятностями, потому что может ли он хлопотать за другого, когда его собственная честь кем-то заподозрена,— но некоторые шаги он уже предпринял и мог бы надеяться на успех. Во всяком случае, он решил уволить из бюро бухгалтера, который совершенно обленился и никуда не годится; пускай бухгалтера переведут в другое бюро. Что касается процента иностранцев, то это сущий вздор и пустой предлог! Мосье Тэтэкин мог бы свободно вернуться в бюро, пока в качестве бухгалтера, а потом и заведующим, а он, Ришар, рад быть по-прежнему его помощником. Да, да! Выйдя из Братства, Анри Ришар умеет оставаться и братом и другом; его чувства хорошо известны старому сослуживцу. Что касается остальных «братьев», они убедятся в лживости доноса, когда узнают всю, но непременно всю, правду из уст русского брата, которого все так уважают. Он, Анри Ришар, презирает клевету и никого не боится. Он выше этого. Но конечно, он не хотел бы, чтобы гнусная клевета распространилась и между профанами и бросила тень на его доброе имя. Это может, например, донестись до главной конторы и повредить его служебной карьере, а кстати, и его хлопотам о возвращении на службу Егора Егоровича. Так что интересы их совпадают. Он сам был масоном и знает, что у масонов большие связи; к тому же сегодня побеждают они, завтра их

место займут другие. Но не в одних личных интересах дело; главное — он ищет справедливости!

Голос Ришара полон искренности. Голос Ришара даже дрожит от волнения. Ришар не сдерживает голоса, тем более что здесь никого нет, а за перегородкой шумят веселые посетители. Да не все ли равно? Пусть весь мир знает, что Анри Ришар честен и умеет честь свою защитить против кого угодно. Что касается бухгалтера, то он подкопил достаточно и стал дерзким. Главная контора всегда ценила работу мосье Тэтэкин... Он не скажет, что все это легко и просто, но устроить возможно, он в этом не сомневается.

Егор Егорович сидит, не подымая глаз. По его телу ползают шершавые гусеницы и липкие улитки. От получашки кофе его поташнивает. Теперь ему достоверно известно, как все это случилось; кажется, он был несколько наивным, но это неважно. А вот Анна Пахомовна гораздо догадливее, — хотя раньше она не только доверяла Ришару, а даже словно бы была с ним излишне приветлива. Но права она, а не Егор Егорович. И однако — как же теперь быть и как уйти? Во всяком случае, теперь уже нельзя проститься за руку, этого никак нельзя!

— Итак, что вы на это скажете? — совершенно спокойным и деловым голосом спрашивает Анри Ришар. — Не подумайте, что я предлагаю вам сделку, — и я не таков, и вы не таковы. Но, дорогой мосье Тэтэкин, должна же быть взаимопомощь у людей нашего круга!

Егор Егорович открывает глаза, встает, надевает шляпу, берет палку и не знает, должен ли он, по крайней мере, вежливо раскланяться перед уходом. При всей кротости, его начинает трясти от возмущения. Нет, он не раскланяется!

Вероятно, Анри Ришар догадывается, потому что внезапно он меняет тон и пускает в спину уходящему ядовитое замечание:

— Только не просчитайтесь, *mon cher monsieur*, как просчитались с «Забавами Марианны»!

В первый раз в жизни достойный Егор Егорович бьет человека палкой по голове. Он бьет его с ужасом и отчаянием, не в силах сдержаться и зная наверно, что сейчас сам будет лежать на земле растоптанным и, может быть, убитым. Он ударяет еще и еще раз, по

пробору головы, по уху, по плечам, по пальцам, которыми этот человек хочет защититься. Он не понимает, почему же тот не кричит, не зовет на помощь, не защищается, не нападет сам? Все происходит в полном молчании — слышно только шлепанье трости Егора Егоровича.

Так же внезапно он останавливается и смотрит. На лице Ришара крайний испуг и удивление; кажется, он даже не испытывает боли. От перепугу Ришар весь сжался и вдавился в спинку дивана и только глазами следит за концом палки. Удивлен и Егор Егорович, ожидавший другого, если вообще он мог чего-нибудь ожидать. Медленно пятясь, он отходит к двери и вдруг возвращается в новом припадке уже настоящей ярости. Его особенно раздражает, что Ришар оказался жалким трусом, — значит, и его, Егора Егоровича, решимость не явилась подвигом! На этот раз, подняв палку, он долго выискивает место, куда бы ударить больнее. Вот теперь он мог бы убить человека, этот кроткий вольный каменщик. Очевидно, видит это и Ришар, пригнувшийся голову до уровня стола, но не решающийся крикнуть.

Тогда Егор Егорович хватает недопитую чашку кофею и выливает на встрепанную голову человека. Затем, повернувшись спиной, уверенными шагами покидает противное кафе, дверь которого сама захлопывается.

Ряд глав, сократившихся до заголовков. Бессонные ночи Егора Егоровича. Ему всюду мерещатся чудовища, с которыми он бьется смертным боем. Раз навсегда приподнятые брови, застывшие в удивлении. Анализ собственных поступков, в частности — применимо ли прямое действие там, где не испытаны до конца пути убеждения? Осмотр палки, совершенно не пострадавшей от употребления. Вопрос общий: я ли это? При утвердительном ответе — скрытое, но приятное чувство удовлетворения. Колебания по вопросу о том, следует ли посвятить в дело Анну Пахомовну? Подход издали и крайняя путаность изложения. Необходимость пояснить некоторые темные места, а именно Анна Пахомовна спрашивает:

— Раз этот твой Ришар должен тебе двести

франков, почему же он не отдал? Для нас сейчас дороже каждая копейка!

Попытка привлечь внимание Анны Пахомовны к сути дела. Малодушное раскаяние в том, что не удержал языка. Выяснившаяся необходимость договаривать до конца хотя бы и напрасно начатое. Толкование недавних политических событий в связи с охваченным пламенем автобусом. Определение рыночной ценности масонских тайн (в крайне популярном изложении). Справедливая реплика Анны Пахомовны: «Этот человек способен продать родную мать». Окольный подход к заключительному моменту: роль палки в живых событиях дня. Анна Пахомовна обнаруживает неспособность представить себе Егора Егоровича в одеждах Георгия Победоносца, попирающего змею. Несколько обидное предположение:

— Может быть, это он тебя ударил? Этот человек способен на всякую гадость!

Внезапная вспышка полного понимания со стороны Анны Пахомовны. Нужно сказать, что очень часто женщины поражают верностью своих психологических догадок. Именно таким и знала Анна Пахомовна этого Ришара: дерзким на словах и трусом на деле. Не стоит вспоминать, но однажды она имела случай в этом убедиться: наглец получил должное. Она не помнит точно, но, кажется, она также дала ему несколько пощечин; во всяком случае, высказала все то, что о нем всегда думала. Она не принадлежит к разряду тех женщин, с которыми можно обращаться вольно. Она не носит купальных костюмов, которых не видно на теле, и не мажется на пляжах всякой дрянью, чтобы казаться загорелой. Какое счастье, что ей вовремя удалось увести оттуда Жоржа, неопытного мальчика, которого пытались развратить!

Егору Егоровичу остается утвердительно кивать: конечно, компания для Жоржа неподходящая. Человек, способный торговать тайнами общества,— подобная личность позорит человечество. И как все последовательно и ясно: два подлеца чего-то не поделили, и один послал анонимный донос на другого, а тот сам себя выдал. Какое бесстыдство и какая грязь! Нет, Егор Егорович ни в чем не кается: поступить иначе он не мог.

— И имей в виду,— добавляет от себя Анна

Пахомовна,— что эта особа усиленно лезла ко мне со всякими любезностями, воображая, что я ничего не замечаю. Просто — полуголая самка с нахальным лицом. Только вы, мужчины, можете быть такими слепыми!

Взволнованная воспоминаниями, Анна Пахомовна запирается в спальне и, впервые после долгого воздержания, прибегает к наркотическому действию валериановых капель.

Некоторое время мысли обоих супругов опять развиваются в форме заголовков. Духовное одиночество вольного каменщика. Реминистенции Анны Пахомовны. Колонна мужская и колонна женская. Трость как орудие справедливости. Что такое героизм? Роль случая в нашей жизни. Чуткость обоняния соседских кошек. А все-таки — что будет дальше? Время — врач скорби. Возможно ли полное взаимное понимание?

Последний вопрос получает неожиданное разъяснение. Минут через десять Анна Пахомовна выходит из спальни преображенной и с заплаканными глазами. В ее походке есть что-то грациозное и в высшей степени женственное. Прежде всего она без слов целует небольшую лысину задумчиво сидящего Егора Егоровича и лишь затем говорит:

— Гриша, я все, все отлично понимаю. Может быть, я была немного легкомысленна, но я ничем не нарушила... я ничего, ничего не сделала дурного.

И прежде чем Егор Егорович успел широко открыть рот, она прибавила:

— Я всегда знала, что ты меня любишь и смело встанешь на защиту чести женщины и твоей жены!

Последние слова смешались со счастливыми рыданиями.

ЗА ОГРАДОЙ ХРАМА

Оказывается, Жорж далеко не мальчик, а вполне солидный инженер, подающий большие надежды и необходимый Франции своими познаниями. И даже возможно, что Франция позовет Жоржа применить его знания в колониях. Мосье Жорж говорит об этом небрежно, но с чувством человека, готового исполнить свой долг. Анна Пахомовна, подлинная мать, совер-

шенно применилась к тону Жоржа и тоже рассуждает об этом как о вещи очень естественной, и удивляется только такой неосновательный человек, как Егор Егорович. То есть он, конечно, готов радоваться такому явлению, но как-то не вполне уверен, что Франция действительно нуждается в Жорже. В нем самом, например, Франция окончательно не нуждается, а как раз наоборот: никакой нужды не имеет. Анна Пахомовна легко себе представляет, что вот Жорж будет там что-нибудь строить или даже кем-нибудь управлять, хотя в колониях много негров и комаров.

— Но тогда, Жорж, тебе придется купить пробковый шлем? Я слышала, что без шлема совершенно невозможно.

У самой Анны Пахомовны завелось в последнее время множество забот, каких раньше не было. Прежде всего — большое количество всякой починки; каким-то образом все стало быстро рваться и изнашиваться, особенно белье. Затем Анне Пахомовне пришлось вспомнить, что в юности, то есть сравнительно не так давно, она сама себя умела обшивать; конечно, простенькие фасоны, юбка и кофточка, труднее всего ворот, но можно пришивать воротничок из органди или галстучек из той же самой материи, что и кофточка. Дважды в неделю базар, каждодневно стирание и дважды мыть посуду — самое неприятное. Невероятно быстро стала всюду скопляться пыль, даже какими-то хлопьями и кусочками, так что Жанна д'Арк и Достоевский задышались и чихают друг на друга. Главное — строжайшая, во всем вынужденная экономия. С Егором Егоровичем вместе высчитали, что могли бы прожить еще полгода без особенных лишений, но во всех прихотях себя урезывая и при условии, что Жорж найдет скоро хоть какой-нибудь заработок. А затем? А затем, очевидно, крайняя нужда, даже нищета. Если даже продать земельный участок...

И вот тут начинался спор. Анна Пахомовна стояла за продажу, хотя найти покупателя и нелегко; все-таки можно будет еще продержаться, пока Егор Егорович как-нибудь устроится. Егор Егорович, во всем уступчивый, единственно в этом никак согласиться не мог. Именно в своем участке и в доме все спасенье — на случай черных дней, уж если, понимаешь, но совсем — ложись и помирай. Как-нибудь отеплить дом, чтобы

и зимой было можно жить. Нет, все что угодно, а домик сохранить! Огородик развести, капуста там, лук, помидоры, салат. «Это совершенно вздор, Гриша, потому что никогда не прокормиться. И если поселиться там, то уж ты никогда не найдешь работы в Париже. Во всяком случае, я не согласна доить корову». — «Коровы не будет, а вот я все думаю: кролики...» — «И ешь сам эту гадость! И почему ты думаешь, что не найдешь работы здесь?» — «Да нет, я только на случай, потому что ведь неизвестно...»

Анна Пахомовна не старуха и не желает окончательно лишать себя последних культурных условий жизни. Уж лучше немедленно переехать в две комнатки... Оставаясь одна дома, Анна Пахомовна даже плачет, вспоминая время, когда в Казани она была юной неопытной девушкой и мечтала о счастье, которого, конечно, так и не дождалась. И вот она вынуждена дважды в день мыть тарелки. Жорж — добрый мальчик и жалеет свою мать, а Егору Егоровичу совершенно безразлично, ему дороги только его масонские приятели. Этому человеку она отдала свою жизнь и была ему верна, отказавшись от тысячи возможностей, гордо отвергнув все, все, что бросали к ее ногам. И вот — вся жизнь разбита, и ее хотят заставить доить коров и кроликов!

— Если ты получишь место в колониях, я поеду с тобой, Жорж.

Жорж отвечает просто:

— Qui, maman*.

И действительно, Жоржу необходимо будет завести свое хозяйство. Это гораздо экономнее и гораздо солиднее. Жорж благоразумен, практичен, и ему, на русский счет, приблизительно сто шестьдесят пять лет. В школе Жорж позволял себе некоторую ветреность, теперь у него круг серьезных и полезных знакомств. Жорж нужен Франции. Франция нужна Жоржу.

Собственно, единственное, что смущает Анну Пахомовну, это пробковый шлем. Бывают ли дамские пробковые шлемы? Анна Пахомовна едет на верблюде в пробковом шлеме, окруженном розовым газом. Негры в страхе разбегаются. Анна Пахомовна отдыхает под пальмой, на которой растут бананы и финики. На

* — Да, мама (фр.).

Анну Пахомовну, погруженную в свои думы, нападает разъяренная жирафа, но ее спасает вождь племени, богатейший индейский магараджа; он убивает жирафу и поливает одеколоном потерявшую сознание Анну Пахомовну. «Ах, кто это?» В награду за спасенье магараджа просит Анну снять на минуту пробковый шлем — и золото волос рассыпается по плечам. Дома, в своем вигваме (род тамошней гарсоньерки), Анна лежит, раскинувшись на шкуре убитой жирафы, то есть пантеры, и немного мечтает о магарадже, который в это время ветром скачет по пустыне, безнадежно стараясь победить внезапно вспыхнувшую в нем страсть к белой женщине. Но придется бедняге успокоиться: Анне довольно ее европейских приключений! Стиснув зубы, бедная женщина роняет слезы в пробковый шлем.

Каким все это кажется сказочным и далеким от действительности! А между тем в канцелярии министерства колоний благодетельный чиновник как раз макает перо в чернильницу — и мир иллюзий вот-вот обратится в действительность.

Лоллий Романович Панкратов водит карандашом по обрывку картона. Любопытно, что ему совершенно нечего делать: заказов на коробочки и наклейку этикеток давно уже нет, все заказы отдаются лицам французской национальности, и это так естественно. На кусочке картона крупным и корявым почерком Лоллий Романович выписывает слово «естественно», подчеркивает, ставит два восклицательных знака и думает дальше.

Естественно, что во Франции преимущественное право на питание имеют французы, в Германии — немцы, и вообще уроженцы соответствующей страны. Естественно, что при наличии безработицы страдать от нее должен пришлый элемент. Лоллий Романович — пришлый элемент. И поэтому пониже слова «естественно» Лоллий Романович кургузым карандашом отмечает для памяти: «Пришлый Элемент». Оба слова с большой буквы, на конце нет твердого знака, так как русские интеллигенты перестали его употреблять приблизительно в девяностых годах прошлого столетия. Сознание этого явилось огромным удовлет-

ворением, когда твердый знак был наконец уничтожен новым правописанием: личная инициатива и тут опередила законодательство.

Но в девяностых годах прошлого века еще не была достаточно усвоена мысль о том, что преимущественное право на потребление пищи принадлежит людям господствующей в данной стране национальности, а просто считалось, что оно, по справедливости, принадлежит голодному; на этой основе были развиты социальные учения о распределении богатств, о соотношении труда и капитала, теория прибавочной стоимости и так дальше. Подходящий случай отметить на картоне буквенные изображения «и т. д.», «и проч.», «и т. п.». Следует подпись — «проф. Панкратов». Просто, безо всякого росчерка. Росчерк делают чиновники, профессора — никогда. Перед скромным сокращением «проф.» обладатель вышеозначенного имени добавляет всеми буквами и не без горечи «бывший». И еще раз, с красной строки — «бывший, бывший, бывший», тем осложняя функции нервной системы. Затем остаток картона заполняется крупной вывесочной надписью, с потугами на стройность и четкость букв:

БЫВШИЙ ОРДИНАРНЫЙ ПРОФЕССОР
БИОЛОГИИ
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛОЛЛИУС ПАНКРАТУС

От усиленного вдавливания карандаша Лоллий Романович чувствует большую усталость. Любопытно, что уже двое суток он ничего не ел, но, по выработавшейся привычке, особенно страдания не чувствует. Он также давно, почти неделю, не курил, чем и объясняется крайняя слабость. Организм, лишенный пищи, умирает гораздо медленнее, чем обычно думают, и менее мучительно, чем вы можете себе представить. Изумительна, например, стойкость некоторых растений. Земля совершенно высохла, а растение держится, даже кажется свежим и благополучным. Правда, оно питается преимущественно воздухом. В последнее время Лоллий Романович также питается преимущественно воздухом. Умереть трудно. Поэтому случаи смерти только от голода сравнительно редки. Головастики, если их постепенно лишать пищи, уменьшаются в размерах и как бы возвращаются к исходной форме.

Бывший профессор Казанского университета Лоллиус Панкратус находится в безвыходном положении. Собственно говоря — приближение конца. На остатке картона он приписывает «конец» — и повторяет его в форме уменьшительной и в разных вариантах, как-то: «кончик», «кончина», «концовочка», «finis cogonat opus»*.

Была бы гораздо почтеннее фигура старого профессора, украшенного сединой свободно ниспадающей гривы, продолжающего свои работы даже и в тягчайших жизненных условиях. Он мог бы, например, за неимением чернил, заканчивать свой труд огрызком карандаша на кусках картона. Вот наконец он подписывает свою фамилию на последнем куске... Исполнен труд, завещанный от Бога мне, грешному... Ученый откидывается в кресле (?), голова его медленно опускается на грудь, и он испускает дух. Огорченная (или обрадованная) хозяйка комнаты продает старьевщику ничтожные пожитки умершего, не заплатившего за месяц жилья. Спустя десять лет в лавку букиниста заходит любитель рукописей, обращает внимание на странную связку. Уже по первым страницам он догадывается, что перед ним гениальное, нигде не опубликованное произведение, написанное на незнакомом языке. Уловив восторг на его лице, букинист заламывает неслыханную цену — десять франков. Они торгуются целый месяц, и наконец любитель рукописей приобретает труд всей жизни профессора за шесть франков пятьдесят сантимов (тут тонкий символ: стоимость скромного обеда при-фикс). В заключение появляется в печати французский перевод замечательного труда по биологии, написанного забытым казанским ученым, умершим от голода в парижской мансарде. Фамилия, конечно, перепутана, в сноске пояснено, что город Казань находится в Сибири, на левом берегу Днепра, был населен чехословаками и срыт до основания par les bolcheviks**. О гениальной работе говорит печать всей Европы, и имя профессора попадает в книжку, на корешке которой осыпается одуванчик. Автор этой трогательной ерунды хватает томик с одуванчиком и швыряет его в гнилую морду старой сволочи Европы, изобретшей машину для резки картона,

* «конец — делу венец» (лат.).

** большевиками (фр.).

паспорт, парламент, национальность и теорию прибавочной стоимости. При несколько большей сдержанности в выражениях — можно бы сделать профессора героем приятной повести или говорящего фильма.

Но Лоллий Романович со дня ухода чехословаков из города Казани не удосужился вернуться к прерванным ученым работам и тем испортил свою биографию. То ли он испугался, то ли просто — необъяснимая халатность; человек другой, более почтенной нации никогда бы себе этого не позволил. Бежали минуты, шли дни, плелись года, старело тело, слабел дух — и вот уже кто-то стучится в дверь.

Не поворачиваясь, Лоллий Романович говорит:
— Войдите.

И по легкому покашливанию, предшествующему словам приветия, угадывает, что его пришел проведать единственный возможный посетитель — дорогой Тетехин.

Неприличный вопрос вольного каменщика:

— Вы сегодня кушали, Лоллий Романович?

— Видите ли, дорогой Тетехин, кушают только господа, дети и беженцы из западных губерний. Вас, вероятно, интересует, ел ли я сегодня? Во всяком случае, я еще не курил.

Егор Егорович молча кладет на стол открытый портсигар и застывает в раздумье. Оба курят. Лоллий Романович сидит на месте, Егор Егорович погружается в туман, шатается и на глазах Лоллия Романовича начинает сидя плавать по комнате. На профессора раздражающе действует свет из окна, которое медленно качается, и он охотно принял бы меры, но не может встать из-за дрожи в руках и ногах. Недокуренная папироса падает на пол и забавно подпрыгивает, маячащая в дыму далекая фигура дорогого Тетехина зачерпывает воды из ручья и выстукивает холодным предметом дробь по зубам профессора, который наконец возвращается из небольшого путешествия.

— Вы бы прилегли на минуточку, а потом мы пойдем закусить, потому что я еще не завтракал. Я отворю окно, вам станет полегче; и воздух сегодня чудесный, совсем весенний.

Действительно — на дворе весна. Удивительна эта

способность природы ни на что не обращать внимания и гнуть свою линию. Казалось бы: причем тут почки, листочки, щекотанье ноздрей живыми струйками кислорода? И газеты те же, и те же кровавые туши в мясных лавках, и радикалы щупают портфели, и теесефы дудят негритянским горлом, и густым потоком течет по клоакам продукт человеческих потуг — при чем тут весна? И все-таки весна из полей вторгается в вонючий город и держится на уровне приблизительно четвертых этажей. Заглянув в окно, она чихает от дыма и спешит дальше; ее загоняет в город любопытство и природная веселость, хотя было бы проще и естественнее копаться в земле и разворачивать зеленые листочки.

Приподнявшись на локте, профессор говорит:

— До удивительности вам идет роль благодетельного ангела. Пожалуй, сейчас я уже мог бы выкурить папиросу без последующих театральных эффектов.

— Выкурим после, закусивши. Только вот хорошо ли вам выходить? А то я могу принести сюда.

Они решают все-таки выйти. Шоферский рестораник, при всей неказистости, известен доброкачеством продуктов и дешевизной. Разговор начинается Егор Егорович после второго блюда, то есть после вареных овощей. Еще предстоит мясное.

— Я ведь не просто к вам шел, Лоллий Романович. У меня в голове планы и планы. Множество новостей личной жизни. А кстати, я с похорон большого человека, но это между прочим.

Профессор усердно жует и запивает кисленьким вином с водой. Настоящее, таким образом, сносно; будущее не представляется важным. У профессора побаливает зуб, и вообще зубы становятся негодными. В старости это естественно и неизбежно. Егор Егорович продолжает:

— События таковы, что мой сын Жорж, он ведь француз, французский инженер, получил место в Марокко. Это прямо замечательно! Мы теперь закажем по антрекоту? Я думаю — с жареной картошкой, ее дают много. И вот давайте-ка чокнемся.

Они чокаются. Лоллий Романович, дожевывая зелень большим зубом, окидывает собеседника приветливым и несколько удивленным взором: откуда взялся этот чудак Тетехин? А впрочем — отличный человек. И с неожиданной жадностью допивает свой стакан, даже зажмурив глаза.

— Получил в Марокко, и неплохие условия. Уж что он там будет созидать — не могу вам сказать; вероятно, он что-нибудь может, раз доверяют. И вот мы говорили с Анной Пахомовной, не поехать ли и ей в Марокко с Жоржем? Будет вести его хозяйство, а то уж он очень молод. Он теперь самостоятельный. Жорж неплохой мальчик и очень рассудительный; как-то они это умеют, такие практичные, прямо замечательно. Стал даже важным, все-таки и место и жалованье, приятно ему. Зовет с собой мать, ну, а мне так, конечно, нечего делать, никак не устроиться, я бы остался.

Жевать мясо больше, чем зелень, но в мясе чувствуется сила. Только на этом блюде Лоллий Романович догадывается, что был голоден и, пожалуй, все еще голоден, даже больше прежнего. Он усиленно налегает на хлеб и теперь слушает внимательно.

— Вот я и говорю. Анна Пахомовна уедет с Жоржем и будет, до некоторой степени, обеспечена; там и жизнь дешевле. А мы с вами, значит, попытались бы устроиться в деревне на постоянное жительство. Такой у меня план.

Лоллий Романович старается есть хлеб медленнее, потому что это последний кусок. В Казани он проводил лето в деревне, на берегу Волги. В те времена много работал и издал две книги; в деревне преимущественно и писал, а зимой работал над лекциями.

— Стали бы мы там жить, огород разводить, может быть, курочек или кроликов. Скажите, Лоллий Романович, правда, что кролики так быстро плодятся?

— Из млекопитающих исключительной плодовитостью отличаются мыши.

— Еще больше кроликов? Ну, мыши нам ни к чему. А вот еще разводят во Франции голубей.

— Но вы имели в виду млекопитающих?

— Вот я и думаю, Лоллий Романович, если, например, дом отеплить, половину участка вскопать под огород да поставить, скажем, курятник или там для кроликов, то кое-как, может быть, и прокормимся своим трудом. Хорошо бы часть продавать, потому что там налоги, вода, удобренье, за все плати. Я все-таки надеюсь найти и какую-нибудь работишку в Париже, хоть так — время от времени, по счетной части или что. Тоже и кроличьи шкурки можно продавать.

Как вы думаете? Все-таки мы съедим еще что-нибудь сладкое? Или просто сыру?

К сыру потребовался хлеб. Сыр — удивительное блюдо, нормирующее сытость обеда, одинаково необходимое для переевшего и недоевшего. После сыру даже французская папираса кажется ароматной.

План Егора Егоровича серьезен, и Лоллий Романович слушает терпеливо. Оказывается, что дорогой Тетехин считает себя в силах поставить в домике отопление, хотя не уверен, что стены будут хорошо держать тепло. Но ведь что же делать? Ночевать под мостами куда холоднее? Что вы думаете — и это может прийти! А вот французы живут и без отопления, жгут горсточку углей в камине — и ничего; ну, там пальцы распухают. У Егора Егоровича последних сбережений едва хватит на приобретение хозяйственного инвентаря — курятник там или голубиная клетка, но не хватит никак на безработную жизнь в Париже. А какое отопление у профессора в комнате? Папиросное отопление! Нет, эту жизнь нужно пересоздать целиком и решительно. Что скажет на это Лоллий Романович?

Профессор биологии не имеет определенного мнения о наилучших условиях жизни для таких организмов, как его собственный и дорогого Тетехина. А впрочем — в какой мере это может касаться его?

— Я же вам говорю, что мы будем жить в деревне вместе, вдвоем. То есть, значит, вы и я — понимаете? И будем вести совместное хозяйство; я, скажем, буду по части огорода, копать там, сеять, сажать всякую штуку, потом с кроликами и голубями и прочее. А вы, Лоллий Романович, главным образом по части ученых указаний, что понадобится; анализ почвы, чтобы знать, чего подсыпать, борьба с вредителями, улучшение видов и родов растений, мало ли там что потребуется. Я в сельском хозяйстве самоучка, проще сказать — невежда; знаю, что есть репа, а какого она класса — бог ее ведает!

— Если вы имеете в виду Линнееву систему, то, конечно, пятнадцатого, *tetradynamia*. Это очень просто: шесть тычинок, из которых две длиннее прочих, и тычинки, не сросшиеся с плодником.

— Вот видите! А я ее сею вразброс, как придется.

— Я должен, однако, предупредить вас, что Линнеева система считается устаревшей.

— Это не беда, Лоллий Романович, мы как-нибудь. А может, вы в деревне занялись бы своими научными трудами, там воздух хороший.

— Это трудновато без лаборатории. И у меня нет бумаги.

— Бумагу достанем. Вот насчет лаборатории не знаю. У меня главным образом инструменты сельскохозяйственные и по плотницкой части. Ну, не сразу, а там увидим. Пока вы просто попишете, вы же все это хорошо знаете!

— Вы хотите сказать, дорогой Тетехин, что берете меня к себе?

— Вот именно, зову вас вместе жить, все — напополам, вы да я. Так сказать — будем познавать Природу.

Лоллий Романович смотрит на корочку сыра, на пустой стакан и шейную запонку дорогого Тетехина, добродушно мигающую над головкой галстука. Планы Егора Егоровича не кажутся ему достаточно логически обоснованными, особенно в части разделения труда, но и достойная реплика как-то не приходит в голову. Странное отсутствие находчивости! Возможно, следствие большой, очень большой усталости. С одинаковым успехом можно и рассердиться и заплакать; и то и другое унижительно. Но возможен также простой и честный ответ, а именно:

— Я должен сказать, что это не входило бы в мои планы, если бы у меня были планы. Впрочем, в последнее время меня занимала мысль об естественном исчезновении, хотя бы и постепенном, иначе говоря, о физической смерти, хотя это не всегда зависит от данного... от данного субъекта, то есть носителя желаний. Я надеюсь, вы меня понимаете?

Прежний Егор Егорович замахал бы руками и обрушился упреками, — как же иначе разговаривать о подобных вещах! Но теперешний Егор Егорович как раз только что был на похоронах большого человека, истинного вольного каменщика, брата Эдмонда Жакмена, ушедшего к Востоку Вечному. Народу было довольно много: оказались какие-то родственники усопшего, и пришла едва ли не половина братьев-ложи. Была сказана речь страховым агентом — настоящая, масонская, правильная и умиротворяющая речь. Смерть, конечно, существует, но в то же время ее как

бы и нет. Мастера, ушедшего к Востоку, сменяет мастер новый, и так далее. Очень скорбно и очень жаль брата Жакмена. На кладбище было без шляпы холодно, но пахло весной. Егор Егорович спокойно отвечает на слова своего земляка, казанского профессора Панкротова:

— Понимаю, Лоллий Романович. Но ведь это можно и здесь, и там, все равно. Я тоже не молоденький и не очень счастливый. Может быть, все-таки давайте-ка проживем на свете еще, вместе, как старые приятели? Я бы очень был счастлив, а то одному мне, Лоллий Романович, как-то сиротливо, что ли.

Зная свою природную чувствительность, Егор Егорович спешно закончил посильной шуточкой:

— Холостяцкая жизнь, Лоллий Романович, имеет свои прелести,— а впрочем, мне до сих пор не приходилось... Так вот, значит, пока мы договорились предпочлительно, а этак через месяц, я думаю, соберемся окончательно и поедем; кстати, и потеплеет. Верно?

Лоллий Романович не возражал и не сопротивлялся даже и тогда, когда уложили его чемодан и увезли его из Казани; за истекшие шестнадцать лет он не стал самостоятельнее.

По перрону вокзала проплывают чемодан, чемодан, еще чемодан, чемоданчик, чемоданчик, картонка, теннисная ракетка в винтовых объятиях и семья Тетехиных. Уезжающих Анну Пахомовну и инженера Жоржа провожает огромная толпа; в ней отметим опечаленного предстоящей разлукой Егора Егоровича; остальные — читатели, навсегда расстающиеся с почтенной русской женщиной и ее французским сыном.

Анна Пахомовна читала «Анну Каренину» и потому всегда, садясь в вагон, тревожно ждала, не пройдет ли мимо окна, нагибаясь к колесам, испачканный уродливый мужичок в фуражке, после чего Анне предстоит броситься под поезд на ближайшей станции. Мужичок не прошел, и поезд тронулся, отрезав и оставив на перроне главу небольшого, но отличного семейства.

Дальнейшее произошло вне поля зрения Егора Егоровича. Колеса постукивали на стыках рельс, пока поезд не прибыл в портовый город. Посадка на пароход свершилась в полном порядке и без суеты,

заработал винт, вспенив средиземные волны, — и вот уже виден африканский берег. Стило, создавшее образ примерной женщины, складывается и ввинчивается само в себя.

Проводив жену и сына, Егор Егорович употребил некоторое время на раздумье о том, как все это странно: были и уехали. Конечно, по сравнению с Сингапуром до Марокко — подать рукой. Потом Егора Егоровича заняла простая, но небезлюбопытная мысль, что вот одни люди едут с севера на юг, другие с юга на север, и все это сложно и хлопотно, а казалось бы — чего проще: обменялись бы потребностями, вынуждающими их ехать, и оставались бы каждый на месте. Однако, вдумавшись в вопрос глубже, Егор Егорович убедился, что это не всегда возможно и что предотъездная суматоха выбила его из колеи и мешает сосредоточить мысль на действительно серьезных вопросах. Через недельку, окончательно ликвидировав квартиру и лишнюю мебель, двинется и он на новое жительство, да и пора, так как средства кончаются, а нужно прокормиться двоим бобылям. Хорошо, если кролики действительно так быстро плодятся, что пока ешь одного — родится другой.

Дома, на улице Конвансьон, беспорядок и гулкая пустота; оголились окна, нет салфеточек, Федор Достоевский бежал в Африку со знаменитой девственницей. Пылесос можно продать, книжный шкафчик поедет в деревню, но «Митину любовь» в переплете Анна Пахомовна увезла: самая ее любимая книга.

В особый пакет Егор Егорович укладывает муаровую ленту, запон, перчатки и тайные книжечки, которых набралось немало. Одну оставляет для чтения — толстый томик о посвятительных обществах мира древнего и средних веков. До чего же все-таки интересно!

Перед Егором Егоровичем вырастает живописная фигура жреца с атрибутами богини Анубис. Тело Егора Егоровича тает — остается душа, а жрец превращается в богиню отменной красоты. «Откуда ты идешь и чего ты хочешь?» — спрашивает богиня душу Егора Егоровича, пришедшего с вокзала и хотящего немножко почитать книжку, прежде чем заняться дальнейшей укладкой вещей. И однако душа отвечает: «Я иду издалека созерцать твою красоту; мои руки

приветствуют твое имя Истины; я явился сюда из страны, где не растут ни Акация, ни дерево Сонт, где нет зеленых листьев. И я хотел бы проникнуть во вместилище великих тайн». Тогда Аноубис отворяет дверь и ведет душу Егора Егоровича длинными коридорами в дом Озириса. Там все стены увешаны тайнами, ими же уставлен пол, так что легко запнуться о раскрытый ящик или скамеечку для ног. В одном из ящичков Егор Егорович узнает свою скромную посуду (лучшая уехала в Африку лечь в основу хозяйства Жоржа), а рядышком чемодан с бельем и летний костюм в аккуратном чехле; через все это приходится перешагивать, пока, вместе со своим мистагогом, Егор Егорович не останавливается у двери с двумя колоннами. Он знает, что это два лика Истины, две правды, среди которых колеблется и мечется слабый человек. Между ними дверь, запертая на два крючка. «Знаешь ли ты, каково имя этой двери?» — «Ее имя — Открывательница божественного света». — «А имена двух крючков?» — «Один — мастер Истины, другой — мастер Силы, таковы их имена». — «Войди же, и ты познаешь сущность вещей».

Егор Егорович входит в спальню и видит на двухспальной кровати односпальное одеяло, оставленное ему уехавшей супругой. В душе его ощущение монашества. Ящики комода выдвинуты, и кое-что еще нужно вынуть и уложить для перевозки в деревню. Кровать придется продать за громоздкостью и ненадобностью. Вообще хлопот еще много. И как странно случилось, что многие из вещей, игравших значительную роль в жизни Егора Егоровича и его супруги, теперь утратили важность и больше не требуются, в том числе и зеркальный шкаф, и высокая электрическая лампа с изящной желтой юбочкой, и мягкий пуф, сидящий на котором кажется обвиняемым, заслуживающим снисхождения.

К жизни новой Егор Егорович готовится бестрепетно и даже в сиянии надежд. Как-нибудь жить надо; ну вот, попробуем жить так, а там увидится. Сидят же другие на земле и еще похваляют. Свои огурцы и свой укроп. И воздух всегда чистый. Конечно, реже будут встречи с братьями по ложе, и особенно жаль, что не придется забегать в аптеку Руселя. Этот превос-

ходный человек поднес Егору Егоровичу целый короб всяких необходимых медикаментов, и на каждом пакетишке, на каждой коробочке, даже и на пузырьках надпись, включенная в треугольник. Вот милая душа! А брат Дюверже осведомился, не предполагает ли брат Тэтэкин оклеить стены своего загородного замка обоями *lavables**, что практично и не будет стоить дорогому брату ни одного сантима. Ведь какой славный человек, а на вид — скопидом и деляга. Страховой агент, узнав, что Егор Егорович не может больше делать взносов по страхованию жизни, научил его, как можно, правда — с основательным убытком, извлечь одновременный доход из прежней аккуратности, так что Егору Егоровичу кое-что отчислилось, и эта сумма забронирована им теперь на черный день. Вообще все устраивается сравнительно благополучно, и здоровье держится. Пятьдесят три года — еще не старость. Вот Лоллию Романовичу уже под семьдесят, и главное — слабоват. Это старость, слов нет!

Окинув взором хозяйственное разрушение, Егор Егорович садится на корточки перед чемоданом и начинает усердно забивать свернутыми в комочек носками оставшиеся свободными места; потом из вкладного ящика создает второй этаж, куда прежде всего укладывает вынутый из чехла летний костюм, затем чесучовые панталоны и прочие остатки минувшей благополучной жизни.

VITRIOLUM

Visita inferiora Terrae
Rectificando invenies Occultum
Lapidem verae Medicinae**

Лежащая перед нами повесть о вольном каменщике представляет собою попытку автора изобразить, как простой человек может правильно ощутить и принять идею строительства Соломонова храма. Бывший почтовый чиновник Егор Тетёхин отесал грубый камень, придав ему кубическую форму, пригнал свой камень к подобным же камням братьев Жан-Батиста Руселя

* моющимися (*фр.*).

** Посети недра земли — и путем очистки ты откроешь Тайный Камень истинной Медицины (*лат.*).

и Себастьяна Дюверже и тем самым положил основание Храму просвещенного человечества. Попутно в той же повести миру вольного каменщика противопоставляется мир профанный в лице смешной Анны Пахомовны, ее неинтересного сына и особенно крайне развращенного молодого человека Анри Ришара. Для стройности повести автор ввел в нее живописную фигуру старого масона Эдмонда Жакмена (иррациональное в познании) и несчастного судьбою профессора биологии Панкратова (тип рационалиста). Самой повести придан тон добродушной шутливости, не исключаяющей мыслью возвышенных, а также разоблачено немало масонских тайн, что должно вызвать справедливое негодование в заинтересованных кругах.

Некоторым препятствием к профанации тайн Братства вольных каменщиков является спорное положение о несуществовании конечной истины, лежащее в основе масонского адогматизма. Так, например, герой повести, Егор Егорович, не может, конечно, не относиться с глубоким уважением к достижениям науки, но имеет и свои мнения. Любуясь ковром весенних цветов (тюльпаны, гиацинты, жонкилии, нарциссы, фиалки, анютки, желтофиоли...) и желая при том доставить удовольствие профессору, он спрашивает тоном почтительного ученика:

— Вот вы, Лоллий Романович, все знаете. А почему цветы цветут и пахнут по-разному?

— По-видимому, для привлечения разных насекомых, необходимых для опыления.

Вопрос дополнительный (тем же тоном невинности, но с запутавшейся в усах хитрецей):

— Так. А не просто — ради красоты?

— Красота — условное понятие, и выдумали ее мы.

Егор Егорович умолкает и притворяется грустным. И однако, если красоту выдумали мы, то почему бы нам не придумать для нее и иное объяснение? Потому цветы бывают разной окраски, разной формы и разных запахов, что им это так же приятно, как приятно Егору Егоровичу на них любоваться; они и чувствуют по-разному, и дышат, и любят, и наслаждаются жизнью. И чудак тот человек, который этого не видит. Тот человек — бедняжка!

— А что такое закон природы, Лоллий Романович?

— Я бы сказал, что это условный вывод из большого ряда опытов и наблюдений.

— А если ошиблись?

Лоллий Романович сидит на льдине и откалывает кусочек:

— Значит — ошиблись, и нужно продолжать опыты.

Профессор знает все, Егор Егорович не знает и со-той доли. Легчайшее движение воздуха шевелит вырезной лист акации, посаженной и выращенной вольным каменщиком. В наступившем молчании Егор Егорович откатывается мыслями в недавнее, когда другой человек, тоже старик, но по-иному ученый, толковал ему тайный смысл зеленеющей ветки на могиле мастера Хирама:

— Эта ветка, дорогой брат, есть символ преемственности жизненной энергии, которую и сама смерть уничтожить не может.

И вот умер старый учитель, а речи его остались в шелесте прекрасного дерева.

Приводим эти разговоры как образчик приемов, которыми пользуется автор для иллюстрации руководящей идеи повести: противопоставления профанного разума — посвященному познанию вещей.

Когда же сумерки отнимают у цветочного ковра яркость его красок, Егор Егорович, сладостно зевнув, говорит:

— Ну, я, пожалуй, пойду и зажгу лампу. Закусим, и я на боковую, а вы, верно, еще почитаете; хочу завтра перебросать компостную кучу.

И пока мирным сном спит вольный каменщик, рядом свершается великое таинство. Согретая за день влага земли растворяет соли кислот. Тонкий белый корешок, захлебываясь, сосет молоко матери и посылает вверх по каналам. От напряжения лопается бутон, развертывая и разглаживая мягкие шелковые платочки, охорашивая усики и всяческую наводя красоту. Прилетевшая ночная бабочка пьет нектар и осыпает желтую пыльцу на жадный пестик. Суждено красоте умереть, обеспечив жизнь красоте новой. На земле, над землей, под землей снуют, летают и роются дети природы, окруженные ее заботами, ею созданные и ее создающие; *Natura naturans* — *Natura naturata**. Перед ее любовью дуб равноценен душистому колоску, и нет для нее ничтожного, обойденного ее вниманием, как

* Природа порождающая — Природа порожденная (*лат.*).

нет ничего мертвого, в чем в самый момент смерти не зарождалась бы новая жизнь.

— Откуда происходят все вещи?

— Из одной и единой Природы.

— Сколько в ней областей?

— Четыре главнейших: сухость, влажность, жар и холод, четыре простейших качества, от коих происходят все вещи.

— Дай мне идею Природы!

— Она невидима, хотя действует видимо, ибо она лишь дух летучий, присутствующий в телах и их одушевляющий духом вселенским, который в масонстве учебном олицетворен почтенной эмблемой Пламенеющей Звезды.

— Что же такое Природа?

— Божественное дыхание, центральный и вселенский огонь, оживляющий все, что существует.

Над колбой зеленого стекла склонился Великий Алхимик с загрубевшими от огня пальцами, в одежде, прожженной кислотами, обросший мохом и сединой. Рушились без видимой пользы девять тысяч опытов, и стольким же предстоит обмануть мудреца, владеющего тайной слова *Vitriolum*.

«Посети недра земли — и путем очистки ты откроешь Тайный Камень истинной Медицины».

Обомшальный Алхимик нагнулся и подбросил топлива в пламя печи. Ни единый мускул не дрогнул на его морщинистом лице, когда с треском лопнула колба. Потревоженный Егор Егорович перевернулся было на другой бок, но, услышав хлопанье кур, учуявших утро, открыл глаза и принудил себя встать.

Жизнью в природе, на дешевом маленьком участке земли (а мир так велик! а чудес в нем так много!) — заканчивается без всяких дальнейших событий лежащая перед нами повесть о вольном каменщике. Со старым профессором он живет в полном мире, хоть и разные характеры. Сказать по правде — считаны дни Лоллия Романовича, но ведь не описывать же, как это произойдет; от описания печального автора воздерживается. Первым овощем созрела редиска (*Raphanus sativus minor*, семейство крестоцветных). Сочная, в меру горька, без единой червоточки, она принесла Егору Егоровичу немалую радость.

— Кушайте редиску, Лоллий Романович, она освежает и возбуждает аппетит, а вам надо поправляться.

За завтраком говорили о новом способе засеивания пустынь при помощи аэропланов, а также о кофейных плантациях. Еще о борьбе с налетами саранчи. Лоллий Романович — теоретик, а Егор Егорович норовит заниматься практическим хозяйством: копает, сажает, пропалывает и прочее. Саранчи, впрочем, под Парижем нет. Кроме того, профессор дал следующее полезное указание:

— Имейте в виду, дорогой Тетехин, что применение трактора в сельском хозяйстве дает значительную экономию рабочих рук.

— Да ведь что же, Лоллий Романович, у нас особой потребности в этом нет. Хотя, конечно, очень интересно.

Первой из роз расцвела «мисс Эллен Вильмо», розовая красавица. Красногрудка вывела троих птенцов и принялась учить их летному делу. Сначала, жулики, сидели хохлатыми орлами, затем попривыкли, а к концу и не угонишься за ними. Даже профессор смотрел часами и улыбался. Потом цвели цветы летние. Потом зацвели осенние. Был сбор семян. Копали картошку (копал Егор Егорович, а профессор изложил краткую историю проникновения картофеля в Европу и почему нельзя ее называть корнеплодом). К сожалению, потом пошли дожди, это уже в сентябре. Домик в общем оказался обитаемым и в дурную погоду.

И вот однажды во вторник месяца октября Егор Егорович особенно тщательно умылся, руки оттер пемзой, побрился и оделся. Кожа от сельских занятий очень грубеет, а вот сердце Егора Егоровича никаким мозолям не подвластно. Перед маленьким зеркалом галстук повязан бабочкой. Заглянем в щелочку: что это он там такое вынимает из тайного ящика, какой такой запон мягкой замши, что за ленту струящегося шелка, зачем огороднику белые перчатки? Весь в тайной радости и явном смущении прощается Егор Егорович с профессором и едет в Париж:

— Я нынче вернусь поздно, с ночным поездом, Лоллий Романович, вы уж без меня поужинайте и ложитесь!

И выходит женихом, помахивая тросточкой.

Третьеклассный вагон постукивает торопливо и бодро, все спутники люди и человеки, всякий думает свое про себя, улицы Парижа нынче веселы и приветливы, хотя после деревни несколько нечистый воздух,—

и в час условный Егор Егорович становится как бы генералом, и рядом с ним другие генералы, и все так красиво, и все так рады взаимной встрече после долгого летнего перерыва, брат Русель трясет руку своей оглоблей, брат Дюверже оклеивает обоями приветливости, страховой агент весь в масляном сиянии и нарахват — до чего милый и приятный человек! и все такие прокопченные летом и заново отчищенные, так что естественно начинается новая жизнь, дверь закрыта, возжены свечи, и сладким откликом в сердце Егора Егоровича отзывается стук знакомого молотка:

— Подлинно ли ты — вольный каменщик?

— Таковым признают меня братья!

Мир профанный отрезан тяжелой дверью, бодрствует у входа привратник с мячом, никого не убивавшим, и нам, не посвященным в тайны царственного искусства, нет и не будет никакой возможности узнать, что творится в стенах строительной мастерской.

Этим кратким описанием заканчивается лежащая перед нами повесть о вольном каменщике.





РАССКАЗЫ

ПО ПОВОДУ БЕЛОЙ КОРОБОЧКИ

(Как бы предисловие)

Одно время меня стала упорно преследовать белая коробочка от какого-то лекарства, коробочка белого некрашеного дерева с отлично пригнанной выдвижной заслонкой. Было достаточно сесть за стол с добрыми намерениями (я пером спасаю человечество), как сейчас же мысль отвлекала коробочка, не нашедшая ни места, ни применения. Выбросить такую коробочку свыше моих сил. Тут и любовь к деревянным предметам, особенно некрашеным, и сознание того, что коробочка есть продукт труда, и вообще жадность человека к вещам, во мне развитая до болезненности, так что я утопаю в бумажках, мундштуках, ножичках, пепельницах, скрепках для бумаги, острых и тупых карандашах, зажигалках, футлярах, гребешках, штемпелях, зубочистках, стаканчиках, календарях, одних разрезательных ножей шесть или семь штук, пять резинок, хотя ничего не стираю, губка для марок, всегда сухая, очки для дали, для близи, для чтения, для разговора, лупа большая и три маленьких, оставшаяся от фонарика лампочка, пипетка для бензина, складной метр, белый клей, точилки, ключики, от чего-то отпавшие и еще не приклеенные кусочки, ножницы газетные, да ножницы малые прямые, да кривые для ногтей и на случай заусеницы, да цветной детский кубарик

с цифрами, три пинцета, и уж не говорю про чернильницы, про коробочки с неизвестными мелочами, про книги, про папки, про газеты — и все это только на столе, а если начать выдвигать ящики стола, и тот, где бумаги, и тот, где курительное, и тот, где столярные инструменты, и где фотографии, и где вообще то, что больше никуда не засунешь, или, если обвести глазами книжные полки и регистраторы, висящие защипочки с приглашениями и воззваниями, да портреты, да кружка пивная немецкая, да кинжал арабский, да тот самый пистолет, из которого Пушкин убил Лермонтова, да деревянная ложка, которою Суворов хлебал солдатские щи, да шахматы, да портфели и портфельчики, если, говорю я, все это обвести деловым взглядом задавленного и затравленного вещами человека,— то захочется из этой комнаты убежать в другую, где придется делать новую опись, начав с подсвечника в стиле Людовика XXVIII и кончив глиняным этрусским сосудом для испарения воды, который подвешивается к паровому отопителю и покупается в хозяйственных лавках.

Все это утрясается и находит свое место, так что иногда, не видя перед собою испорченного и давно уже, лишь за выслугу лет, сохраняющегося стило, испытываешь беспокойство и, оставив работу, принимаешься за поиски, куда оно к черту затерялось, и тут кстати, на тарелочке с мелочами, находишь бритвенный ножичек, щетины не режущий, но еще способный на много полезных дел, не знаю, каких именно, но чувствую, как это чувствовали изобретатели применения к делу предметов, утративших силу первоначального назначения, но вполне сохранивших первоначальный облик, совершенно так же, как и белая коробочка, грустно и обиженно слоняющаяся по столу, запинаясь за уже прижившиеся и уверенно стоящие на своих местах многочисленные предметы моего вещевого хозяйства. Найдя наконец стило (уходившее навестить свою тетку, щеточку от пищащей машины), водворяю его на обычное место в высоком ассиро-вавилонской работы металлическом стакане с пометкой «1926» и вижу, с каким презрением смотрит на него стило новое, носящее имя «товарищ Ватерман». И тут же жметя и теснится вместе с другими орудиями писательского производства перо гусиное, серое и потре-

панное, оставленное не за красоту, а за то, что гусю, мне его подарившему, было от роду восемьдесят лет, я же раньше и не подозревал, что гуси так долговечны. Иначе говоря, из хвоста того же гуся мог в Париже дергать перья, например, Иван Сергеевич Тургенев, который в ранние годы своего писательского труда писал, несомненно, перьями гусиными, и этот гусь мог знать Ивана Сергеевича еще не старым человеком, сам будучи уже достаточно взрослым и женатым на стаде жен, даже дедушкой. Попробуйте-ка решиться выбросить такое историческое перо, которым, может быть, написаны на рю де Риволи «Записки охотника»!

И вот, поставив перед собою, чтобы записать для потомства эти свои встречи с Тургеневым, машину с русскими буквами, которую я зову ласково Машей, в отличие от Пупси, машинки с латинским шрифтом, ревнивой и замкнутой, живущей у меня на положении терпимой иностранки (налоги полностью, права с ущербом), — я замечаю, что забыл слепить с бездушной оболочки чрезвычайно милых заграничных писем почтовые марки с изображением отрезанных королевских голов, невинных девушек, львов, рыб, голубя в шестиконечной звезде, скал и готических зданий. Старый законопослушный интеллигент, я считаю собирание марок воздействием наследственной психопатии и счел бы личным оскорблением, если бы меня заподозрили в филателизме; и я охотно опорожняваю коробку с собранными сокровищами в карман первого зашедшего ко мне человека с признаками атавизма и остановившимся взором. Но бросать в корзину конверты вместе с головами королей, великих ученых и красноармейцев — мне не по силам. Марка — вещь, и у каждой вещи есть своя душа, не угасимая штемпелем. Возможно также, что мы не миримся с фактом мгновенной утраты некоторыми вещами их ценности без их физического уничтожения; символ не зачеркивается так легко. Если, например, на тысячефранковый билет надлежащей властью будет поставлен штемпель «Ничтожен» — вы все-таки его не выбросите, а будете носить в бумажнике, притом так, чтобы был виден кончик, когда в магазине «Юни-при» платите франк за шнурки для башмаков. Никогда у меня не поднималась рука выбросить металлическую коробку от табаку какого-то Скаферлати-Визир (не очень верю

в его существование!); коробки накапливаются десятками, сотнями, колоннами, тоннами, загромаждают квартиру, пока не находится благодетель, радостно ахающий и уносящий их в три приема, причем я убежден, что и он не знает, что с ними делать. Не любопытно ли, например, что некоторые с удовольствием освобождаются от ненужной им газовой плиты, потому что перешли на электрическую, даже жертвуют в библиотеку прочитанные номера «Современных Записок» вместе с началами, концами и продолжениями начал и окончаний, то есть расстаются с длительными ценностями, но никогда в своей жизни не решились бросить в сорный ящик одно «маленькое су», никчемно валяющееся на столе, на которое уже нельзя купить даже металлического колесика от ножки подержанного депутатского кресла? И я хотел бы видеть человека, носящего на носу семь близоруких диоптрий, который не сохранял бы неизвестно для чего стекла очков своей молодости, хотя сквозь эти стекла он уже не способен прочитать даже заголовок о похищении нового генерала; разве что у него есть дети, подающие надежду на такую же близорукость. И я должен признаться, что пришел в восхищение, когда один вполне родственник мне по духу человек аккуратненько срезал острым ножиком остатки щетины на истертой зубной щетке, а костяную ее рукоятку спрятал, потому что мало ли на что она может понадобиться, например — размешивать какую-нибудь смесь, или же можно из нее выточить потерянные фигурки карманных шахмат, для чего достаточно приобрести токарный станок и хорошенько подучиться на нем работать. Он же срезает с изношенных помочей металлические части и накопил бы их очень много, если бы не случайные утраты имущества, связанные с революционными событиями. После этого можно ли удивляться, что мне не дает покоя белая деревянная коробочка от патентованного лекарства, потерянна гуляющая по моему столу: и она найдет свое место!

Поставим вопрос шире и научнее. Есть несомненная духовная связь между гоголевским Плюшкиным и Иваном Калитой, как между последним и Владимиром Лениным, изрекшим, что «в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится». Это мудрость людей кондовых, людей от земли, понимающих, что такое компостная куча, как она составляется и какие выгоды

сулит хозяйственному мужичку. Плюшкин напрасно Гоголем изображен в таком неприглядном виде. Имея достаточно оснований не любить людей (даже родная дочь его обидела), неистраченную любовь он перенес на вещи. В молодые годы он был прекрасным хозяином и семьянином. «Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум: опытностью и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать». Он был по природе скопидомом, и в это слово следует вдуматься: оно по корню своему имеет смысл положительный. И Плюшкин был виноват лишь в том, что пришла старость и пришло одиночество и он перестал отряхивать пыль с накопленных вещей и вещичек и уже не берег вещей, а губил их — заплесневел сухарь, засох лимон, высохли чернила, как в чахотке, пожелтела зубочистка и в рюмку попали три мухи. А пройдишь Плюшкин по вещам пылесосом,— и заблестели бы они спокойной красотой и уютом домовитости. Не ценил Плюшкин только человеческих мертвых душ, почему и продал их Чичикову по столь невероятно низкой цене: по 32 копейки ассигнациями за штуку.

Как плесенью сухарь, покрываются патиной времени милые вещи, и у каждой из них есть своя биография. Бывают фамильные серебряные ложки, съеденные с левого боку. В скольких ртах они побывали, скольких зубов коснулись, сколько раз наблюдали, как мягкий пух над верхней губой сменялся русым волосом и ключей седой щетиной. Бывают печати и печатки, на своем веку замкнувшие тысячу тайн, слов деловых, любовных, дерзких, презрительных, просительных, холодных, пылких, сдержанных, свидетели житейских трагедий и водевилей. Потемневшим серебром отделана ручка костяного ножа, спутника многих дум и эстетических радостей, участника безмолвных бесед, товарища в мучительной бессоннице. Я знаю медное проволочное колечко с грошовым кораллом, одно из двух купленных на базарном лотке в чужом приморском городе; шумела пестрая толпа, пахло цветами и пригорелым оливковым маслом, шатались люди, ошалелые от жары и праздничного восторга, лошадиные морды были украшены перьями и бумажными цветами, в процессиях колебались раскрашенные мадонны, к приходу сумерек были заготовлены бумажные фонари на про-

тянутых через улицу проволоках,— и два одинаковых кольца были куплены с шутливым смехом и великим смущением. Сколько есть на свете превосходных тайн!

И вот наконец последний рассказ о карманных часах, дешевых, но очень хороших, подаренных мальчику, который ими гордился, пока, подросши и став студентом, не увидел у богатого товарища золотой хронометр. Тогда он изменил своим детским часам для других, и много раз в течение своей долгой жизни повторял измену. Но с ним, по путям жизни и любви, городам и всяким невольным странствиям, путешествовали и эти старые часы в обшарпанном футляре, забытые среди других вещей и вещей, которыми обрастает человек. Случайно встречаясь с ними во время редких походов в прошлое, он считал их сломанными, но не решался выбросить, потому что... как же все-таки бросить вещь, связанную с какими-то смутными воспоминаниями? И должен был прийти такой день,— и он пришел,— когда ко внешне ничтожному вернулась внутренняя ценность, понимаете: вместе с листками пожелтевшей от времени бумаги, с выцветшими снимками милых и смешных лиц, ну, там еще с чем-нибудь, что способно вернуть обратно ленту жизни. И тогда, нажав пуговку футляра, он вынул эту уморительную и пугливую вещь, часы состарившегося мальчика, и пальцами большим и указательным попробовал завести пружину, без надежды, но с трогательной осторожностью. И его часы, забыв обиду и зачеркнув протекшее так незаметно для них время, погнались стрелку вперед с того самого места, где ее когда-то остановила раскрутившаяся и уснувшая пружина. Учтите: каких полвека были списаны со счета, каких страшных полвека,— как одна незначащая минута, как легонькое забытье, послеобеденный сон, мелькнувший верстовой столб, пролетевшая птица! Он плотно приложил часы к уху, потому что уже плохо слышал, и стекло коснулось седины висков, как раньше касалось волос шелковистых, и когда, довольный, стал переводить стрелку, в круглом стекле вынырнуло и забегало отражение верхней лампочки веселым и молодым огоньком. И больше ничего, если не довольно этой сцены, подсмотренной в щелку костлявой и злорадной женщиной, которая хотела удостовериться, дома ли хозяин, к которому она послана сообщить, что его срок истек.

СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ

Человек, которому предстояло увидеть свет, чувствовал себя беспомощным. Двое осторожно ввели его в комнату и уложили в постель. Он привык в минуты волнения ходить по комнате из угла в угол ровными считанными шагами, так что след попадал в прежний след; теперь ему этого не позволили.

На его глазах была повязка, в комнате были закрыты ставнями и завешены окна и потушен свет. Но если бы ему позволили ходить, пока не уляжется легкая боль после операции, он мог быстро нащупать стены, кровать, столик, умывальник,— и затем чувствовать себя, как дома. Света и темноты для него не существовало: он был слеп от рождения.

Боли, собственно, даже не было, а было совсем особое ощущение: он был опален, а привычная чистота и четкость его впечатлений спутаны. Он получил извне небывалый удар, заставивший его сильно дернуться и вскрикнуть. Секунду спустя была наложена повязка, но осталось ощущение, как будто он проглотил шар, который теперь перекатывался в теле. Профессор, тоже несколько взволнованный, сказал:

— Ничего, ничего, все хорошо! Вы будете видеть, только потерпите. Будем приучаться понемногу.

В соседней комнате разговаривали вполголоса, но слепой, лежа на спине, слышал все слова с полной отчетливостью, и как профессор сказал: «Зрачок реагирует», и как на слова «Это чудо!» — он ответил: «Чудеса могут делать Бог и шарлатаны, а это наука, голубчик мой». После этого «голубчик» вышел, а профессор топтался у окна и долго вытирал руки полотенцем, палец за пальцем. Слепой слышал малейший шорох и легко определял каждое движение профессора. Вот он сел на стул тут же у окна, вот после долгого вздоха совсем особенным тоном произнес «да-а», а вот постучал папиросой о крышку портсигара.

Одновременно слепой прислушивался и к молоточку, стучавшему в груди и отдававшемуся в голове. Шар, проникший в его тело, разбился на малые шарики, затем эти стали дробиться на мельчайшие. Он знал, что это первое действие света, хотя, что такое свет, он не знал. Больше всего его страшило

повторение толчка, и он был рад хирургической повязке. Если это и значит «видеть», то видеть мучительно.

Что такое — видеть? Некая чудесная способность угадывать близость предметов, которых нельзя коснуться руками и которые не слышны. Зрячий говорит: «Вон там виден большой дом», или: «Вот идет такой-то». Большой дом — это долгий подъем по ступеням и поворотам, а под рукой убегают и надвигаются перила; чем дольше и утомительнее подъем, тем больше дом. Как можно считать эти ступени издали, не поднимаясь по ним и их не ощупывая, даже не входя в дом? Или как можно знать, кто идет, еще не слыша ни шагов, ни голоса? Вот это и есть чудо, гораздо большее, чем телефон. Объясняют: пройдя через хрусталик, свет принимается и отражается сетчаткой... и так далее. Кроме того, зрячий может видеть самого себя в зеркале; зеркало — холодная и гладкая поверхность, стекло; быть одновременно вне его и в нем — чудо раздвоения. Прикосновение к стеклу не дает никаких особых ощущений — холодно и твердо. Мир видящих волшебен и неправдоподобен.

Чудо видения толкуется множеством слов, и каждое из них и просто и непонятно; они должны приниматься на веру. И однако — зрячий выбегает на улицу без палки и бросается в толпу, не натываясь на людей, не окликаая, пересекая улицу наперерез автомобилям, зная, где обойти препятствие и что встретится дальше, — хотя он здесь в первый раз. Видеть — изумительное знание неизвестного. Менее удивительна способность читать на газетном листе и в книге буквы, которых почти невозможно прощупать; их щупают издали глазами — и буквы неслышно говорят и слагаются в слова.

Эти мысли не были новы для человека, которому предстояло увидеть свет. Но в последнее время, в связи с надеждами профессора, его верой в чудо и удивленными толками родных, он особенно много думал о своем будущем и старался догадаться, как изменится все, когда его глаза прозреют.

Мир никогда не был для него пустым и темным. Он с полной ясностью, но по-своему «видел». Его мир состоял из звуков, запахов и намеков на очертания. С детства он привык к тому, что предметы имеют определенный цвет; почти безошибочно он отличал

белую материю от черной на ощупь: белая холоднее. Выйдя в сад, он мог знать, что небо сегодня голубое — по особой ласковости и струящейся теплоте воздуха, по более веселому звуку голосов, быстро тающему. Солнце он знал и любил, ловил его лицом, перекатывал по коже. Воздух при солнце настаивался и густел. Зелень травы и для него имела множество оттенков: от мягчайшего до жесткого и колючего. Знал и рост травы, наблюдая его ощупью: сегодня больше, чем вчера; а вот это — увядание. Дерево — твердый и шершавый цилиндр, не кончающийся на высоте поднятой руки. Выше на дереве должны быть расположены ветки, на ветках листья, и листья шумят, когда их колеблет ветром. И листья, и ветер были для него почти одинаково предметны, но ветер, который дотрагивался до тела, сам был неуловим — и в этом было его отличие от других предметов. Что над деревьями? Говорят, — воздух, то, что ощущается, если в пустом пространстве проводить рукой; и то, что вдыхается. Все эти особые качества предметов образовывали в его представлении гораздо более сложную цепь понятий, чем у зрячего. Зрячий не видит воздуха, но видит небо, которого нет; слепому это понятно, потому что для него нет вещи, если ее нельзя коснуться, — а между тем эта вещь есть или будет.

Он хорошо знал и любил цветы. Розой он называл запах розы, сиренью — дух сирени, фиалкой — ее-аромат. Ощупывание цветка мало прибавляло к такому знанию и ничего не объясняло. Он оценивал цветы по-своему: гвоздика казалась ему ужасной, потому что одуряла ароматом; ужасна была и лилия; выше всего он ценил за тонкость аромата те цветы, про которые говорили, что они не пахнут. Подойдя к букету, не трогая его руками, он его «видел», потому что отчетливо знал, из каких цветов он составлен. Но и сидя за обеденным столом, он точно знал, какие перед ним блюда: его обоняние было развито так же исключительно, как и его слух, как и его осязание. Не отвлекаемый тем, что зовется зрением, он был всегда во власти множества тончайших ощущений, другим не доступных. Ничтожный и скучный для других хлебный шарик он чувствовал в круглой завершенной черте, в мягкости и способности сплющиться, стать кружком, распасться, или же в его пряности, кислоте, хлебном

духе, в малой слышности его падения на пол, в том, что он одновременно был и не был — стоит только отнять или приблизить руку.

Родные удивлялись, как он может сразу определять, что это — его чашка — из целого сервиза. Но на ручке была неприметная зрячим неровность, выдававшаяся крупинка фарфора, а край доньшка был шероховат знакомо и по-особому. Впрочем, он отличал ее от других и проще, — слегка ударив пальцем по краю, на что она откликалась своим звучанием. В маленькой библиотеке сестры он знал и мог найти любую книгу, потому что раньше, перебирая их, спрашивал названия, и некоторые книги ему читали вслух. Один только раз ошупав предмет, он после угадывал его простым легким прикосновением, едва проведя пальцем по краю. И самый предмет он сберегал в своем представлении в виде легкого штриха, определяющей черточки; он по ним скользил памятью, как зрячие скользят глазами, — и этого было достаточно. Черточки, запахи, звуки заполняли его мир и располагались знакомыми картинами на экране памяти: комнаты, люди, сад; труднее — улица, то есть ряд шумов и препятствий, плоскость, заставленная редкими подъемами по крутящимся ступеням.

Значит, и он видел; но он мог видеть только знакомое и не видел ничего, не оставившего следа в его изумительной памяти; остальное он воображал. Так, уличная толпа представлялась ему последовательной и путаной записью локтей, одежд, неисследованных лиц, дыханий и слов. Все это располагалось рядом, сцепившимися черточками и в плоскости обычного экрана, потому что перспектива была ему недоступна. Он знал, но никогда не мог понять выражения: «Человек вдали кажется маленьким». Стараясь понять, он представлял себе кусок мяса, который он ест: кусок делается все меньше. Так отдаление, то есть отрыв от прямых ощущений, постепенно поглощает и человека. Впрочем, то же бывает со звуком и с запахом, и это понятно; только осязание не имеет степеней приближения: то, чего нельзя еще раз коснуться, уходит из области очертаний в другие области, лишь оставляя след в памяти. Человек, ставший маленьким в отдалении, как бы растягивается и утончается, но все еще прикреплен к глазу зрячего; понять это иначе невозможно.

Основным миром его бытия был мир звуков — самый полный, ясный, прекрасный и мучительный.

Предмет мог ударить, пища обжечь и вызвать отвлечение. Звук также мог оскорбить резкостью, но он же давал полноту жизненных впечатлений. Звуками его сутки делились, как у зрячих, на день и ночь. В звуках он воспринимал окружающее, не протягивая к нему руки и оставаясь неподвижным. Звуки отличали добро от зла — и его нравственные представления сливались с музыкальными. И звуки же, их бесконечные по разнообразию сочетания, уравнивали его со всеми зрячими, чего не делала даже так называемая полная темнота.

В этой полной темноте на его стороне были все преимущества перед зрячими; ничего не видя, они делались беспомощными и беззащитными, тогда как для него ничто не менялось: он «видел», как видел всегда и везде, его движения были в привычной обстановке уверенны и свободны. Они лишались своего единственного преимущества — он сохранял все свои способности человека, необыкновенно изошрившего слух и осязание. Они даже в собственной квартире натыкались на предметы и не могли найти выходной двери; он и в малознакомом доме чувствовал препятствие по особому упору воздуха при движении, иногда по едва уловимому, но все же отчетливому запаху лакированного дерева, бумаги, пыли. Но едва зажигался свет — роли менялись, и он становился, не всегда справедливо, существом низшим и достойным сожаления.

Иное было в мире звуков — его настоящем царстве. Здесь, равный зрячим, он безмерно возвышался над ними не на минуту и не случайно, а по праву и почти недосыгаемо. Они слушали музыку — он ее не только слышал, но и видел, как они видеть не могли. Ухом тончайшим и развитым он ловил им не слышное и облекал звуки в недосыгаемые для них образы. В аккорде он видел отдельно каждую ноту, и это не мешало ему также видеть их в гармонии. Каждый звук имел для него свои очертания — и здесь он не дробил очертаний на куски, на признаки, на черточки лишь стенографической записи: он брал их в целостности и позволял им сплетаться по воле, образуя причудливые рисунки. Один звук рождался круглым, как горошина, и катился по гладкой поверхности, другой имел форму монеты и падал плашмя, звеня и сразу замирая, третий хотел

протянуться в бесконечность, но, остановленный пределами экрана, описывал дуги и окружности, пока не таял в самом центре, и еще иной выскакивал острой стрелкой и вонзался в мягкое, в нем исчезая. Были звуки, которые вырывались толпой и топтались в уголке экрана, а затем плыли, оставаясь приметными,— и тогда он плыл с ними до самого края, за которым их терял с болью и сожалением. Но ему ничего не стоило спутать их, легонько ударив пальцами по ручке кресла, в котором он сидел: на экране появлялись пятнышки, и вокруг них начинался хоровод испуганных звуков.

Он отлично знал, как звуки рождаются в рояле; черточки теплой руки цеплялись за углы холодных пластинок чудодейственного свойства, которые внутри инструмента соединялись с тугими струнами резким ударом молоточка. Всю эту работу он отчетливо слышал и воспринимал. Особо дрожала каждая струна, особо гудел ящик рояля; от которого расходились волны, щекоча и возбуждая ухо; он слышал также и отражение звуков предметами, находившимися в комнате: жестким мячиком они отскакивали от стен, раскалывались об угол стола, напрасно проваливались в мягкую обивку дивана. Он очень страдал, когда эти ненужные предметы портили мелодию,— другие ничего не замечали. Экран, на котором звуки отражались, делился на лучшие и худшие участки,— как делит поля добрый сельский хозяин. На худших полях прорастал сор недостаточно настроенной струны, нечистого удара по клавишам, равнодушного оттенка или больной ноты, вызванной тем, что под ножку рояля попал конец ковра. Это было мучительно, и он старался не посещать заросших бурьяном музыкальных полей, обходить их стороной, забывать о них.

И было еще одно. В мире других восприятий он не знал ничего, не запечатленного его памятью, раньше не бывшего и незнакомого. Только в области звуков его мир слепорожденного мог наполняться неизвестным и неизведанным, совсем новыми сочетаниями — и наполняться до краев, до сладкого и мучительного изобилия, иногда до болезненного чувства пресыщения. Перед ним, никогда не знавшим семи цветов радуги зрячих, вырастала могучая, тысячецветная радуга звуков, каскад неповторимых ощущений,— как неповторимы условия, в которых они сегодня

рождались, а завтра в тех же родиться уже не могут.

Слушая музыку, простой напев или сложнейшую симфонию, он иногда, боясь пресыщения, медленно повертывал голову — и тогда вся не объяснимая словами картина так же медленно повертывалась в противоположную сторону: и вот он уже видел движение. Обеими ладонями он прикрывал уши, как это любят делать дети, и по своей воле приближал или отдалял звуки, стараясь понять, что такое перспектива, которой никто не мог ему объяснить. Затем он раздувал ноздри и нюхал, и порой ему казалось, что у каждого звука свой особый запах, тупой, пряный, домашний, летучий, как дым, или неотвязный, или неистребимый. В ином сочетании звуков он улавливал то же ощущение, какое испытывал, выйдя в сад в солнечный день; значит, это и есть «голубое небо», «зеленая трава» или «красное знамя». И еще иногда рождалась высота — то, до чего не дотянешься руками и что видят видящие; он теперь знал, что это — путь от простого осязания в бесконечность, от памяти в неведомое.

Когда музыка прекращалась, часто чьи-нибудь слова низвергали его с этих высот в обычный и внецветный мир силуэтов. Кто-нибудь говорил: «Прелестно», или: «Мне это меньше нравится», — и он холодел при мысли, что можно пытаться выразить словами только что пережитое. Откуда взять слова? Какими их сочетаниями изобразить все, что накатило, пронеслось и отхлынуло? Он вставал, бледный, и, забыв дорогу, выставив вперед обе руки, искал выхода. И выйдя, ясно слышал, как там шепотом говорят: «Бедный, на него так сильно действует музыка!» Бедный? И это нищие говорят про миллиардера! Уйдя к себе, он рыдал, потрясенный неизмеримым величием и богатствами своих владений.

Профессор навещал его ежедневно и взял с него слово, что он будет лежать на спине, приподымаясь и вставая как можно реже. И тогда можно будет скоро произвести первый опыт.

— Будьте спокойны, повязки не трогайте и не волнуйте себя ожиданиями.

Он отвечал, что, конечно, не волноваться не может. Ему обещают переход в другой мир, не меньше; это —

как бы вторичное рождение. Но ребенок, рождаясь на свет, не имеет за плечами опыта жизни, уже сложившегося мира представлений, а человеку тридцати лет это не так просто. И он прибавил:

— А впрочем, профессор, почему мы знаем, может быть, и у новорожденного был раньше свой особый мир, взрослым непонятный?

— То есть какой же такой мир?

— Ну, мир небытия. Я вот тоже как бы пытаюсь явиться из мира небытия. Для меня-то он дорог и важен, а для вас он просто не существует.

Профессор сказал:

— Э, вы все эти мысли, дорогой мой, оставьте. Мы обо всем этом поговорим этак через годик или раньше. А сейчас ни к чему распускать нервы. Вы — человек интеллигентный, можете себя сдерживать.

Потом прибавил, взяв руку:

— А ну, пощупаем пульс. Пульс хороший. Будьте же молодцом. Мы с вами готовим ученому миру сюрприз. И уж начав — доведем до конца.

Слепой ответил, что от души желает профессору успеха.

— Еще бы вы да не желали!

— Да нет, я не уверен, что для меня это будет хорошо.

Профессор рассердился:

— Уши бы мои вас не слушали! Какой вы сейчас человек? А будете человеком.

Перевязки делались в темноте; только за спиной ставилась затененная свечка. Удара, как при операции, пациент не чувствовал, но одной секунды, пока повязка менялась, было достаточно, чтобы к его сердцу подкапывал опять тот же словно бы шар, который потом дробился на малые и мельчайшие. Его это пугало — профессора радовало.

В один из следующих визитов профессор сказал:

— Вы запомните, — это вам зрячий говорит, — что в мире много прекрасного, ради чего стоит потерпеть, и что видеть — большое счастье. Природа прекрасна, и краски чудесны, и там всякие здания, и особенно люди. Увидите, что такое красивая женщина, — вам этого мало?

— Самой красивой женщиной мне кажется моя сестра.

Профессор промычал неопределенно. Сестра слепого была дурна собой,— но не говорить же об этом! Он отшутился:

— Теперь вы и сам будете красавцем. Первое время в очках, а потом их бросите.

Этот разговор вызвал в слепом ряд неотвязных и томительных мыслей. По мычанию профессора он понял, что его сестра не считается красивой. Сестра, которая его воспитала и всю жизнь о нем заботилась с неизменной добротой! Если она не красавица,— что же называется красотой? Сочетание каких-то непонятных красок и линий? Но ведь самое слово «сестра» — красота!

И было еще — уже совсем личное, смешное и стыдное, о чем он долго не решался спросить. Вот теперь у него будут глаза, настоящие, открытые и видящие. У этих глаз будет свой цвет, как у всех человеческих глаз. Какой же цвет?

Он преодолел стыд и спросил профессора, который весело засмеялся:

— Ага! Интересно? У вас глаза, мой дорогой, карие и даже темно-карие. Да неужели же вы этого до сих пор не знали? И это очень, по-моему, красивый цвет, дай Бог каждому. И женщинам нравится.

Теперь он лежал и думал о том, что значит — карие глаза? Из многих цветов этот был самым непонятным и неосязаемым. Голубое — зеленое — красное соединялось с различными представлениями в других областях, ему доступных. Самый звук этих слов о чем-то намекал: голубое — любовь, зеленое — звучание крыльев мухи и шуршание травы, красное — кровь, боль, вообще резкое. Карий ничего не значит, хотя часто говорят и о карих глазах. Но до сих пор о цвете его глаз никто никогда ему не говорил,— да и был ли у них цвет?

Когда его навестила сестра, он ее спросил:

— Ты знала, что у меня карие глаза?

Она поспешно ответила:

— Боже мой, это так хорошо!

— Ты этого не знала раньше?

Но она опять сказала:

— Я очень люблю этот цвет.

— А у тебя? Какие у тебя глаза?

— У меня тоже карие, но не темные.

Он обрадовался и после разговора с сестрой чувствовал себя счастливым и спокойным, даже больше — переполненным предстоявшей радостью, которую только теперь стал ощущать ясно. Бодро встретил и профессора:

— Ну, я теперь готов и нисколько не волнуюсь. Я кое-что узнал и понял.

Но что — не сказал. Профессор пообещал завтра снять повязку. Его и это не взволновало: пусть волшебное произойдет! Он уже привыкает к этой мысли. Пусть чудо будет — это весело! Карими глазами, глазами сестры, он увидит все то, что видят другие. То, чего они не видят и что знает он,— останется при нем.

В последний день он удивил профессора признанием:

— Если что-нибудь я хотел бы видеть, уж не знаю как, то это прежде всего часы. Часы бьют за окном, на башне.

— Все увидите. Почему часы? Вы людей увидите.

— Людей я все-таки знаю; вещи, конечно, интереснее. Но часы — это мне представляется сказкой! Неужели это видно? Скажите, профессор, это высоко, когда их слышно оттуда, на башне?

Профессор и не понял, и не ответил. Взрослый слепой человек может быть наивнее зрячего младенца. И почему именно часы?

В день опыта в отведенной ему комнате был кроме профессора тот, которого он назвал тогда голубчиком, его ассистент. Входила и выходила сиделка,— ее шаг был мягче и мельче. Затем позволили войти его сестре,— он просил, чтобы она присутствовала при снятии повязки — его новом рождении. Разговаривая с нею, он считал шаги других вошедших: все были мужчины, и их было шестеро. Он знал, что это — врачи и студенты, которым профессор показывает свой опыт: только избранным.

Сестра стояла рядом с ним и держала его руку, когда профессор, вдруг изменив свой обычный шуточный и приветливый тон на строгий лекторский, заговорил:

— Ну-с, мы можем приступить. Занавеси откиньте,

а ставень приотворите — вот так, достаточно. Дневной рассеянный свет хоть и сильнее, но меньше действует, чем выходящий из одной точки, из лампы и свечи.

Потом продолжал, как будто читая:

— Я уже говорил, что ни мы, ни наш пациент не можем ждать... как бы сказать... необыкновенного происшествия. Когда мы возвращаем зрение утратившему его недавно или хотя бы в раннем детстве, то его глаза легко и довольно свободно возвращают себе уже знакомые впечатления, очертания и краски. У слепорожденного этот процесс должен происходить иначе, как он происходит, например, у родившегося ребенка: сетчатка глаза все отметит и отразит, но в сознание это передаться сразу не может; к этому глаза привыкают лишь постепенно. Так что какого-нибудь чуда внезапного открытия нового мира линий и красок мы ожидать, конечно, не можем. Именно поэтому мы должны действовать осторожно и с разумной постепенностью, переходя от темноты к полумраку и затем к свету.

Повернувшись к окну, профессор сказал:

— Пожалуй, еще немного затените; вот так.

И продолжал:

— Так что, господа, чуда в этом во всем нет, но зато есть большее: победа науки, победа нашей общей настойчивости и нашего, я бы сказал, трудолюбия. А теперь...

Профессор на минуту остановился, а его пациент сжал руку сестры. Ее рука дрожала, но он был спокоен и внимательно слушал профессора. От всякого волнения его отвлекла внезапная догадка, что, в сущности, профессору и всем остальным, кроме его сестры, совершенно безразлично, какой мир он утратит и какой приобретет, а важно для них только то, как частичка его организма, какая-то сетчатка, воспримет и передаст сознанию внешнее и случайное. Значит,— они его не видят, а он их видит и понимает: они одинаковы, как чашки сервиза, но его любимой чашки среди них нет. Он еще крепче сжал руку сестры и подумал: «Надо бы как-нибудь проще!»

— Теперь,— сказал профессор,— вот теперь мы... вот теперь я снимаю этот бинт, эту повязку... поверните голову слегка так... вот мы наконец можем ее совсем устранить... и вот...

КРУГИ

Молодой человек, здоровый и сильный, в летнем костюме, сидел на берегу реки, у самой воды, и бросал камушки, от которых по воде расходились круги. Половина шестого, а ее нет: что-то ее задержало, но, конечно, придет. Она написала, что должна сказать нечто очень важное. Он волновался, догадываясь об этом важном; он волновался по-хорошему, заранее решив, что он ей скажет. Брошенный камушек или булькал, или чмокал, смотря по тому, как его бросить. Вода была совершенно гладкой, так что каждый кустик того берега в ней отражался. Круги бежали сначала крутыми, потом все более пологими валиками, сначала спешно, потом спокойнее. По ним перекатывался, как лодочка или как ленивая утка, упавший в воду лист. Вот полному кругу уже нет места на узком течении реки, его края уходят в рощицу водорослей, слегка их шевеля, а по обе стороны бегут почти параллельные линии, и в них запуталось отраженное облако. В середине уже гладь, но еще долго качается травинка и топчется на месте поблескивающий зайчик.

Она расскажет, смущенно и боязливо, что произошло непоправимое и что — как же теперь быть? А он ответит, что он случившемуся рад, а как быть — он отлично знает. До сих пор, живя настоящим, они не обмолвились о будущем, просто — не думали о нем. А теперь они поженятся, вот и все. Кажущаяся сложность, чуть не катастрофа, превратится в простое и естественнейшее событие; конечно, полная перемена жизни, но иначе и быть не должно. И от сознания того, что сейчас все решится просто и никаких слез не нужно, а, напротив, наступает время новой, большой и серьезной радости, и что в эту радость введет ее он, — от этого сознания он чувствовал себя важным, спокойным, настоящим мужчиной, даже отцом. Она, конечно, догадывается, что так будет, но нужное слово скажет он, скажет ласково, просто и очень уверенно. И уже много раз он повторил про себя предстоявшую маленькую речь. И потом они будут сидеть рядом, молча, будут смотреть в воду и вместе думать, видеть образ их будущего.

Они сошлись недавно, а знакомы уже года три. Картины первых встреч ясны в памяти. У нее была

подруга, их и познакомившая. Трагична судьба этой подруги! Она была веселой, красивой, любимицей родителей. Теперь, после страшного случая, ее родители от горя сломились и состарились. Ей было двадцать лет, в ее жизни не было еще никаких забот, она училась, и все ей давалось легко, и легкой, открытой и привлекательной она была в дружбе, как позже была бы и в любви, когда пришло бы ее время. В своей жизни она испытала,— если поняла,— только один миг ужаса, и он был ее последним мигом жизни, когда удар свалил ее и подмял под колеса грузовой машины. Это нерасказуемо, как все чудовищное и бессмысленное. Весть об этом несчастье мучила сознание всех, знавших ее и любивших, а не любить ее было нельзя; весть об этом тяжелой гирей рушилась на голову и бревном подкашивала ноги, так что люди вскрикивали и падали, не мирясь с невозможным, не вмещая в свое сознание происшедшего безумия. Даже те, кто ее совсем не знали и только прочитали в газете о гибели молодой девушки, даже и они пережили минуту боли и жути и подумали о том, что так все-таки нельзя, так слишком несправедливо.

Был взрыв горя и ужаса, как извержение вулкана, как бунт воды, взбудораженной падением камня. Отец и мать, люди бодрые и возраста среднего, от утра до вечера прожили тысячу лет, согнулись в дряхлости, утратили ясность сознания, перешагнули черту обычных человеческих ощущений. Над свежепримятой землей, прикрытой остовами венков, тряслись их головы, и их глазам не хватало утешающих слез. Уже не люди, а лишь оболочки людей, набитые горем, которое пройти никогда не может. Кругом еще много испуганных, подстреленных, задушенных тревогой, потерявших веру в справедливость: ее подруги, ее молодые поклонники, с кем училась, смеялась, бегала взапуски, играла в серьезность, мечтала, готовилась в дальний путь жизни, перекидывалась взглядом и словом. Все — молодое, внезапно окруженное трауром, разрушенное, разграбленное царство игрушек, лент, книжек, уроков, первого кокетства, конфет, цветов, взрывчатого смеха и забавной серьезности, сломанные ступени лестницы, разорванный план постройки, забрызганная кровью первая глава задуманной и едва начатой повести. Осколки разбитого зеркала, надломленное крыло...

Первые дни были страшны. Плохо спала даже хозяйка мелочной лавочки на углу улицы, где это случилось; она была из первых, увидавших колесо и кровь. Шофера с остановившимся взглядом увели под руки и отпаивали за стойкой кабачка; потом был протокол, и это лучше, чем если бы его растерзала толпа. Рассыльный мальчик, открыв рот, впервые наблюдал смерть. Кудрявая собачка подбежала понюхать, но ее отогнали. Случайные прохожие рассказывали дома, как им довелось увидеть страшное происшествие. Из уст в уста круговой волной прокатилось по этому кварталу и за его пределы, но дальше затухло в движении машин и суматохе озабоченных людей. Новая волна окружила квартиру родителей погибшей девушки — покатила по дому, забегая в чужие и чуждые подъезды, где охали и ахали, на минуту забыв о кастрюлях, где немного путали подробности, так что неизвестно, был ли то грузовик или легкая машина, сколько лет жертве и в каком точно подъезде она жила. В гараже, куда отвели грузовик, говорили о случившемся мрачно и неохотно, жалели парня, мыли колеса и выходили покурить на улицу: внутри гаража не разрешалось. В полицейском участке за день это был третий случай, но самый серьезный; о нем записано подробнее, а к вечеру было передано газетам. На столе лежали отобранные у шофера документы. В печальном бюро, на витрине которого красовались в рамках фотографии процессий трех разрядов, уже знали, что семья небогатая и все будет запросто, без пышности, приличествующей зажиточным людям. В цветочном магазине некрасивая девица прикалывала и привязывала белые цветы к соломенному кругу; но она знала, для кого готовят венок, потому что лента была заказана особо. Мальчик, относивший венок, получил на чай и возвращался, подпрыгивая и глаза по сторонам. И эта волна, уходя все дальше, затерялась среди каменных кубиков мостовой.

Самые близкие друзья возвращались с кладбища молчаливо, думая о себе. Горе из ужасного становилось красивым; прежним и навсегда оно оставалось только для стариков, которых привели домой, поберегли до вечера и оставили. Некоторые из подруг еще поплакали дома, и до вечера их глаза были красны и напудрены. Двое, ушедшие вместе, как-то особенно

сегодня сблизилась, вспоминая, что это она их познакомила. Он вел ее под руку — она позволила, и он был очень нежен, почтителен и осторожен, и их мысли были заняты очень важными вопросами — о жизни, ее смысле, ее краткости, хотя они говорили о другом, случайном и пустяковом, только чтобы не молчать. Было необычно, но хорошо. Каждый видел в другом новые, незнакомые черты, может быть, самые лучшие, самые интимные, составляющие душевное богатство. Мимо них прошли другие, оживленно беседуя и даже смеясь, — это было несколько кощунственно, и они посторонились, уступая дорогу и не желая смешаться. Расстались у ее подъезда с необычным, очень скромным и все-таки значительным рукопожатием, и каждый, осторожно и важно донеся свою чашу горечи, после, уже дома, отпил из нее сладкий глоток. Было это очень странным и очень значительным. И все-таки настолько странным, что хотелось надольше продлить красивую грусть, скрывая ее простой улыбкой, но так, чтобы спрашивали: «Что с вами?» — И можно было ответить: «Ничего; так как-то... невесело». И потом можно было рассказать, как ужасно иногда поступает судьба, обрывая течение молодой жизни в самом начале. И они рассказывали, как и другие тоже рассказывали, о прекрасной девушке, трагически погибшей, которую они только накануне видели веселой, полной жизни и с которой были связаны близкой дружбой. Их слушали с сочувствием, потом переводили разговор на другое. Иногда оказывалось, что и у других были подобные случаи, о которых стоило рассказать. В живом разговоре удавалось рассеяться и дальше смеяться над каким-нибудь вздором, потому что они были молоды. Но не было в этом никакой измены памяти милой подруги.

Потом дважды приходила и уходила весна. Однажды девочка, дочь хозяйки мелочной лавки, выбежала на дорогу, чтобы схватить укатившийся мячик. За это мать надрала ей уши и объяснила покупателю, что не зря наказывает дочь, что выбегать на дорогу очень опасно, и даже был на ее глазах однажды случай — и она рассказала про этот случай и, завертывая в обрывок газеты лук и морковь, прибавила: «Это было вот тут, против моей двери!» ...В кабачке близ центрального рынка сидели шоферы, закусывали, пили вино

и говорили о разных неприятностях, связанных с их занятием. Один из них рассказал, как однажды, в дождливый день, он не мог затормозить и наехал на девицу, которая не в указанном месте переходила дорогу; были, по счастью, свидетели, и его оправдали; ему было неприятно прибавлять, что девушку он раздавил насмерть, а товарищи об этом не спросили. Другие рассказали про свои случаи, в которых все они не были виноваты, хотя некоторым пришлось поплатиться. Изпод земли на поверхность вышли молодые люди, он и она, и долго прощались, стесняясь поцеловаться при публике и лишь пожимая взаимно руки. На их лицах было смущение, но счастливое, и они уже, неизвестно в который раз, напоминали друг другу, что увидятся опять послезавтра, в то же время. Она просила его не провожать, но он хотел вот хоть до того угла. Отсюда ей было совсем близко, а он решил пройти пешком и шел бодро, чувствуя себя любимым и мужчиной. Когда он несколько под углом переходил улицу прямо к мелочной лавке, по лицу его на минуту мелькнула тень,— но воздух был так хорош и походка его так легка. Из подъезда вышел старик с трясущейся головой, и его поддерживала жена, тоже старая, но гораздо крепче его; им вслед с сожалением и неодобрением смотрела консьержка, женщина строгая и благоразумная. Старики обедали неподалеку в дешевом ресторане; после второго блюда она спрашивала: «Ну, как, ты сыт ли?», и он неизменно отвечал: «Я вполне сыт, было очень вкусно». И они выпивали еще по чашке кофею, за которым он подремывал. Потом они возвращались тою же дорогой домой, долго подымались по лестнице, входили в квартиру, в которой была комната-столовая, была их спальня, а третья комната, небольшая, была оставлена в том самом виде, в каком ее в последний раз видела их погибшая дочка. Эта комната каждый день тщательно подметалась и проветривалась; старуха делала это сама, а потом звала мужа посмотреть; они не присаживались, а стоя осматривали кровать, стол и картины на стенах. Все было в образцовом порядке.

Когда третья весна незаметно перешла в лето, некоторые семьи, посчастливее, переселились в деревню; лучшие места для отдыха там, где есть река. Бывают в таких местах удачные встречи. Прекрасны прогулки на берегу.

Молодой человек посмотрел на часы не без тревоги. Но она, конечно, придет, иначе не послала бы ему записки и не упомянула бы о «важном». Он был до удивительности спокоен, хотя сначала волновался. От камушков расходились круги, крутымы, затем отлогими валиками, и рыбы были недовольны, что нарушают их покой. Проплыла ветка, кем-нибудь сорванная и брошенная, обреченная на гибель. В полной неподвижности застыла в воздухе бронзовая стрекоза. Световой зайчик прыгал с валика на валик, суетился и никак не мог убежать. Шевелились травинки, потом успокаивались до нового камушка. В каждый момент в природе что-нибудь умирало и что-нибудь рождалось, ряд маленьких трагедий и больших радостей, в строгом учете чета и нечета, в гармоничном спокойствии, в необходимом равновесии смерти и жизни. Там, где расширившийся круг наплывал на преграду берега или речной травы, происходил как бы прибой волны, заметный и ощутимый для песчинок и для легких стеблей. Где этим волнам было просторно, там в неизвестной точке они сводились на нет.

Потом, вероятно, приблизились к берегу легкие шаги.

ЛЮСЬЕН

Все это, конечно, так, можно человека жалеть, можно дать ему два франка, когда он позвонит у двери, можно просто выразить ему сочувствие, — но понять, до конца понять нищего, опустившегося на дно человека может только тот, кто сам на этом дне побывал, все равно — выплыл ли или так там и остался. Речь идет в данном случае об уличном певце, должно быть, французе, который раньше постоянно певал у наших окон, а теперь куда-то исчез, возможно, что и туда, потому что был стар и вряд ли здоров. Его звали Люсьен, и я знаю его биографию — ничего интересного. Был маленьким неизвестным оперным певцом на вторые и третьи роли, тянул эту канитель до седых волос, неумеренно пил, пропил голос и оказался на улице. Таких десятки и сотни. Ничего выдающегося, ничего романтического из такой жизни не вытянешь,

уж очень все обыкновенно и последовательно. Но сверх этой законченной биографии мне рассказали один курьез из его уже нищей жизни, тоже не очень замечательный, — но вот пойми человека! Ерундит человек, или у него какая-нибудь особенная поэтическая натура? Или же так, зря, с пьяных глаз и от нечего делать? Сам не разобрав, лучше просто расскажу, то есть передам подробности чужого рассказа. Все-таки довольно любопытно.

Люсьен приходил под наши окна петь больше по утрам, настолько рано, что еще не все хозяйки возвращались с рынка, а я, например, еще и не вставал (очень хотелось бы прибавить: «Так как я по ночам работаю, пишу», — но это неправда, просто по лени и по скверной привычке). Дребезжащий голос Люсьена меня будил, и я думал о том, какие французы вообще немзыкальные, нет у них мелодии, а хором петь и совсем не умеют — тянут в унисон. Может быть, я не прав, и все это просто от «карт д'идантитэ» и от других неприятностей: ко мне несправедливы, и я тем же отвечаю. Все-таки, не говоря уже о Дебюсси, который был лицом похож на Белинского, был у них еще Жорж Бизе, про которого говорится в словарях, что он «писал оперы очень тщательно, заботился о живописности и о правильной драматической экспрессии»; Бизе носил курточку, застегнутую доверху, и умер молодым, успев написать «Кармен». Арии из этой оперы певал у нас под окном Люсьен, который на сцене, вероятно, никогда не певал партии Торeadора, зато на улице вознаграждал себя за все года.

Ну, вы можете себе представить, что у него получалось. От баритона у него осталась разбитая посуда да воспоминания о молодом жаре. Старался дополнять голос жестами, особенно на верхних нотах, куда без лесенки забраться не мог. Лежа в постеле и корчась от его ужасной фальши, я никак не мог понять, почему Люсьен у нас на дворе пользуется успехом; об его успехах можно было судить по внезапным паузам: это он подбирал деньги в бумажках, брошенные из окон; подберет — и продолжает с ноты, на которой оборвал пение. Но когда я сам его увидел — понял, чем он нравился. Именно той самой «драматической экспрессией», которая отличала Бизе; в пении она не слышалась, но на лице выражалась. Лицо у него было бабье,

белесоватое, конечно, бритое, и он был похож не на певца, а на певицу, до невозможности жеманную. Он прикладывал обе руки к сердцу, приподымался на носках, закатывал глаза и даже делал балетные движения, особенно при чувствительных романсах. Тяжелая, обрюзглая корпуленция в длинном трепаном сюртуке — вдруг улыбочки, ужимочки, воздушные поцелуи, не ладонью, а двумя пальчиками, точно вытягивает изо рта длинный волос; на женщин это всегда действует. Я сначала искренне смеялся, а потом, присмотревшись, почувствовал к нему большую жалость: за два су человек так должен ломаться! Конечно, профессия, как всякая другая, но уж очень человеческое в человеке угнетено, сведено на нет, остался несчастный паяц. Мы, пишущие не всегда «для души», кое-что в этом понимаем, тоже ведь... но об этом лучше помолчу.

Говорили, что Люсьен зарабатывает пением много, да оно и понятно. Возьмите какую-нибудь прислугу, фам-де-менаж; получает за час франка три — три с полтиной, работает в трех домах, — и все-таки, при жизни экономной, если и муж подрабатывает, рано или поздно земельку себе купит и домик выстроит. У меня служила такая и не хотела верить, что у меня нет текущего счета в банке; у нее был; разумеется, — французенка. А Люсьен в хороший день, когда дождя нет, на одном нашем дворе зарабатывал за четверть часа от пяти до десяти франков — при ста и больше квартирах. Впрочем, после я узнал довольно точно, сколько он зарабатывал: в хорошие месяцы до полутора тысяч франков, из которых пятьсот проживал, пятьсот пропивал, а куда уходило остальное — о том и идет дальше рассказ. Ну, не всегда так; зимой он, бывало, сильно бедствовал и даже голодал по-настоящему; все-таки нужно учитывать и старость, и болезнь, особенно при такой-то работе, все время горлом.

Одним словом, как многие французские нищие, Люсьен умел подкапливать, — но не на черный день и не на покупку лавочки в провинции. Совершенно точно установлено, куда он тратил деньги. Его отлично знали в модном и дорогом цветочном магазине, что на Монпарнасе. В первый раз его туда не хотели пустить, думали — попрошайка; но он с достоинством заявил, что пришел купить букет. Он выбрал самые красивые и дорогие цветы, те-

пличные, для сезона удивительные, и заплатил сумму, не доступную и для среднего буржуа. На него смотрели с удивлением и не могли понять, кто он такой: богатый ли оригинал, прикидывающийся оборванцем, или чей-нибудь посыльный. Но так как он стал приходить за такими покупками часто, раза два в месяц, то привыкли к нему и относились почтительно. Он покупал зимой сирень, поздней осенью — весенние цветы. Особенное внимание оказывал орхидеям, даже выказал себя знатоком. Забирал букет или корзину и исчезал.

То ли его заподозрили, то ли нашелся любопытствующий человек, но только его проследили: зачем такому человеку цветы? Не пользуясь ни трамваями, ни метро, ни автомобилем, он пешком нес эти цветы на кладбище Иври, старое и почтенное. На этом кладбище была могила с каменной обомшалой плитой, окруженная изгородью, а внутри лавочка. Надпись было трудно разобрать целиком, но имя было женское, а год смерти был помечен 1863. Кладбищенские сторожа рассказывали, что раньше этот странный посетитель приносил цветы на другую могилу, новую и богатую, но потом переменял ее на эту, и вот уже лет пять бывает здесь постоянно и сидит часами на лавочке, иногда молча, а то что-нибудь напевая или сам с собой разговаривая. Цветы он клал на плиту, а то подсаживал кустики, но всегда неудачно — они погибали; или он не умел этого делать, или покупал без корней. Один раз зашел в контору кладбища и просил дать ему справку, кто похоронен в таком-то месте, под таким-то номером. Молча выслушал, но сведения были те же самые, что значились на плите, так что ничего особенного узнать не мог; поблагодарил и ушел. Его считали родственником умершей, и сторожа удивлялись, что нашелся такой человек, который помнит и украшает столь старую могилу. И сам, очевидно, бедный, а приносит дорогие цветы. Но мало ли что бывает на кладбищах.

И вот однажды случилась странная вещь. Приехал на кладбище господин, вероятно, из провинции, и спросил в конторе об этой самой могиле, которой сам отыскать не мог. Дал сторожу на чай, и тот его проводил. Когда подошли, господин очень удивился, увидав на каменной плите целую грудку прекрасных увядавших цветов. Сторож объяснил, что тут постоян-

но бывает какой-то человек, грязно и бедно одетый, а кто такой — неизвестно. Вероятно, и еще придет, но никаких определенных дней нет. Посетитель очень заинтересовался, потому что это была могила его бабушки, и ни о каких родственниках в Париже он не слышал. Как бы так узнать? Сторож сказал, что тут одно средство: приходите сюда каждый день от часу до трех, в это время и тот обычно приходит, а больше ничего не придумаешь. Так посетитель и сделал, хотя был приезжим и говорил, что долго задерживаться в Париже ему трудно. Но, очевидно, ему очень захотелось узнать, кто с такой любовью постоянно украшает могилу его бабушки.

С неделю или больше приходил напрасно. И сторожей разбирало любопытство — встретятся ли эти два человека? И вот наконец встреча произошла. Когда посетитель пришел, тот странный человек уже был на могиле, сидел на лавочке и вел сам с собой разговор. Внук покойницы подошел, приподнял котелок и осведомился, с кем он имеет честь встретиться на могиле близкого человека. Люсьен оглядел его с ног до головы и гордо ответил, что не хотел бы, чтобы мешали его раздумьям, и что здесь похоронена женщина, которую он любил. Родственник опешил, но постарался разъяснить оборванцу, что, вероятно, тут ошибка, так как его бабушка умерла семьдесят лет тому назад, когда обоим их еще не было на свете, так что о любимой женщине говорить не следовало, да как-то и неприлично. Люсьен молчал, но видно было, что он очень смущен и страдает. Могильная плита была покрыта розами, а дело было в середине ноября. Возможно ли прогнать человека, который принес прекрасные цветы на могилу? С другой стороны, француз был как бы собственником могилы своей бабушки: как он может терпеть постороннего человека, да еще говорящего такие вещи про его бабушку? Может быть, просто сумасшедший? Сторож стоял в сторонке и присматривался — вот так история! Наконец опять заговорили:

— Вы, вероятно, ошиблись могилой? Это ничего, только я вам должен разъяснить, что вы напрасно расходуетесь на цветы. А я — внук.

Люсьен вышел из-за решетки, надел свою шляпчонку и сказал:

— Очень может быть. Но ведь вы-то никогда не

приходите, и никто не приходит. А я тут постоянно, это моя могила. Зачем она вам?

— Странное дело — зачем? Говорю вам — это моя бабушка!

Люсьен сказал:

— Не знаю. Ничего не знаю. Одно знаю: это нехорошо! Я стар и беден, меня всякий может обидеть. Это нехорошо, это нехорошо!

Повернулся и пошел не оглядываясь.

Родственник еще повертелся, поговорил со сторожем, что вот, как все это странно, очевидно, ненормальный субъект, а сторож заметил:

— Такой букет денег стоит. По сезону — тут цветов на все сто франков, никак не меньше! И откуда он деньги берет? Розы-то оставите здесь или как?

Родственник подумал, потом сказал:

— Как-то неудобно от стороннего человека; пожалуй, я лучше возьму их, что ж им пропадать.

Больше Люсьен на это кладбище не приходил.

Сторожа между собой говорили:

— Чего он его прогнал? Ходил старик, никому не мешал, цветы носил. Может быть, у него свои соображения. Бывают всякие люди, а иному и помянуть некого. Нехорошо с ним поступили.

Когда мне рассказали эту маленькую сентиментальную историю про нашего певца Люсьена, я не мог понять, в чем тут разгадка. Артистическая натура, что ли? Но Люсьен был бездарнейшим актером, в этом было легко убедиться по его нелепым ужимкам, смешным до последней степени. Если он так вел себя на настоящей сцене, то вряд ли публика ему аплодировала. Из жалости ему бросали деньги, несчастному безголосому паяцу. Может быть, он нарочно ломался, на эту жалость и рассчитывая. А зачем он тратил деньги на дорогие цветы и таскал их на неизвестную могилу, это просто непонятно и похоже на выдумку. Или какая-нибудь болезненная чувствительность, оригинальное помешательство, тем более что человек-то был пьяница. Объяснять не пытаюсь.

РОМАН ПРОФЕССОРА

Профессор философии был представителем старого режима, то есть отличался от нынешних бородой, бли-

зорукостью, научным бескорыстием и настоящими знаниями. Совершенно неинтересно, была ли у него семья, и вообще может ли быть профессор философии женатым и есть борщ и битки в собственной столовой. Его политические взгляды образовались на последнем курсе университета, отдавали Аристотелем и Платоном и в личной его жизни не могли иметь никакого приложения. Были смутны его представления о том, каков его профессорский оклад и в чем заключается так называемая ученая карьера. Не будучи кантианцем, он в личном поведении руководился несокрушимыми категорическими императивами, с которыми родился и жил без малейшего со своей стороны усилия. Кафедру получил поздно, так как, погруженный в научную работу, не проявлял и не мог проявлять никакой поспешности и не учитывал неумолимости времени. В остальном смотрел сквозь жизнь и был убежден, что никогда никакой перевод не может заменить подлинника, в особенности если дело идет о Платоновой «Республике». По непрактичности он не имел друзей и не считал врагами тех, кто не разделяет его философских построений. Огромное большинство житейских слов, как «правда», «любовь», «долг», «мысль», даже, как «качество» и «положение», были для него совершенно отвлеченными понятиями, многообразно определяемыми различными философскими школами, но окончательного смысла не имеющими и в практической, сегодняшней жизни не применимыми, то есть в той жизни, где употребляются слова «калоши», «дача», «баранки», «жалованье», «ректор», «присяжный поверенный», «крахмальный воротничок».

Это не значит, что профессор философии был лишен человеческих страстей и не способен к волнениям или был «не от мира сего»; просто жизнь делилась для него на части неравные и несоизмеримые: на науку и еще что-то такое совсем ненаучное, хотя иногда могущее служить научным материалом. Он, например, любил и ценил музыку, литературу и театр и мог бы даже увлекаться искусством, если бы ему не препятствовал привычный аналитический метод восприятий. Именно поэтому он никогда не ощущал скуки и был совершенно лишен чувства юмора, как человек, который даже к анекдоту относится, как к проблеме и предмету суждения.

Свой курс греческой философии профессор читал

в университете студентам и студенткам. Не был блестящим оратором, но так глубоко и исчерпывающе знал свой предмет, что не приходилось искать слов, которые сами становились в очередь, ждали и выступали вовремя и в наилучшем порядке, каждое в том смысле, который в данное время и в данном вопросе ему приличествовал; в следующий раз их прямое значение менялось, приобретало иной оттенок, но всегда сообразно той философской теории, о которой шла речь. Как всякий знающий и убежденный человек, профессор не представлял себе, чтобы кто-нибудь из его слушателей не улавливал оттенка его мыслей или, попросту говоря, его не понимал; аудитория рисовалась ему столь же высококачественной, какою была его мысль. Читая свою лекцию, он не блуждал глазами по лицам студентов, а выбирал одно лицо в центре, чем-нибудь привлечшее его внимание, и одно-два вспомогательных лица по краям, к которым он обращался только в редких случаях подчеркивания особенно важной, по его мнению, мысли или особо оригинального построения. Это были, впрочем, не люди, а воспринимающие органы, что не уменьшало полного к ним уважения профессора.

Чаще всего он обращал свою речь к студентке во втором ряду прямо против кафедры. Он, конечно, совершенно не знал, была ли она блондинкой или брюнеткой, носила ли короткие или длинные волосы, была ли красавицей или уродом. Помимо него, эстетическое чувство, весьма в нем развитое, установило очень правильный выбор, так как сидевшая против него девушка заслуживала своей внешностью и всякого иного внимания — греческой правильностью черт, строением и чистотой лба, несомненностью физического здоровья и необыкновенной ясностью глаз, которых она никогда не отводила. Ее можно было назвать образцом внимательности; видимо, ни одно слово профессора не проходило мимо ее ушей, ни один оттенок его мысли не оставался чуждым ее ответному пониманию. Самому профессору казалось, что его речь целиком поглощается бездонной ясностью этих глаз, всегда на него устремленных, бездонной и ненасытимой, потому что не видно в них ни малейшего утомления, даже ни малейшего следа тяжелой мыслительной работы: все, что он говорит,

воспринимается этими глазами с легкостью и естественностью, свидетельствующими об установлении крепкой и прочной связи между говорящим и слушающим, дающим и воспринимающим. Такое внимание, такое сотрудничество — не есть ли лучшая утеха и лучшее поощрение учителя?

С первых же лекций в лице этой студентки воплотилась для профессора вся его аудитория, как бы вся молодежь, которой он с чистым сердцем отдавал и посвящал свои знания и свой талант. Один раз случилось, что, не увидав ее в аудитории, он смутился и временно пришел в замешательство, как будто нить, соединявшая его со слушателями, запуталась в узел или порвалась; пришлось употребить усилие, чтобы вернуть себе обычную ясность мысли и способность ее изложения. До конца лекции профессор чувствовал себя не на высоте, а на следующий раз, увидав свою слушательницу на обычном месте, испытал неподдельную радость и почувствовал, как речь его стала исключительно свободной, даже блестящей, хотя сегодняшняя тема его ученой беседы была не из его любимых. И опять ясные и бездонные глаза, эти глаза аудитории, глаза как бы всей молодежи, впивали свет положительных знаний, который источало его красноречие.

Случалось, что после лекции к профессору подходили студенты, задавали вопросы, справляясь о руководствах, выказывали именно тот интерес, который он и старался в них пробудить. Та девушка никогда не подходила, да это и не было важным, ее роль была только в том, чтобы внимать и, пожалуй, вдохновлять, быть олицетворением живой связи. На вопросы профессор отвечал обстоятельно, был рад помочь, объяснить, посоветовать.

Нередко бывало, что, готовясь к лекциям, он мысленно представлял себе не университетскую аудиторию, не всех вместе слушателей, а только ту, которая олицетворяла для него их общее внимание. Он говорил ей и следил за отражением в ее глазах его мысли; странно: глаза смотрели и живо, и в то же время неподвижно, только спрашивая, но ничего не отвечая. А между тем ведь важно научить не слушать только, не только принимать на веру, а и рассуждать самостоятельно, пусть даже не соглашаться и спорить. И вот он невольно стал заострять свою мысль, иногда,—

правда, с осторожностью ученого,— доводя ее почти до парадокса. Он пускал этот пробный шар — и иногда слышал в рядах шепот студентов, может быть пораженных, вероятно не согласных; но глаза «той» смотрели с прежней прямою и ясностью, не выражая никакого волнения, и профессор не знал, быть ли ему довольным или вернуться к философскому спокойствию. Он волновался, но это волнение было приятно и плодотворно; его лекции приобретали новый блеск, какого им недоставало раньше, и сам он чувствовал, как растет в нем и мыслитель, и учитель. Это было правдой, и это замечали все. Его аудитория была переполнена, раскупались его книги, с особым вниманием и почтением относились к нему товарищи по профессуре; вероятно, у него завелись и враги. Последнего он не замечал, но свой рост чувствовал, как чувствует человек прилив здоровья, чувствует, радуется и хочет им пользоваться.

Теперь перед ним была задача: заставить эти спокойные и всеприемлющие глаза загореться либо восторгом, либо резким несогласием, выйти из равновесия, потому что без страстного восприятия или отвержения идеи не может быть творчества, а он хочет заставить молодежь творить, как творил, а не только познавал и выкладывал на счетах разума Платон. Он думал про самого себя: «Кажется, я сильно изменился,— что значит соприкосновение с молодежью!» Целый ряд слов, бывших для него лишь отвлеченными философскими понятиями, облекся в плоть и, снизившись, приобрел все же приятный жизненный оттенок. Конечно, он не опустился до утверждения: «Сначала жить, потом философствовать», но сама философия стала румяниться жизненными соками, и это, по-видимому, особенно захватывало его аудиторию... но не ту, глаза которой оставались по-прежнему спокойными и только внимательными. Не будь он философом, было бы в пору стать безумцем. Это уже не пропасть! Любую бездонную пропасть он мог бы заполнить брошенным богатством своей эрудиции и пламенем речи. Что же это такое? Бесконечное пространство миров или глухая стена? Может быть,— сама познавшая себя истина? И почему эта истина предстала перед ним в образе женщины? В последнее время он начал понимать, что его неизменная слушательница красива.

Их первая и последняя встреча произошла нечаянно; во всяком случае, он личной встречи не искал, мысль об этом никогда не приходила ему в голову. Они встретились в доме его университетского товарища, в большом обществе, и сначала он ее не узнал,— настолько в такой обстановке ее лицо было ему непривычным. Затем, взглядевшись, и обрадовался, и несколько смутился. Теперь он мог окончательно убедиться, что его невольной вдохновительницей, олицетворявшей для него всю современную молодежь, была действительно очень красивая девушка и что здесь, в ином окружении, она остается совершенно тою же, с ясными, спрашивающими, но ничего не отвечающими глазами. Ему было приятно, когда она сама подошла к нему и сказала, что она — его слушательница. Ну как же, разумеется, он ее узнал! Чай он предпочитает с лимоном, но зачем она беспокоится, лучше поговорить так. Разумеется, он заговорил с ней о предмете, так тесно их соединившем,— о философии Платона. Она слушала его, как слушала всегда,— не отводя глаз и с едва заметной, очень приятной улыбкой. Но важно было не говорить ей, а расспросить ее. Она пробовала отделаться словами «да» и «нет», но профессор не мог не быть настойчивым. Ей пришлось отвечать, но она не поняла вопроса и переспросила так, что теперь не понял он. Сначала в его голове мелькнула мысль, что эта девушка хочет поймать его на каком-то противоречии, что у нее особая, во всяком случае, крайне оригинальная форма мышления. Минутой позже он убедился, что она действительно не понимает, о чем он ее спрашивает. Это смутило его гораздо больше, чем была смущена его собеседница. Упрямый и неуклонно последовательный на всех путях исследования, он сделал еще несколько попыток завязать с ней ученый разговор и вдруг с совершенной ясностью, как неизменно ясны были ее прекрасные глаза, открыл, что перед ним очень красивая, но и очень, до крайности, до непозволительности, глупая девушка, не только не увлеченная его проповедями, но и вообще не интересующаяся философией и не способная задуматься над самым элементарным вопросом. Она очень бы обрадовалась, если бы он просто сказал ей, любит ли он чай с лимоном или с вареньем и бывает ли он в кинематографе. Или если бы он увел ее в соседнюю комнату

и поцеловал; при этом совершенно не изменилось бы выражение ее глаз, этих синих дыр в пространство, очень умело пробуравленных природой пониже чистого и отлично построенного лба, внутри которого такая же ясная пустота. Он почувствовал, как в душе его в первый раз в жизни вспыхнула самая настоящая злорадия и как легко мог бы он сейчас постучать чайной ложкой по ее лбу и громко сказать: «Боже мой, какая дура!» Но он, конечно, не сказал. Он ушел из этого дома с поспешностью, наскоро простившись с хозяйками и пробормотав о срочной работе.

Его следующая очередная лекция поразила студентов необычайной, необъяснимой грубостью, напрасными полемическими выпадами неизвестно против кого. Он говорил не как свободный мыслитель, а как узкий догматик, не допускающий никаких сомнений в истинности своих положений. Он позволил себе даже утверждение, что на путях познания тысяча противоречивых мнений и ложных выводов меньше тормозит постижение истины, чем один-единственный деревянный лоб профана, замешавшегося в среду просвещенных искателей. Это так не соответствовало обычной широте и стройности его философских построений, что вызвало в аудитории и холодок, и пока еще робкий протест. После лекции несколько студентов направились к нему, чтобы поговорить, но он, даже не извинившись, буркнул под нос, что сегодня не располагает временем для болтовни. И вообще он сделал все, чтобы воспротивиться против себя студентов, внимание и любовь которых он так долго, неукоснительно и методично завоевывал.

Он был, конечно, не прав. Но только тот мог его судить, кто не видал направленных на него во все время этой несчастной лекции ясных, красивых и совершенно ничего не выражавших глаз, за которыми теперь чувствовалась пропасть, уже ничем не заполнимая.

ПЕШКА

Гражданина Убывалова выслушали, выстукали, просветили два врача и один профессор. Снимка ему не показали; на снимке среди бурелома туманных ре-

бер врачам и профессору подмигнула темная клякса. Увидев ее, оба врача боязливо подняли брови, а профессор удовлетворенно кивнул головой, хотя ранее того именно он и сомневался. Было сполна уплачено за картину и консилиум. Врач, постоянно лечивший Убывалова, его старый приятель, плел от смущения и большого огорчения такую милую и трогательную ахинею и так напирал на счастливые случаи, которых не бывает, что обоим стало неловко. После этого они мужественно играли в шахматы, врач проиграл и очень обрадовался: выиграть партию у человека обреченного было бы и неприлично и неприятно. Выйдя из дому, врач до поворота в другую улицу ежилась и повторял про себя: «Боже мой, Боже мой, вот бедняга!»— а на повороте вынул платок и вытер искреннюю дружескую слезу. Из платка выпала костяшка и отчетливо звякнула об асфальт, но он не заметил.

Гражданин Убывалов остался дома вдвоем: он и его близкая смерть. Некоторое время мысль о ней путалась в его представлении с гамбитом Муцио: жертва коня за сильную атаку; они играли по старинке, комбинационно, как играли смелые и непрактичные мастера. С момента, когда черная пешка взяла белого коня, и до самого конца партии Убывалов отодвинул мысль о смерти, слишком огромную и не вмещавшуюся в знакомую шахматную комбинацию. Но мысль эта вернулась при очень крепком рукопожатии в передней, когда старый друг, прощаясь, сказал: «Ну, я буду забегать, а ты будь молодцом!» Уложив шахматы в большую коробку, выложенную внутри зеленым бархатом (шахматы были превосходные, очень дорогие, фигурные, слоновой кости), Убывалов хотел включить верхний свет, оставив только лампу на столе,— и внезапно испугался полумрака, который может заселиться тенями. На минуту он замер, потом к груди подкатилась волна небывалого по странности ощущения: стены стали приближаться и отступать, приближаться и отступать, а он попробовал по возможности добродушно улыбнуться и мудро сказать себе: «Ну! Вот и все!»,— ноги его ослабели и пол зашевелился. А между тем до сих пор он держался так мужественно и разумно, что его приятель, врач, мог уйти в уверенности, что он не понял.

Сев в кресло у стола и пошатываясь,— а может

быть, продолжала шататься комната, — он смотрел на книги и портреты, а книги и портреты смотрели на него с тревожным любопытством, не понимая, как же теперь человек соберет свои мысли и что он будет делать в остающееся до близкой смерти время. Было бы много проще, если бы он испытывал очень сильные боли и думал только о них, о том, как и чем их ослабить; но вот сейчас как раз более не было, только обычное и уже привычное ощущение желудочного недомогания. Перед снимком его заставили съесть манной каши с какой-то дрянью, и приятель настойчиво называл кашу кашкой, как будто от этого все делалось шуточкой и пустячком: «Ты каши покушаешь, а мы посмотрим, что у тебя там такое приключилось». И он тоже ел кашу с шутливым выражением, — так уж было нужно. Теперь, когда все известно, постепенно начнутся боли, и затем он умрет. Но представить себе все это невозможно, и лучше бы (то есть гораздо проще), чтобы все это оказалось ошибкой.

Одну минуту — только одну минуту — Убывалов думал о том, что, в сущности говоря, так случается рано или поздно с каждым человеком: в какой-то час он оказывается обреченным и понимает это. Особенно, когда ему уже много лет. Ну, прожил бы еще пять, десять, ну — двенадцать лет, а там все равно... Конечно, проще, когда уже не сознаешь ничего от старости или слабости. Но комната опять зашаталась, и портреты уплыли в тумане. Не может быть, чтобы люди перед смертью не сходили с ума. Но раз неминуемо, то как же не думать об этом решительно всегда, во всякую минуту, все равно — в старости или в молодые годы. Мы просто только обманываем себя и отмахиваемся от ужасных мыслей. Таким образом, можно считать, что ничего не случилось.

Книги и портреты приняли спокойное положение, Убывалов встал, прошелся по комнате, остановился против зеркала, в котором очень почтенный и очень знакомый человек улыбнулся и произнес губами: «Эх, господа, господа, все это неважно!» Его окружили участливые лица знакомых и друзей, все явно смущенные, и, как это ни страшно, ему же приходилось успокаивать их своей выдержкой. Отходя, он ласково пожимал им руки, как бы говоря глазами: «Ну-ну, знаю, спасибо вам!» — и они смотрели ему вслед

с почтительным удивлением. Он вынул было из кармана газету и хотел углубиться в чтение, но это было бы рисовкой. Лучше так, просто, не говоря о себе, расспрашивать, как у них идут дела, как ребятишки, правда ли, что Павел Игнатьич остается в Америке и выписывает туда жену. И он то отходил от зеркала к книжным полкам, то опять возвращался с приветливой улыбкой, радуясь, что стало так хорошо и спокойно. Но верхнего света все-таки не гасил, чтобы не нарушить светлого стиля своего душевного состояния.

Мягкий ковер заглушал шаги. Так ходить, бросая беглый взгляд в зеркало, потом на книги, можно было долго, почти вечность, только бы не сделать резкого движения, которое изменит ровный строй мыслей. Он ходил, пока не ощутил слабости в ногах и легкого головокружения, в последние дни довольно обычного. Тогда он стал приучать себя к мысли, что вот сейчас остановится и сядет в кресло, но сделает это плавным движением, как бы выполняя намеченный план. Так он и сделал, медленно опустившись в кресло и сейчас же протянув руку к шахматам. Слоны были с хоботом, подвернутым под передние ноги, ладьи несколько похожи на гондолы, бородатый король обеими руками опирался на меч. Вынимая фигуры одну за другой, он любовался ими, как всегда; в такие шахматы было приятно играть. Если с полной внимательностью и без всякого пристрастия играть за себя и за воображаемого партнера, то игра должна, по-видимому, окончиться вничью? Перед ним сидел доктор. «Ну, сыграем, сыграем», — сказал он вслух и подумал: «Если первыми уставятся белые...» Не глядя вынимал из коробки и ставил на поля широкой доски. Белые опережали; потом их стали догонять черные; все фигуры стояли на местах, дело шло только о пешках: с каждой стороны недоставало по три, потом по две. И опять он подумал: «Если первыми уставятся белые...» Он вынул пешку белую, потом черную и, когда вынимал решающую, почувствовал в душе холодок. Вышла черная пешка, и черный ряд заполнился. Он опустил в ящик руку за последней пешкой, но ее не оказалось; посмотрел — ящик был пуст. Мелькнула мысль, что, значит, все гаданье неправильно, и мысль, пожалуй, приятная, но нужно было не думать, а начать игру, вообще что-нибудь делать, иначе придет беспокойство.

На столе пешки также не было и не было на ковре около стола. Наклоняясь, он почувствовал боль. Все-таки нужно найти пешку. Он встал с неохотой, отодвинул кресло, внимательно осмотрел все кругом, еще раз проверил пешки на доске...

Как-то совсем нелепо пропала белая костяшка, в основании налитая свинцом и подклеенная суконным кружочком. Да и как она могла пропасть, когда только что они играли на этом самом месте в эти самые шахматы? У каждого человека есть любимые вещи, всегда ему приятные, которыми он особенно дорожит. Всякий раз, как он нагибался, боль давала себя чувствовать, хотя сейчас он менее всего думал о ней. Белая отполированная пешка никуда не могла скрыться; на темном ковре сразу бросилась бы в глаза. Он догадался поискать в сиденье кресла; мелкая вещица может забиться в щель. Искать было неприятно, там были какие-то крошки и пыль, а пешки не было.

Он выдвинул и осмотрел ящик стола, обшарил свои карманы,— хотя с какой же стати... Можно было бы временно заменить недостающую пешку чем угодно — монетой, пуговицей, кусочком бумаги. Но мысль его была теперь занята нелепой пропажей и более всего боялась отклониться на другой предмет. Другой предмет был темным, огромным и непреодолимым; к счастью, он отошел далеко, но каждую минуту мог снова выплыть и заглянуть в глаза, под самую черепную коробку, и тогда мужеству конец. Ему очень хотелось пить: эта обычная сухость во рту и дурной вкус, самое утомительное в его болезни, потому что самое постыдное. Мог по рассеянности взять с собой костяшку, когда провожал своего друга, и оставить ее в передней. Не торопясь, боясь быстрых движений, он вышел, убедился, что там нет, и скорее вернулся в ярко освещенную комнату. Он еще никогда не испытывал такой острой к себе жалости и такой обиды: пропала очень ценная вещь, и сама по себе ценная (без пешки шахматы никуда не годятся), и особенно ценная в данный момент, когда он один в своей квартире и приближается ночь. По ночам всякая боль становится острой и гонит сон. Почему именно с ним случилась такая нелепость? Он еще раз обыскал карманы, бормоча: «Не верю я в чудеса и никаких чудес не хочу!» Если бы пальцы его наткнулись на полированную костяшку, он

был бы, пожалуй, счастлив; со стороны судьбы это было бы маленьким одолжением, которое он, именно он и именно сегодня во всяком случае, заслуживает. Руки его опустились, и отчаянье, молчаливо поджидавшее в затененном уголке комнаты, начало подползать на вкрадчивых лапках. Нужды нет, что все происходит из-за такого, в сущности говоря, пустяка. Будет забегать доктор, будут забегать немногие друзья, будут смущенно топтаться и искать предлог поскорее уйти. В том магазине, где шахматы куплены, найдутся, может быть, запасные пешки, хотя это — художественная работа, а не какая-нибудь шаблонщина, какую везде найдешь. Мучительнее всего, что заказать нельзя, стыдно и смешно; скажут: «Будет готово через месяц». Спросить завтра доктора: «Стоит заказывать, если через месяц?» Он заморгает, станет неудачно шутить: «Возьми у меня вперед пешку, вот тебе и все!» Как это получается глупо... Останутся книги, останутся портреты, никому решительно не нужные, останутся письма, если их не сжечь.

Гражданин Убывалов поморщился от боли. Обычно в это время он принимал капли и ложился спать. Доктор не сказал, принимать ли капли и дальше или это безразлично. Завтра скажу ему: «Слушай, я ведь отлично понимаю...» Потом сядем играть; нужно будет начать какой-нибудь нескончаемый матч, партий в сто, если успеется. Разыграем гамбит Эванса, всегда получается интересно. Убывалов протянул руку, чтобы сделать ход, и увидал, что нет белой пешки.

Но ведь куда-нибудь... где-нибудь она должна быть! В спальню я не заходил. Или заходил? Он отчетливо помнил, что выходил только в переднюю. Пешка могла упасть и закатиться под диван, и это вернее всего, как было не догадаться сразу! Он встал со внезапно нахлынувшей надеждой и радостью. Если найдется, то все сразу станет чудесно! Диван тяжелый, и сдвинуть его трудно, особенно при этой боли. Но и так, может быть, найдется, если пошарить под диваном чем-нибудь длинным, линейкой, палкой.

Линейка стукнула и покатила легкий предмет. Была только одна секунда, и эта секунда была, во всяком случае, самой счастливой за все его существование, начиная с того времени, как два врача и профессор рассматривали туманную картину

и кончая последними, полусознательными, минутами, когда мученья тела убивались морфием. Но линейка извлекла только упавший за диван прокуренный мундштук приятеля-доктора. В неудобном наклонном положении, стоя на коленях и заглядывая под диван, Убывалов довольно остро чувствовал боль, но не хотел отказаться от мысли найти пропавшую костяшку. От ковра пахло пылью. Больше ничего под диваном не было. Тогда он, не разгибаясь, прополз от дивана к книжному шкапу, хотя знал, что под ним нет щели и закатиться ничто не могло. Откуда-то попал на ковер гвоздик, о который больно накололась коленка. Убывалов поморщился, потер коленку и увидел над собой все те же портреты и книги; на темных корешках книг были вытиснены надписи, и все это давно потеряло смысл и прежнее значение. Отчаяние, так долго сторожившее в затемненном углу, решило наконец окончательно выползти на свет и напасть на человека, находившегося в такой смешной и неудобной для защиты позе. Из мягких ласковых лапок оно выпустило когти, впилось человеку в грудь и начало потихоньку ее раздирать. Это не сопровождалось никакой особенной болью, кроме обычной, но мысль человека резко оторвалась от белой костяшки и стала тупо ударяться в стены, в ковер, в потолок и в пустой череп. Шахматы спутались, стало невозможным следить за игрой, проигранной при всех условиях, в любой комбинации. И хотя человек, привыкший владеть собой, мог бы еще подняться, подойти к зеркалу и шутливо и печально поговорить со знакомыми, но это было ни к чему, и он, оставшись сидеть на ковре посреди комнаты, наклонил голову скрещенными пальцами и стал, покачиваясь, вглядываться в семью бронзовых зайчиков, прыгавших под его опущенными веками.

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА

Посреди большого двора стоял человек, одетый достаточно прилично, чтобы его не приняли за нищего: панталоны были слишком коротки, пиджачок блестел на локтях и у средней пуговицы, но на голове человека был котелок умеренно рыжего цвета. А главное —

человек был гладко выбрит, даже поранен бритвой на подбородке и над верхней губой. Сновали молодые люди с книжками и без шляп, пахло наукой и карболкой, у дверей, размеченных римскими цифрами, висели в рамках печатные расписания. Наметив худого юношу, шедшего к центральной двери, человек приподнял котелок:

— Скажите, пожалуйста, где здесь театр?

Юноша ответил несколько оскорбленно:

— Здесь не театр, а медицинский факультет.

— Я это знаю, но я разумею театр анатомический, где режут трупы.

Прежде чем войти, человек оправил сюртучок, указательным пальцем оттянул с кадыка слишком узкий сероватый крахмальный воротник и потрогал порез на подбородке. Дверь оказалась тяжелой, тугой и подтолкнула вошедшего в спину. Так как в вестибюле никого не было, то человек не без робости приотворил следующую дверь, оказался в коридоре, прошел его на цыпочках и постучал косточкой пальца в стекло, за которым была видна большая комната, уставленная пустыми столами. Из кучки людей в белых халатах отделился один и, выйдя, спросил, что угодно пришедшему.

— Простите за беспокойство,— сказал человек,— но я не знаю, к кому я должен обратиться по личному делу.

— А что именно?

— Я имею один труп, то есть он еще не готов, но я предполагал бы его предложить.

— Предложить труп? А вы что же, вы из морга?

— Нет, я живу на частной квартире, так сказать, в окрестностях ботанического сада. Но я слышал, что вы покупаете трупы для личных надобностей, а так как я несколько стеснен в обстоятельствах...

Человек в белом халате недоуменно оглядел собеседника:

— Я не понимаю вас... Мы трупы не покупаем, нам доставляют из больниц и из морга. Но откуда же у вас труп?

— Он, так сказать, со мной, но, как я уже сказал вам, не совсем готов. Это, собственно, я сам и есть. Мне пятьдесят четыре года, особенной болезненности нет, однако немало интересного. Скажу откровенно,

настоящих цен я не знаю, но рассчитываю, что такое учреждение не захочет обидеть человека. Сам без особого образования, однако науку я высоко уважаю. Вы будете господин профессор?

— Нет, я не профессор, но это все равно, вы уж простите, тут явное недоразумение. Здесь клиника и анатомический театр. Вам, вероятно, нужно психиатрическое отделение? Это в другом здании.

И пришедший, и человек в халате неловко помолчали. Наконец странный господин сказал:

— Уж не знаю, как и быть. А не могу ли я поговорить лично с господином профессором? Его нет? А нельзя ли передать ему мой адрес, или же я зашел бы в другой раз.

— Думаю, что бесполезно. Я же говорю вам, мы трупов не покупаем, у нас их достаточно. Пожалуйста, простите, мы очень заняты. Уж если непременно хотите, пройдите в канцелярию, а здесь работают студенты.

— Я в канцелярии был, там не понимают. Разрешите мне все же... обидно, что я не захватил визитной карточки... но вот я тут написал на бумажке свой адрес. Дело в том, что, кроме всего прочего, ну, там — пищеварение и умственные склонности, у меня сердце с правой стороны, может быть, это заинтересует господина профессора. Обычно же, если не ошибаюсь, бывает с левой стороны.

— То есть как с правой?

— С правой руки, которой крестятся и делают все прочее. Личная моя особенность. Но я удовлетворился бы приличной единовременной суммой или, если можно, месячной платой на дожитие. Случай, извините, редкий. Мне говорили, что в Лондоне, например, дали бы постоянную пенсию за право располагать трупом, но нет средств на поездку и, сверх того, незнание языка.

— Но, послушайте, а вы уверены?

— Относительно стороны? Помилуйте, я честный человек! А впрочем, достаточно...

И человек, надев котелок, снятый из уважения к белому халату, приложил обе руки к правой стороне груди, закрыл глаза, как бы слушая далекую музыку, и, в такт ударам, легонько закивал головой.

Через два дня он получил приглашение явиться на частную квартиру профессора анатомии.

Вот когда наконец была куплена мягкая серая шляпа, какую обычно носят люди известные и свободных профессий. Вот когда наконец костюмчик недорогой, но лучшего конфекционного вкуса, нырнул под серую шляпу и твердо укрепился на новых желтых туфлях.

По улице идет человек и с ласковой, хотя и несколько насмешливой улыбкой смотрит прямо в глаза встречным, не знающим, с кем они встретились. Их, этих встречных, тысячи и, может быть, миллионы, в то время как он — единственный в своем роде. Так мимо нас проходят великие писатели и полководцы, и мы, не зная об этом и толкая их иногда локтем, оказываемся в смешном положении. Переходя же через дорогу, господин в серой шляпе (бывший рыжий котелок) поднимает руку над головой и этим жестом останавливает движение неосторожных автомобилей: задави его неароком — и науке крышка!

Кроме довольно-таки солидной для него одновременной суммы, он получает помесечно, что, при полной скромности его жизни, удовлетворяет все насущные потребности. Воздержание от простуды, горячайших напитков и волнения: может отозваться на сердце, которое, как вы знаете, имеет необычное местопребывание и принадлежит науке и человечеству. Раз в месяц — обязательное посещение профессора, который жмет руку и спрашивает: «Ну, как мы себя чувствуем?» Мы себя чувствуем преотлично, и профессор, потирая руки и предвкушая будущее, лицемерно говорит: «Вот и прекрасно!» — а самому хочется вот тут же, сейчас, чиркнуть скальпелем под шестым ребрышком и посмотреть, что у человека перемещено, а что остается на месте. От профессора человек в серой шляпе выходит кандибобером и с хитрой усмешечкой: «Подождешь, а мне не к спеху!» Профессору шестьдесят пять лет, и, конечно, он боится не успеть, но свои опасения скрывает под ласковым вниманием: «Вы не простудитесь в таком легком пальто?» — «Помилуйте, я уж так берегусь, чтобы чего-нибудь вам не напортить». — «Да нет, я не о том», — и сердце с правой стороны радостно екает: подождешь.

На неделе раза два вызывают письмом явиться то в аудиторию, то на ученый доклад, ибо это

предусмотрено договором. Надевается чистая рубашка. Студенты слушают через трубочку и смотрят с почтением. «Обычно в таких случаях правое и левое легкое как бы меняются местами», — говорит профессор. И экспонат с правым сердцем обиженно думает про себя, но вслух не говорит: «Ах, обычно? Может быть, поищите кого другого?» И запахивает рубашку, ссылаясь на то, что в аудитории холодно, а ему менее всего хотелось бы простудиться; к тому же он щекоплив, а студенты так неосторожно тыкают пальцами. Вообще он держит себя важно, потому что в жертву науке он принес свой будущий труп, а отнюдь не живую личность. А слава — что слава для мудреца? Ничтожная игрушка!

Мысль жениться пришла ему на его пятьдесят седьмой весне. Вообще — прекрасная мысль, но в данном случае оказавшаяся губительной. Весной человека пригревает солнце, и тут еще чирикают разные птички, женщины в новых шляпках, кошки и собаки проявляют несдержанность чувств. Его выбор пал сначала на очень молодую девушку, маникюршу в парикмахерской, где он брился перед лекциями и заседаниями ученых обществ. В его жизни это был первый и последний маникюр, в общем неудачный. Когда он уже отшлифованным пальцем провел по щечке девицы, она едва не плеснула ему в лицо тазик мыльной воды. Он объяснил ей, что его намерения совершенно серьезны и что он не обычный человек, а немалая известность в ученном мире как имеющий сердце с правой стороны. Она закончила ему ногти, но ответила отказом в неоскорбительной форме. Вот тогда-то он и перенес внимание на роковую женщину с приятной аномалией: полоской черных усиков над модной окровавленностью губ. Ей было только тридцать три года и лишь впоследствии, в день заключения брака, оказалось сорок, и то лишь на бумаге. Она была вдовой второго мужа, шила шляпки и согласилась жить в двух комнатах с кухней. Он, конечно, сам виноват, что выдал себя за скромного рантье, намекнув и на доходы с ученых докладов, которые он делает. Вообще все это произошло быстро, чему способствовала весна, серая шляпа и ее усики. Из осторожности он побывал у про-

фессора и справился, нет ли каких препятствий его женитьбе. Не только не было препятствий, но профессор горячо его поздравил, профессор был очень, очень рад, хотя и удивлен. Профессор сказал:

— Единственное, что я обязан оговорить, это — чтобы ваша женитьба не вызвала впоследствии... вы меня простите, но вы понимаете... каких-нибудь осложнений по части нашего соглашения. Вы, конечно, предупредили вашу невесту?

Осложнений? Но разве его сердце принадлежит не ему? Лишь символически он передает его черным усикам! И он ответил:

— Господин профессор, я честный человек. То, что я имею, чем я, так сказать, могу гордиться, принадлежит нам, и я отдаю его жене лишь во временное пользование.

Когда она его била, руками, тарелкой, щеткой, другими предметами, он как честный человек старался повертываться к ней левой стороной, как не имевшей большого значения для науки. Но падали волосы, и жизнь человека сокращалась к невыгоде их обоих: любовь и коварство жгли с обоих концов эту свечу, предназначенную осветить темные страницы анатомии и физиологии. Он жестоко ошибался: теперь ему не принадлежал не только труп, но и живое тело. Описывать его жизнь подробно не стоит: она стала жизнью обыкновенного человека.

Однажды профессор сказал ему:

— Что это вы так похудели? Питаетесь недостаточно? А ну-те, дайте-ка я вас выслушаю.

Он привычно снял уже потрепавшийся и блеснувший локтями пиджачок (и серая шляпа давно потеряла прежний вид!), расстегнул рубашку, и, едва приложив к его правой груди стетоскоп, профессор, не в силах скрыть радости, воскликнул:

— Пе-ре-бо-и!

Но это было хуже, чем простые перебои.

Не стесняясь соседей, она кричала:

— Ступай к своим дуракам и скажи им, что я не согласна.

— Но я обязан, я за это получаю.

— Ты получаешь, а мне потом ни гроша не

заплатят. Я не обязана давать им даром свое добро. Так им и скажи: если мне не дадут дополнительно, я тебя сожгу.

Ужасно! Он плелся, страдая одышкой, к профессору, который по доброте не говорил, что его нет дома. Он стыдился торговаться, но предупреждал, что эта женщина на все способна; она его действительно сожжет в крематории.

— Мой дорогой,— грустил и профессор,— я понимаю вас, но что же делать! Мне и говорить-то с вами об этом странно. Не можем же мы выплачивать ей пенсию, как платили вам. А нельзя ли ей обещать, что мы потом ей выдадим. То есть я хочу сказать, что она может, если хочет, сжечь... вы меня простите... ну, там, что останется.

Честный человек сумрачно отвечал:

— Какое! Я ей предлагал, она говорит: «Знаю, они мне отдадут всякую дрянь, а главное оставят себе». То есть это она про сердце.

— Действительно,— застенчиво бормотал профессор,— сердце мы действительно хотели бы сохранить в банке. Уж не знаю, как и быть.

— Господин профессор, все-таки право на нашей стороне, хотя адвокат ей сказал, что, по использованию, вам придется меня ей вернуть. Вот я и думаю, нельзя ли поступить так: вы ей ненужное отдайте, а вместо сердца, скажем, вы сунете ей эту, которая... как ее...ну, например, печенку? Она не разберет, уверяю вас. Она и на базаре плохо разбирает. Я бы никогда не предлагал такого обмана, но для науки я готов на все. Или, в крайнем случае, почки, хотя почки она иногда готовит.

Они сидели грустные и обсуждали. В те дни профессор искренне полюбил и оценил этого человека, достойного, справедливого, но убитого неудачной женитьбой.

В осенний день плакали крыши. По просьбе больного доктор обещал предупредить профессора; он предупредил его накануне.

Бывший замечательный человек лежал на столе без шляпы, пиджака и остальных принадлежностей живого человека и оказывал посильную помощь науке.

— Этот феноменальный случай показывает, — громко говорил профессор, — что, несмотря на обратное положение сердца и обоих легких, функции соответствующих органов совершаются, в общем, вполне нормально. Данный субъект прожил шестьдесят лет, средний нормальный возраст человека, и даже женился за три года до смерти.

В вестибюле женщина, сдерживаемая швейцаром, визжала:

— Либо пусть мне сейчас дадут тысячу, либо я соберу всю улицу и такой сделаю скандал, что они своих не узнают.

— Вам, сударыня, сказано, что труп тут по полному праву, а потом вам выдадут для погребения. А скандалить тут нельзя, а то и полицию позовем.

— Я знаю, что мне выдадут! Мне главного не выдадут, а я — жена, и я тоже в полном праве, мне сказал адвокат. И чтобы мне главное выдали целиком или полностью заплатили все убытки, и без этого я не уйду.

— ...субъект вел правильный образ жизни, не употреблял спиртных напитков, и некоторое перерождение сердечных мышц мы относим...

И профессор, подковырнув резиновым пальцем сизо-красный комочек, задержал на нем внимание аудитории.

КАБИНЕТ ДОКТОРА ЩЕПКИНА

После того как пять врачей, один другого знаменитее, и в том числе два иностранца, с редким единодушием признали, что спасти Бородулина может только строжайший режим питания (ни того, ни этого ни в коем случае — и прочее), при полнейшем покое, постоянном врачебном наблюдении, никаких занятий, никаких волнений, ни одной папиросы, ни одной рюмки, дважды в день то, дважды в неделю это, и малейшее нарушение этих предписаний может кончиться катастрофой, после этого жизнь нестарого человека, богатого и очень деятельного коммерсанта, утратила всякий смысл. Некоторое время он подчинялся, сидел, лежал, глотал, бездействовал, сосал

мундштук с ароматической ватой, жевал безвкусный рис и куриную котлетку и подписывал счета и векселя, не вникая в дело, но почувствовал, что, если так просуществовать не только год, а хотя бы два месяца, то тошнота и боли, может быть, пройдут, но сумасшествие грозит ему наверное. Строгого и дорогого врача, навещавшего его через день, он возненавидел всей душой, отвечал ему грубо и трясся от злости при его вопросах и замечаниях, самых обычных. Сверх того, он почувствовал, что от постоянного голодания и безвкусной дряни, которою его пичкали, он стал слабеть и впадать в сонливость, чего раньше не было никогда. И когда доктор потребовал, чтобы он дважды в неделю, по средам и пятницам, проводил весь день в постеле и пригласил сестру милосердия для правильного ухода, Бородулин, сидевший в кресле своей собственной фабрики в халате и туфлях, налился кровью и прошипел:

— Убирайтесь к черту!

Конечно, это было истолковано болезненным состоянием, врач не позволил себе обидеться и, не повышая голоса, сказал:

— Сдерживайтесь и старайтесь не волноваться. Чтобы вам в этом помочь, я удалюсь, а вы потрудитесь серьезно подумать о своем состоянии и передо мной извиниться. Можете и по телефону.

Не подав больному руки, лишь снисходительно кивнув ему головой, доктор действительно удалился, надел в передней пальто, тихо и спокойно сошел с лестницы и на пути к другим больным размышлял о том, какое важное значение во врачебной профессии имеет выдержка, особенно когда больной — человек некультурный, чтобы не сказать хам.

Вернувшись домой довольно поздно, он нашел письмо, со вложением бесспорного и вполне приличного чека и корявой благодарностью за услуги, в которых надобности в дальнейшем не предвидится. Рядом с подписью была чернильная клякса от слишком энергичного действия пресс-бюваром.

На другой день, проснувшись бодрым и посвежевшим, фабрикант мебели Бородулин проделал весь курс неблагоприятия: хорошо позавтракал, выкурил

папиросу, поехал в свою контору, распорядился текущими делами, пошел домой пешком и на середине пути почувствовал припадок сильной боли и тошноту. Это произошло в Кривоколенном переулке, сокращавшем дорогу к его собственному дому с Маросейки на Чистые пруды. Приостановившись у невзрачного крыльца, он подумал, что вряд ли случится тут проезжий порожний извозчик. На двери была медная, давно не чищенная дощечка с надписью: «Доктор Щепкин, прием 4—7». Первое, что подумал Бородулин, могло быть выражено словами: «Черт бы вас всех...» Затем он взглянул на часы, сердито сунул их в карман и позвонил. Ему отворила женщина в платке, пропустила его в переднюю и указала рукой на дверь приемной, где уже сидело человек пять. Бородулин вошел недоверчиво и с некоторым отвращением, но поспешил сесть, так как боль была несносной. Тотчас же из дверей докторского кабинета вышел старичок и вслед за ним высунулась косматая голова в очках: кто? Бородулин привстал было, но его опередила дама, а доктор в белом халате кивнул ему головой и сказал:

— Обождите, да снимите пальто, ни к чему париться! Газетку почитайте.

Неизвестно почему Бородулин заспешил, снял пальто, сам отнес его в переднюю, повесил и, вернувшись, почувствовал себя гораздо лучше. Главное — прошла его злость, а с нею и тошнота и боль. Молчаливые лица пациентов показались ему знакомыми и симпатичными: румяная дама с бледной, худенькой девочкой и здоровенный человек с испуганным лицом, не сводивший глаз с двери докторского кабинета. Этот ждал минут десять, за ним были приняты мать с дочерью, которых доктор долго продержал, проводил с большой ласковостью и затем поманил пальцем Бородулина:

— Ну, что в газете вычитали? Пожалуйте!

Небольшой письменный стол был стар и обшарпан, кресло с сомнительными пружинами и износившейся кожей, шкаф — довольно солиден, еще два столика с приборами и койка, крытая чистой простыней. Обстановка вообще более чем скромная, а с точки зрения фабриканта модной мебели — позорная. Доктор Щепкин смотрел сквозь очки и слушал рассказ больного о консультациях, исследованиях,

предписаниях, о боли, слабости, режиме и всем прочем, чем мог похвалиться и на что пожаловаться пациент. Слушал с интересом и вниманием, но раза два прикрыл рукой зевоту, потому что был плохо выпавшись. Услыхав имена знаменитостей, лечивших Бородулина, спросил:

— А ко мне как попали?

— Я хожу домой мимо, Кривоколенным.

— Ну ладно, разденьтесь, помню вам живот.

Мял долго, но с осторожностью, потом еще спрашивал, что-то записывал в свою книгу, и, пока пациент застегивался, доктор чесал себе карандашиком затылок. На вопрос пациента, что с ним, ответил, что:

— Откуда же мне знать, батюшка, я ведь не медицинская светила! Посмотрим, полечимся, вот капельки принимаєте, если больно будет, а не будет больно — зря не глотайте. Не поправитесь через недельку — опять загляните. Есть попробуйте все, только не очень жирное, и не передайте. Вина не советую. Уж лучше водку, от нее вреда мало.

— Курить можно ли?

— Да ведь при чем тут табак, когда кишочки у вас слабы? Дымите!

— А лежать?

— Если неможется — лягте, а зря не нужно. Делайте, как нравитя.

— А как же мне говорили...

— Кто говорил, те знали, а я вашей болезни толком еще не знаю. Особенного, по-моему, ничего нет, у кого брюхо не болит. Но бывает, что и помрет человек; значит, что-нибудь было неладно. Да вы не бойтесь!

Бородулин, которому доктор Щепкин очень понравился, попросил было его навещать первое время, но доктор решительно отказался:

— Что ж навещать вас, время тратить? Если будет плохо, вызовите меня, а то сами зайдите. Пока капельки принимайте, может, и пройдет.

Уходя, Бородулин неуклюже жал вялую докторскую руку и высвобождал из пальцев кредитку. Доктор сказал просто:

— А вы бы на тарелочку, без стеснения! — и, взглянув, прибавил: — Вон вы какой туз, видно, богаты! Ну, до свиданья, много водки все-таки не пейте, пожалейте кишочки!

Больше больных сегодня не было. Сев за стол, доктор огляделся с довольным видом, потому что больше всего он любил сидеть в одиночестве, в привычной обстановке, за удобным столом перед знакомой чернильницей. Вот только проветрить комнаты, может быть, вздремнуть полчаса и потом усесться плотнее с интересной книжкой, взятой из библиотеки, со спокойным романом или смешными рассказами, где люди хоть и ненастоящие, зато без болячек, припухших миндалин, хронических насморков и ущемленных грыж. Доктор любил и свою настольную лампу, и разрезательный нож, и молчаливого собеседника — кресло с сомнительными пружинами, и шкаф, под ножку которого была подложена для равновесия дощечка. И койку, с которой нужно снять простыню. И картину в рамке: Лев Толстой на пашне.

Бородулин пришел вторично через две недели, к началу приема, первым. В кабинет вошел веселым и влюбленным, радостно поведаль:

— Капли ваши принимал только три раза, больше и не понадобились. Либо капли чудотворные, либо сам вы, доктор, кудесник, а только стал я здоровехонек, как рукой сняло. Вот и пришел сказать.

Доктор Щепкин довольно ухмыльнулся:

— Вот и ладно. Капли эти не лечат, только боль унимают. Ничего у вас такого и не было, очевидно; что было — само и прошло. Однако не хвастайте и не шикуйте, будьте вперед осторожны, кишочки у вас все-таки не так чтобы очень...

Еще через две-три недели фабрикант Бородулин явился в обычное время, извинился и настойчиво заявил, что придется доктору назначить день, когда ему удобнее и свободнее, и в этот день прикатит к нему благодарный пациент, которого он, можно сказать, спас от болезни и от грабителей и мучителей и который хочет ему за все это благодеяние поднести одну-две безделушки своего производства, а вот пока... и положил на тарелочку конверт, смятый вложением и лежанием в кармане. Доктор Щепкин смутился и сказал, что это уж, пожалуй, и напрасно из-за такого пустяка. А день — какой день? Ну, скажем, послезавтра, во вторник, часу во втором:

— Все это вы напрасно. На водку все же очень-то не налегайте. Не пьете? Ну, не пейте — ваше дело! Жирного поменьше.

Во вторник подъехал к дому в Кривоколенном грузовик, мебельная фура фирмы Бородулина, а за фурой и он сам на хорошей машине. В квартире бывший пациент распоряжался за хозяина, а доктор бродил беспомощно, ворча и вздыхая. Всю мебель из его кабинета вынесли на чердак, всю до последней скамеечки, оставив только его приборы. Внесли письменный стол, большой, красного дерева, два превосходных кожаных кресла, шкаф под стиль прочего, шкафчик поменьше, столики с досками, крытыми стеклом, и даже койку надлежащей меры, все прекрасное и дорогое, отчего помутнел потолок, стены и вся комната смутилась, как девушка, наряженная под шикарную даму. То же было и в докторской приемной, так что он нахмурился и не стал смотреть, и ахала за него старая женщина в платке, его прислуга. Был шум, стук, шарканье ног, скрип чердачной лестницы, перебранка рабочих, командный голос Бородулина, бодрого, здорового и довольного за себя, и за доктора, и за его прислугу, которая не поверила глазам, когда фабрикант сунул ей в руку бумажку. Когда же все смолкло, моторы загудели и отдалились, в квартире наступила тишина, жуть и неуютность, старуха взялась за метлу и тряпку, доктор сел за новый стол, сунул, не разбирая, в незнакомые ящики знакомые бумаги, и был так грустен и так расстроен, что сам принял какие-то капли с запахом эфира.

В обычный час явились пациенты, и сегодня были они не по-обычному осторожны, отвечали односложно, клали на тарелочку больше, чем доктор привык, может быть, потому, что и он был неприветлив, мрачноват и даже придирчив. В шикарной обстановке нового кабинета он казался себе шарлатаном, фанфароном, выскочкой и замухрышкой. Прописывал преимущественно касторку, на одного больного даже накричал. Все они ему ужасно надоели.

Когда же комнаты были, по обыкновению, проветрены и наступил час докторского отдыха,— ничего из отдыха не получилось. Мебель блестела, на столе сто-

ял бронзовый прибор с ненужными вещами, подсвечниками и увесистым прессом, кресла пахли кожей, не на что было положить локти, и даже лампа была новая, а старая уехала на чердак. Главное — в застольном кресле, в сиденье, не было годами промятой ямки, а спинка ходила.

Посидев с полчаса и ничего не поняв в романе, вчера с удовольствием начатом, доктор Щепкин встал, вышел в спальню, попробовал почитать лежа в постеле, к чему не привык и чего не любил, затем, мрачно побродив по всем трем своим комнатам, тихонько, стараясь не скрипеть ступенями, пробрался на чердак, захватив свечу. Там он возился долго, двигал, переставлял, устраивал, даже стучал молоточком, и не раньше, как час спустя, сошел вниз за оставленной в кабинете книгой. Он был особенно удовлетворен тем, что на чердаке оказалась керосиновая лампа, а лавочка, в которую он послал прислугу, была недалеко, на углу. Потом он сам заправил лампу, давшую уютный огонек на старом письменном столе, перед которым было поставлено кресло с удобной выемкой в сиденье и привычной спинкой. Старый шкаф стоял справа, хотя несколько ближе, так как места на чердаке было мало. Но его хватило для другого кресла — с сомнительными пружинами, а чернильница так и была принесена вместе со столом, в котором остались и некоторые бумажки.

Роман был обширный, со множеством действующих лиц, но эти лица быстро между собой перезнакомились и улыбались доктору с полным сочувствием. Герой был порядочной тряпкой, и героиня им вертела, как старым разрезательным ножом. Кое-кто из лиц второстепенных уселся на койку, лишённую покрышки, но еще крепкую. Чердак был тёплым, хотя немного пахло пылью и кошкой. Внизу, у лестницы, стояла старая женщина в платке и прислушивалась. Все было тихо, доктор иногда откашливался и перелистывал страницу.

СУДЬБА

Леонид Викторович... если дальше назвать и фамилию, то это будет значить — выдать человека с головой, потому что он, не будучи большой известностью, все же имел в Москве толпу поклонниц и его лекторских талантов, и его утонченнейших эстетических взглядов. Между тем рассказ идет о странной шутке человеческой судьбы, которая любит выставлять в смешном виде даровитых людей. Леонид Викторович и так уж был сотворен не вполне удачно: был роста ниже среднего и вынужден держать голову высоко, что, при некоторой его сутуловатости, делало его с мужской точки зрения забавным. Но женщинам в интересном человеке нравятся даже и внешние недостатки, а к тому же у него были серые задумчивые детские глаза и размеренно-убедительный голос. Леонид Викторович писал и читал о литературе и искусстве эпохи Возрождения, но делал также экскурсы и в область литературы современной, преимущественно западной. Его художественные оценки были точны, ясны и неопровержимы; они вполне соответствовали взглядам и эстетическим требованиям художественной элиты того времени, издававшей журналы на отличной бумаге и не допускавшей сомнений в своей непогрешимости. Выработался определенный стиль статей, веско авторитетный, несколько перегруженный «измами» и именами собственными в их правильном чтении и начертании, полупрезрительный в отношении всяких доморощенных суждений — язык посвященных, недоступный массе, на котором элита выражалась с завидной легкостью и свободой. Именно в то время вышли из моды волнующие споры, широкополые шляпы, галстуки «фантази», перцовка, прокуренные трубки, все, что пахло богемой. Леонид Викторович носил стоячий воротничок, темно-серый костюм, котелок и перчатки на обеих руках, не позволяя себе снимать правую при уличных рукопожатиях. Не имея возможности — по бедности — обставить стильно и строго-изящно свою единственную холостяцкую комнату, он не допускал все же фотографий на стенах, имел небольшую подобранную библиотеку, свидетельствующую о цельности вкусов и духовных запросов, прижимал листы своих рукописей на столе осколком античного мрамора.

ра со следами шлифовки, вывезенным из Италии (там их тысячи изготовляют и разбрасывают на Форуме, чтобы туристы не ломали и не крали настоящих), и держал на видном месте переплетенный в кожу томик Апулея «Золотого осла», причем Апулея он называл, конечно, «колдуном из Мадавры». Но это уже маленькие слабости, простительные человеку, у которого нет средств обставить себя подобающе.

Ему было тридцать пять лет — возраст, когда волосы еще не теряют блеска, но уже начинают редеть. Он был холост — не случайно, а принципиально. И действительно, можно ли совместить с чистым искусством семейные заботы, законную любовь, салфеточки и детский слюнявчик? Всегда чистоплотный, занятый мыслями возвышенными, он чуждался и легких отношений с женщинами, падая редко и лишь в обстановке незаурядной, хотя бы несколько напоминавшей классические образцы. Собственно, по натуре он был довольно робок, скрывая это унижающее мужчину качество под маской холодности и вежливого пренебрежения. Опытных женщин это, конечно, не обманывало, но молоденькие слушательницы его лекций чувствовали свою перед ним малость и были убеждены, что только совершенно необыкновенная женщина, равная ему по уму и таланту, могла бы надолго занять его внимание и завоевать расположение; и эта женщина была бы счастливейшей! Она должна быть высокого роста, царственной осанки и знать наизусть без запинки имена художников и писателей эпохи Возрождения и названия всех их произведений в красках и слове, — да и то неизвестно, не собьет ли он ее на чем-нибудь и не скажет ли, постукивая пальцами правой руки по сжатому кулаку левой (его обычная манера) и поднимая к потолку ресницы серых глаз: «Да-да, но дело в то-ом, что...» — одновременно и вежливо и уничтожающе.

Мы с Леонидом Викторовичем были соседями и старыми знакомыми, но, конечно, не друзьями. Друг — это такой человек, которого можно похлопать по плечу (если он еще не отрастил живота) и сказать ему: «Ну что, брат божья коровка, все обучаешь девушек эстетике?» Говорить таким тоном с Леонидом Викторовичем было невозможно; он просто улыбнулся бы мило и кривовато и отошел, потому что

фамильярность была ему невыносима. И хотя наши отношения всегда были очень хороши, но он, конечно, меня немного презирал как человека, занятого делами общественными и писавшего статьи на политические темы. Притом я однажды за одну беседу спутал братьев Луку и Андреа делла Роббиа, не знал, кто такой Джованни дель Черведьера да Ровеццано, и назвал выцветшую Джоконду желторылой кормилицей, а ее улыбку отвратительной. Последнее сорвалось у меня с языка в припадке раздражения: может ли быть что-нибудь невыносимее людей, носящих в кармане складной аршин и лакмусовую бумажку и оценивающих все меркой и реактивом, утвержденными пробирной палаткой сегодняшних законопологателей искусства! Эти люди считают за личное оскорбление, если сказать им: «У Данте желудок варил хуже, чем у Боборыкина»; порода педантов, боящихся оскандальить себя самостоятельностью оценок, секта аристократов со всеми качествами связанной мещанской мысли, благополучно дожившая и до сегодняшнего дня, — внуки и праправнуки княгини Марьи Алексеевны.

Впрочем, Леонид Викторович был милее других и вообще человек не глупый. Может быть, он и снобом был по некоторой робости: славил орхидею, боясь быть заподозренным в пристрастии к герани. Вот на таких-то людей судьба и любит обрушиваться неожиданными, подминая их под себя и растрепывая их прилизанные волосы. И — черт возьми — справедливо! Говорю без злобы, а скорее с некоторым состраданием, потому что по-человечеству и ученого пустобреха все-таки жалко; а житейские уроки идут ему на пользу.

Ради подсобного заработка Леонид Викторович выезжал иногда лектором в провинцию и даже это любил. Уж если в Москве он производил впечатление, то в какой-нибудь незамысловатый город приезжал прямо героем и знаменитостью; там его заласкивали, кормили жареной курицей и поили слабой черносмординовой настойкой, до которой художественные снобы столь же охочи, как и рыхлые купчихи: пригубливают, и на каждую пузатую рюмочку по два-три умных изречения. Возвращался он всегда довольным, подробностей не рассказывал, но не мог сдержать улыбки приятных воспоминаний. И вот как-то я ему говорю:

— Ох, опасаясь я этих ваших путешествий! В про-

винции — это как в запущенном барском саду: наткнешься иногда на одичалый цветочек очаровательного аромата... И оглянуться не успеешь.

Он, будучи благодушно настроенным, на этот раз не обиделся, только сказал:

— Как вы знаете, я не поклонник мещанства.

— Так-то так, а вот помяните мое слово: поймает вас какая-нибудь Анна Петровна!

Презрительно пожал плечами.

И случилось, что однажды вернулся он из своего провинциального похода несколько смущенным и растрепанным. Ничего не рассказывает, но я вижу, что человеку не по себе. Что-то такое случилось, что не подходит под стиль «колдуна из Мадавры» и бальзаковской «Шагреновой кожи», о которой на прошлой неделе он говорил так вдохновенно. И головка ниже, и детские глазки как-то беспокойны, а главное — нет этой привычной уверенности в себе и в эпохе Возрождения. Неделькой позже опять уехал, хотя ни о каком новом приглашении я от него не слышал. Вообще — маленькая таинственность и непредусмотренные бюджетом расходы; по соседству признался у меня немножко денег, хотя случалось это и раньше. Затем как будто все направилось, опять взялся за свои статейки и московские лекции по западной литературе. А месяца через полтора сорвался с места и опять уехал, забросив мне записочку — кого-то там известить о важном деле, препятствующем ему выступить такого-то числа. Дней пять пробыл в отсутствии и, когда опять вернулся, я понял, что бедный мой Леонид Викторович влопался в скверную историю. Понял я нюхом, прежде чем узнал от него. Узнал же я от него первым — попал в исповедники.

Это естественно. Правда, я братьев делла Роббиа спутал и Мону Лизу обидел зря. Но когда приходится плакать в жилетку, то такие люди, в вопросах искусства заблуждающиеся, — в делах житейских оказываются часто более опытными и подходящими. Я не хочу сказать, что Леонид Викторович так-таки сразу разнюнился и омочил мою грудь слезами раскаяния. Нет, он вел себя вполне благопристойно, благородного облика не утратил, только ему совершенно необходимо было поговорить с практическим человеком, к нему расположенным и неболтливым. Поэтому он как-то

больше прежнего стал искать моего общества, зашел утром, зашел вечером, намекнул, что «Тайная вечеря» Леонардо в Милане, действительно, осыпалась, что это с фресками случается, и они теряют первоначальную прелесть, и что с ним лично произошла одна неожиданность. Я на это ответил, что от неожиданностей никто из нас не застрахован и вопрос лишь в том, можно ли ее избежать или, по обстоятельствам дела, приходится на ней жениться? Он был доволен, что я его выручил,— легче разговаривать,— но был один пункт, который, очевидно, приводил его в величайшее смущение и который нужно было непременно изобразить как ужасно смешную и нелепую случайность.

— Дело в том,— сказал он, похлопывая пальцами по кулаку и нарочно чеканя слова,— дело в том, что вы оказались пророком в одной несущественной мелочи. Действительно, курьезно! Ее, эту... как вы сказали, неожиданность, зовут случайно Анной Петровной.

Мне бы радоваться,— а у меня сердце захватило! Вижу, как ему трудно было это сказать, труднее всего прочего. И уж если Анна Петровна, так, значит, именно такая, как я и думал: пышечка с салфеточками! Конечно, я поспешил выразить полное сочувствие и одобрение, потому что нельзя же правда в тридцать пять лет жить бобылем и прочее. И даже для занятий лучше, мысли освободятся от мешающих голове пустяков. И если, например, союз увенчается семейной радостью... Он незстетически почесал редевшие волосы затылочной части и, растягивая слова, неохотно признался, что, собственно, эта перспектива и является причиной некоторой ускоренности действий,— точно я сам об этом не догадался с первых же его слов. «Приходится делать уступку патриархальности семьи...» — «Приходится, милый, приходится!» — «Вообще она очень интересуется искусством, то есть я говорю про Анну Петровну!..» — «Ну, конечно! Вот теперь и будете вместе заниматься эпохой Возрождения!»

Одним словом, я им помог как умел. Вместо одной комнаты сняли две, тут же, в соседней со мной квартире. Но Леонид Викторович, когда она приехала, стал со мною сух, даже не позвал зайти познакомиться. Так месяца два я не видал, какая такая Анна Петровна,

мною предсказанная. И только когда случился у них сильный экономический кризис, он опять обратился ко мне и, очевидно, в благодарность, просил навестить.

Она была с веснушками, ростом еще ниже его, приятной полноты, умеренный носик и белобрысенький пучок волос на затылке. Не столько Мона Лиза, сколько мамочка. Разговаривала без стеснения и совсем хорошо и только вместо «здесь» говорила «здесья». Зато он теперь упорно молчал и явно беспокоился, не замечу ли я кружевную занавеску на окне и фотографию в разных рамочках по стенам: очевидно, — папа с мамой, брат в форме вольноопределяющегося, гимназическая группа, сама Анюточка в белом платье и — о несчастье! — она же с Леонидом Викторовичем в позе голубей, головки склонены друг к дружке, причем она вышла жгучей брюнеткой (а не рыженькой), а он поручиком в отставке. Но хуже всего, что в его комнате кровать была накрыта ватным одеялом, сшитым из разноцветных ромбиков: истинное произведение искусства! Ромбик бархатный, ромбик атласный, ромбик красный, белый, зеленый, ромбик с веселым рисуночком. Приятное чередование. А на комодке кастрюлечка с молоком, чтобы комода не портить, поставлена на книжку «колдуна из Мадавры».

Когда уходил, она очень приветливо просила меня «забегать», а то Ленечка иногда скучает, он же был мрачнее тучи. И если раньше он меня немножко презирал за Джованни дель Черведьера да Ровеццано, то теперь явно ненавидел всей душой. Отчасти, впрочем, я и сам виноват. Не зная, как поддерживать интересный разговор, я без всякой задней мысли спросил: «Ну, как же подвигается ваша совместная работа?» Она сначала не поняла, а потом с деланным смущением ответила: «Так ведь это еще не скоро!» — и невинно оглядела свой круглеющий профиль...

ИГРА СЛУЧАЯ

Так как сама идея рассказа бесконечно важнее его сюжета, то не стоит придумывать имена действующих лиц, мужчины и женщины, и даже не стоит точно излагать развитие их отношений. Предположим

просто, что произошло какое-то ужасное, нелепое недоразумение между людьми, связанными если не огромной, вполне сознанный любовью, то чувством естественного тяготения. Может быть, это муж и жена, уже отведавшие настоящего и редкого счастья, которое обусловлено полным друг к другу доверием, успевшей укрепиться прекрасной дружбой, и не представлявшие себе, что крепчайшие узы их любви могут в какой-то миг оказаться готовой порваться паутиной. Или, например, была только случайная встреча двух молодых людей, только намек на возможность рождения прочного чувства, которое свяжет их жизни; каждый из них думает, что только в нем случайная искра разгорелась в мучительный и сладкий пламень, а что другой прошел мимо, не обжегшись, и давно забыл о встрече и о не совсем обычном обмене взглядами и словами. Равным светом горят два огонька, один не видя другого; время не хочет их потушить, новый случай не приходит на помощь, а какая-то робость, или гордость, или боязнь ошибки и обиды не позволяют им поступить так, как было бы хорошо, если бы мы всегда поступали: пожертвовать, хотя бы на время, своим самолюбием, сделать первый шаг — и пусть либо «да», либо «нет» положит конец этому ужасному состоянию. По условиям их жизни, такой шаг мог быть слишком осложнен какими-нибудь особыми обстоятельствами, которых можно предположить множество. Например, она могла раньше, без достаточно серьезного чувства, дать надежду другому; теперь она смутно чувствует, что это будет роковой ошибкой, что по-настоящему она могла бы отдать свое сердце и вверить свое будущее только тому, случайно встреченному, с которым так мало сказано и так много недоговорено. Что касается до него, то его положение еще сложнее; он тоже понимает, вернее, ощущает, что их встреча отмечена какой-то необычностью, что нельзя было ею ограничиться, что лично для него след этой встречи из случайной царапины обратился в глубокую рану, которая не хочет и не может зажить. Но он знает, что ее жизнь уже наметилась, даже определилась, и в этой жизни ему места не отведено. Ему тоже показалось в тот раз, что продолжись или повторись их случайное свиданье, — могла бы между ними ро-

диться какая-то невольная близость, намек на которую все-таки был; но, может быть, это лишь его воображение, взволнованное огромным впечатлением и двумя-тремя незначащими словами?

Таков приблизительно сюжет рассказа в его части, еще не связанной ни с мальчиком, ни с торопившимся на службу господином в сером зимнем пальто. И мы начинаем рассказ в тот момент, когда девушка, за несколько дней до своей напрасной, по-видимому, свадьбы, не может побороть в себе сердечной тоски и странного ожидания, что вот что-то случится — и все это изменится. Но дни идут, и «это» не случается. Значит, так и нужно. Если бы мелькнула тень или раздался голос, хотя бы шепот, только одно словечко, один вопрос или одно «подожди», — но ведь это все равно невозможно, и ничего, ничего не будет. Ну, значит, так и нужно.

Вернемся к нему. Его чувство или сильнее, или гораздо больше определилось. Во всяком случае, оно более требовательно как чувство мужское. У нее есть как бы тень выбора — у него выбора нет. Он способен сделать шаг, но для него этот шаг будет роковым. Это, может быть, и не значит, что за неудачей последует непременно выстрел, но что-то подобное должно случиться. Если вы уже немолоды, то припомните, что были молоды некогда, и тогда ваши жизненные ощущения были совсем иными, — и чувство любви, и боязнь оскорбления; смешное или пустяшное сейчас — тогда казалось и было трагическим! Притом в нашем рассказе многое недорисовано: нет лиц, неясны темпераменты. Во всяком случае, те, кто ощущали холодок от револьверного дула на виске, где дрожит синяя жилка, кто играли в эту опасную игру, когда жалость к себе борется с сознанием невозможности поступить иначе, — те поймут, что рассудительность иногда приходит слишком поздно и что иногда сила любви оправдывает безумие. А кто этого не понимает — его счастье, которому мы, впрочем, не завидуем.

Текст письма нетрудно себе представить. Письмо очень хорошее, очень простое и честное, без лишних и глупых слов. Он просто написал, что любит ее и не может этого не высказать, даже если это напрасно или слишком поздно. Не чувствует в себе силы скрыть и не уверен, что скрывать нужно. Никакими надеждами

себя не обманывает, а просто, как утопающий, хватается за соломинку; эта соломинка — несколько слов, сказанных при единственной их встрече, ни к чему не обязывающих, но ведь все-таки сказанных. И вот решился написать. Но ответа ему не нужно; то есть ответ был бы нужен только в том случае, если бы... ну, если бы невозможное было возможным. Но уж тогда был бы нужен ответ ясный и окончательный, потому что иначе... Но, впрочем, и маленькое слово надежды дало бы ему силу жить дальше. Он просит ее не сердиться за это письмо и, если ей так удобнее, считать его ненаписанным.

Потом он немного дрожащей рукой написал ее имя на белом конверте, ее адрес и вышел опустить письмо в почтовый ящик.

Когда он его опускал, он пережил чувство, знакомое многим: чувство безвозвратности. На тротуаре рядом с ящиком резвился мальчик, которому в этот день подарили тротинетку. Мальчик был счастлив, у мальчика вся жизнь была впереди. Почтовый ящик был бесстрастен. Господин, письмо опустивший, стоял над пропастью.

За какой-нибудь один час мальчик превосходно научился кататься на тротинетке и управлять ею. Разбежавшись, он ловко обогнал чиновника, спешившего после завтрака на службу, но совсем не рассчитал, что почтальон, выгребавший из ящика письма, загородит ему дорогу. Впрочем, и из этого приключения мальчик вышел с честью, едва задев почтальона, которому некогда было браниться, так как он должен был работать по часам и как часы. Единственным результатом столкновения было то, что почтальон выронил одно письмо и, не заметив этого, сел на велосипед и уехал к следующему ящику. Более внимательным оказался подошедший в это время чиновник, который видел эту маленькую сцену. Наклонившись, чтобы поднять письмо и опустить его обратно в ящик, чиновник вовремя заметил, что автобус, в который он должен был сесть, подходит к бывшей в нескольких шагах остановке. Правильно рассчитав, что письмо можно бросить в любой ящик, а опаздывать из-за чужого письма нет смысла, чиновник побежал к остановке, на ходу сунув

синеватый конверт в боковой карман. Такое благо-разумие сэкономило ему несколько минут, хотя от быстрого бега в тяжелом зимнем пальто чиновник запыхался; была уже весна, и как раз в этот день солнце напомнило чиновнику о том, что из следующей полочки жалованья ему не придется тратиться на отопление.

Совершенно неправильно думать, что чиновники не способны чувствовать тепло и прелесть весны, как чувствуют влюбленные или мальчики, которым подарили тротинетку. В этот день чиновник работал со всем прилежанием пожилого, привыкшего к своему учреждению человека, а возвращаясь домой, сообразил, что день прибавляется и что в седьмом часу уже совсем светло. Дома они с женой говорили за обедом, что приблизительно во второй половине июля он возьмет отпуск, и тогда они поедут недели на три в деревню к ее родственникам, что и приятно и обойдется очень дешево.

Для мужчины перемена сезона — только удовольствие, для женщины — немалые хлопоты. С вечера были вынуты из плакара летние костюмы и пальто и вывешены на балконе, чтобы выветрить запах нафталина. Это было вполне предусмотрительно, так как за ночь еще потеплело, и мужу уже немислимо было идти на службу в сером зимнем пальто. Из экономии жена чиновника не выбросила нафталиновых шариков, сильно уменьшившихся в объеме за зиму, а подбавила их к новым, которыми она пересыпала всю зимнюю одежду, прежде чем уложить ее в длинные бумажные мешки и запереть в плакаре. По правде сказать, было бы правильнее сначала отдать хотя бы часть зимней одежды в чистку, но жена чиновника была расчетлива и старалась оттягивать всякие расходы: все это можно будет сделать и осенью; притом ее сильно заботила необходимость купить новую шляпу, хотя бы самую скромную. Они были бездетны и старательно подкапливали деньги на покупку в рас-срочку участка земли и постройку домика, который пригодится им на старость.

У людей благоразумных все выходит как по писаному. Весна быстро превратилась в лето, весьма томительное в большом городе, но не замедлил подойти месяц июль, а с ним и отпуск чиновника. В счастливый

летний день не одна добродетельная пара с чемоданчиками, свертками и кулечками осадила вагон. В еще более счастливый день чиновник и его жена проснулись в деревне, где не только был совсем иной воздух, но не нужно было бежать одному на службу, другой — по съестным лавочкам и на рынок; где цвели настоящие цветы и мычали подлинные коровы. И их давняя мечта иметь свой участок и свой домик еще более в них укрепилась.

Но мы уже знаем, как непрочно человеческое счастье и от каких случайностей оно может зависеть. В данном случае его пресекли не случайности, а вполне законное наступление августа и затем последнего дня отпуска чиновника. Все же они вернулись в город окрепшими и посвежевшими, и первый день отправления на службу имел для чиновника даже какую-то своеобразную прелесть: встреча с сослуживцами, ответы на расспросы, обмен впечатлениями с уже побывавшими в отпуске. Затем скоро все вошло в норму, жизнь покати-лась на привычных колесиках, лето кончилось, стало холодеть, и в один из особенно серых осенних дней жена чиновника опять открыла плакар, чтобы извлечь и отдать в чистку зимнее пальто мужа и другие одежды.

Это было воскресенье, день нерабочий. Вынув пальто мужа и извлекая из карманов шарики нафталина, она нашла какое-то письмо, запечатанное, с непогашенной маркой. Оба они с недоумением его рассматривали, пока сильным напряжением памяти чиновник не установил, что это письмо он подобрал однажды около почтового ящика и случайно забыл опустить. По правде сказать, он смутился и даже несколько обеспокоился, что так поступил с чужим письмом. Что же теперь делать? Прошло больше пяти месяцев, есть ли смысл досылать его теперь? Но может быть, письмо было очень важным и срочным? Посоветовавшись с женой, он решил вскрыть письмо над паром и прочитать, чтобы не сделать какой-нибудь непоправимой ошибки. Маленькое нарушение чужой тайны, но не из любопытства, а в интересах неведомых отправителя и получателя. Прочитав письмо сначала про себя, он вздохнул с облегчением и совершенно спокойно сорвал с конверта марку:

— Посылать нет смысла, а марка пригодится!

Затем он прочитал вслух коротенькое письмо:

— «Милый друг, вчера я забыл у вас зонтик. Если нетрудно — захватите его с собой и занесите мне по дороге, когда пойдете в контору. А то погода непрочная. А по делу, о котором мы говорили, я постараюсь навести справку. Заранее вам благодарен, и будьте здоровы!».

Хотя внимательный читатель и сам мог заметить, что оброненное почтовым служащим письмо было в синеватом, а не в белом конверте, но игра случая могла обернуться и привести к последствиям весьма печальным. В нашем рассказе, сюжет которого до конца так и остается неразвитым, трагедия, вероятно, избегнута, недоразумение разъяснилось, люди нашли друг друга,— но было ли это к их счастью или привело к непоправимой ошибке — тема совсем особая и с основной идеей рассказа не имеет тесной связи.

МЕЧТАТЕЛЬ

В первом часу по улице нашего местечка кучками и одиночками проходят домой ученые; клеенчатые сумки с книгами они несут не под мышкой, а всегда как-нибудь по-особенному: на плечах, за плечами, а то тянут за собой на ремешке, и книжки покорно следуют по мостовой. Ученые домой не спешат — на улице интереснее.

Медлительнее всех Жак, но не по характеру, а в силу необычайной сложности его переживаний. Он ходит один, остальные успевают его обогнать. Его путь четырьмя зелеными улочками до парижского шоссе, а там пятый или шестой дом с угла; на это ему едва хватает получаса, включая, конечно, необходимые остановки.

Жаку девять лет, он худ, остроглаз и мечтателен. На нем черное платье с перехватом в талии, подол которого прикрывает штанишки, так что мужское достоинство Жака узнается только по мальчишеской угловатости его движений. Он не говорит встречным «мосьедам», как учат в школе,— но не по невежливости, а по недосугу; впрочем, он никого и не замечает, всецело погруженный в думы, соображения и разговор с собой.

Вдруг, например, он останавливается и принимает сложнейшую позу: одна нога оттянута назад, туда же и рука с сумкой, а на ступне другой ноги он продолжает передвигаться вперед — не поймешь как, но не прыжками. Затем, положив сумку на голову и сложив на груди руки, он пятится спиной на цыпочках. Естественно, что собака за изгородью начинает неистово лаять, выражая Жаку неодобрение и даже негодование. Некоторое время он смотрит на собаку, а она на него. Тут Жак, как бы в изнеможении, мешком падает на дорогу, собака в ужасе отпрыгивает и замолкает. Затем он вскакивает и пускается бежать, и она снова неистовствует до хрипоты.

В дальнейшем пути Жак переживает случай героической борьбы с тремя тысячами собак, львов, слонов и крокодилов. Его осаждают со всех сторон, и приходится, ловко поворачиваясь, раздавать тумаки направо и налево. Сумкой он пользуется, как щитом. От обороны он переходит к наступлению: ногами отшвыривает крокодилов, мощными пальцами хватает за гривы львов — и все перед ним обращается в бегство. Жак вскакивает в автомобиль, гудит и мчится в погоню, при этом, подпрыгивая, коленками почти касается подбородка. Вообще же он — известный борец, единственный и непобедимый. Никто об этом не подозревает, а сам он не подает вида: спокойно кладет свои книжки на дороге, отходит, садится на корточки и ждет. Враги тихо подкрадываются к книгам и тянут за ремешок. Жак одним прыжком вскакивает, хватает врагов и начинает крутить их в воздухе, потом отшвыривает — и видит, как их фигуры разлетаются по воздуху мячиками. Тогда Жак подбирает книги и идет спокойно, походкой делового человека.

Но героическое Жаку наскучивает. По изменившемуся выражению его лица видно, что он либо монахиня, либо кюре: идет тихо-тихо, опустив глаза, и при каждом шаге ласково кивает. Затем, положив сумку и став на нее ногами, он произносит речь и тут увлекается, машет руками, даже угрожает кулаком. Будто бы позабыв, что он стоит на сумке, он, с закрытыми глазами, делает шаг вперед — и летит в пропасть с необычайной высоты. Разбившись в дребезги, он стонет и дергает ногой. Собираются толпы народа, выражают сочувствие, и Жак сначала бессильно ползет, а потом вдруг довольно ловко становится на руки,

но так он может пройти не более двух шагов. Затем ему приходится вернуться за оставшейся позади сумкой.

Велосипедист развозит и бросает в почтовые ящики у калиток объявления местного кинематографа. Жак выпрашивает и получает афишку. Он еще недостаточно бойко читает, да и не для этого ему нужна афишка. Он складывает из нее стрелу, хотя бумага для этого слишком тонка и легковесна. Теперь, когда он хорошо вооружен, дальнейший путь не представляет особой сложности. Он намечает цель — и пускает стрелу. Стрела кувыркается и падает к ногам. Вторая попытка лучше — стрела летит ровно и огибает круг. Происходит состязание: Жак и некто другой, менее искусный. Бросая за него, Жак несколько хитрит и небрежничает; за себя он кидает стрелу гораздо ловчее. Разумеется, побеждает в состязании он. Получая первый приз, он шаркает ногой и кланяется. Неистовые аплодисменты оглушают его, он затыкает уши и морщится. При этом он делает любопытное наблюдение: если поочередно зажимать уши ладонями и открывать, то шум врывается катышками. К сожалению, в этот обеденный час на улочках совсем тихо. Жаку приходится сначала выждать, не запоет ли поблизости петух или не залает ли собака. Собак у нас достаточно, и их нетрудно вызвать к действию от полуденной дремоты. Жак так и поступает: дразнит ближнюю собаку, а когда она начинает лаять, он бьет себя ладонями по ушам — и наслаждается ровным чередованием звуков. Выходит из домика хозяйка собаки и дает ей шлепка; тогда и Жак прибавляет шагу.

До удивительности мало впечатлений дают наши зеленые улочки: разнообразные домики за однообразными изгородями, и почти нет прохожих. Нужен особый талант, чтобы наполнить краткий путь образами и событиями. Талант заключается в том, чтобы видеть то, чего не замечают другие. В человеке взрослом интересы заглушены шаблонщиной. Что выведет его из равнодушия и апатии? Выстрел? Блестящий автомобиль? Нездешняя разряженная дама? Совсем иное — живая и чуткая душа маленького человека: она в малом чует великое! Она ищет. Она исследует.

Новые дороги у нас залиты жидкой вонючей смолой и усыпаны мелкими камушками. По-нашему — скверный запах — и только. Незастывшую лужу мы

обходим, чтобы не запачкать обуви. Мы обходим,— по он, наблюдатель и искатель, конечно, не обойдет! Наоборот: он норовит разрушить гляцевый покой каждой лужицы, ступить в самую ее середину и потом печатать по белым камушкам черные следы. Камушки прилипают к ногам, и человек становится все выше, на его ногах ходули. Жак представляет себе, что вот он, прибавляясь в росте на каждом шагу от прилипших к подошве камушков, достигает сначала высоты каштана, потом втыкается головой в облако, без труда его пронзает, так что оно хомутом окружает его шею,— а что же еще выше? Он созерцательно смотрит в небо, днем безответное и пустое, а по вечерам веселое и звездное. Чтобы сохранить равновесие, он открывает рот и тянет «а-а-а». Ему приходит счастливая идея так и продолжать путь с запрокинутой головой, причем сейчас будет поворот в другую улицу, и нужно преодолеть его, не глядя ни под ноги, ни по сторонам. Это удастся, но затекает шея. Он трет ее, опустив голову, и вдруг видит на травке, с краю улочки, мертвого птенца, голого, желтоклювого, раздавленного пятой. Вероятно, он выпал из гнезда с высокого каштана.

И любопытство, и жалость. Травинкой он трогает клюв — никакого движения. Птенчик мог опериться и летать; но вот какое случилось несчастье! Две мухи садятся на потемневшую лиловатую кожу. Жак осматривается, видит поодаль брошенный детский башмак, приносит его и прикрывает птенца. Идя дальше, он оглядывается: все в порядке, башмак лежит на месте. Это могила. После перерыва он пойдет обратно в школу — будет ли башмачок лежать по-прежнему? Был бы ножик, можно бы было закопать мертвую птичку.

Жак идет нахмурившись и думает по-взрослому. И вообще — дома его ждут, нужно поторопиться. Печальный ход мыслей нарушен переливчатым рожком аптекаря, который на автомобильчике объезжает свои владения. Жак наизусть знает мотивчик — и старается передать его с полным сходством. Одной рукой он изображает при этом вертящееся колесо — другая занята сумкой с книгами. Из-за этого его машина кривится и сворачивает в сторону. Натолкнувшись на палисадник, он стремительно летит на противоположную сторону и чуть не влетает в чужую калитку. Кстати, тут живет другой Жак, его сверстник и соуче-

ник по школе; сейчас он, пожалуй, уже завтракает. Все же, на случай, Жак кукует по-условленному — два раза отрывисто, третий протяжно. Ответа нет — значит, другой Жак не может выйти и не смеет куковать за завтраком. Может быть, он и видит в окно приятеля, да боится материнского подзатыльника. Чтобы на такой случай раздражить его любопытство. Жак складывает ладони коробочкой, будто бы несет что-то интересное, и озабоченно покачивает головой. И действительно, он мог найти птенца живого и отнести домой; иным это удастся. Да и мало ли что он мог найти! Мог найти блестящий камень, мог найти и франк.

С этого момента он проходит всю улицу, внимательно смотря под ноги и по сторонам: вдруг он найдет что-нибудь замечательное! И действительно, находит сначала пуговицу, затем какой-то ржавый наконечник — может быть, от зонтика. В его кармане и так немало драгоценностей и находок, включая синий номерок с белыми цифрами 72, металлический, покрытый эмалью. В сравнении с ним пуговица — пустяк, но зато ее можно катить и догонять, что он и делает.

И вдруг, на смену всем этим выдуманному интересам, вдали, по главному шоссе, на которое и лежит путь Жака, проносится с музыкой и треском целая платформа с необыкновенными людьми, в белых и красных балахонах, в париках, с барабанами и трубами. Жак этих людей уже видел: это бродячий цирк, который сегодня даст представление на площади. Днем они разъезжают, чтобы заманивать своим видом публику, и при этом наездница на белом коне разбрасывает афишки. Должно быть, и они спешат к себе в балаган завтракать и уже не останавливаются на перекрестках и у кабачков.

Жак бежит бегом и наверстывает потерянное время, — но напрасно: телега уже далеко. Приди он минутой раньше — успел бы увидеть. А в цирк его не поведут: и не заслужил, и у матери нет денег. Жаку до слез обидно! Другие мальчики, которые там были, рассказывают чудеса: там показывают настоящего верблюда, мадемуазель на всем скаку пролетает через бумажный обруч, мосье швыряет в воздух десять бутылок и все подхватывает за горлышко, ни одной не уронив. Пудель танцует и обедает с подвязанной

салфеткой, обезьянка ему прислуживает, а петух кричит столько раз, сколько захочет публика. И это еще не все, так как на сегодня обещано новое.

Жак стоит посреди шоссе и грустно смотрит вдаль, где скрылась телега с артистами. В его ушах еще не остыл треск барабана и гул медной трубы. Но когда-нибудь придет время, и он все это увидит. Уж наверное когда-нибудь это время придет! Если бы ему обещали, — он готов стать прилежнее и не опаздывать к завтраку; вообще пошел бы на многие жертвы. И никогда бы не таскал свою сумку за ремешок по земле. И на пальцах его не было бы ни единого чернильного пятнышка. Но все это напрасно: в цирк его не поведут, а цирк приезжает так редко.

Он еще не знает, что жизнь долгая и что все успеется. Он еще так мал, может подождать. Впереди — дорога, гораздо длиннее всего парижского шоссе.

Жак вздрагивает от близкого гудка и таракшенья грузовика. Вместо того чтобы задержаться или броситься в сторону, он перебегает дорогу — и так неудачно.

Грузовик быстро тормозит. Соскакивают шофер и пожилой рабочий в синей блузе, и оба бегут к лежащему у дороги комочку. Это мальчика, школьника отбросило в сторону ударом по плечу и голове. Это — желторотый птенчик, раздавленный пятой.

Он лежит на земле калачиком, и тут же его сумка с книгами. Оба рабочих наклоняются и не смеют его поднять. И поднимать его поздно и напрасно — Жака уже нет.

И тогда собирается толпа, посылают за матерью. Грузовик стоит здесь долго, пока осматривают, расспрашивают и ждут, что кто-то приедет.

Только вечером у края дороги присыпают песком рыжую лужицу. Тут же лежит и выпавший номерок с белой цифрой на синем фоне. Его найдет и подберет какой-нибудь другой мальчик-мечтатель на пути из школы домой.

ЮБИЛЕЙ

Юбиляр проснулся красноглазым и усталым от непрерывного произнесения во сне ответной речи на

приветствия, которые ему скажут сегодня: «Дорогие друзья, вы уловили меня сетями неожиданности... сетями неожиданности и заставили вспомнить о том, что и вправду сегодня стук... сегодня исполнилось тридцать лет со дня, когда...» Как лег вчера с этой фразой, так с нею и проснулся, вперед не продвинувшись. «Сетями неожиданности» — счастливый оборот, настоящая находка. Добрая улыбка, юбиляр разводит руками: ничего не поделаешь, взяли в плен, «заставили быть центром внимания и, право же, слишком любезных слов, даже если и заслуженных, то не мною, а тем делом, тою, я бы сказал, идеей, которой я служил эти тридцать годин (опять хорошее слово), заставивших поседеть мои некогда кудрявые... посеребривших мои некогда кудрявые виски. Дорогие друзья, вы уловили меня сетями неожиданности и заставили... и вынудили меня припомнить... вызвали к памяти тридцать годин, посеребривших... Мои дорогие друзья, несколько кудрявые... вы уловили мои тридцать годин сетями неожиданности и вызвали к памяти с того дня...» — и так всю ночь и утро, пока в соседней квартире не забубнил теесеф и прачка не принесла крахмаленую сорочку:

Это началось с юбилея Акима Петровича Белосерова, на котором присутствовал и сегодняшний юбиляр. Тогда у многих зародилась мысль, что вот придет и их черед и друзья почтят их признанием. Белосерова почтили за старость, — не велика, в сущности, заслуга, — но было парадно и приятно. В числе выступавших был тогда и Феликс Владиславович, произнесший, по общему признанию, самую красивую речь, построенную с редким изяществом (начал с Горация: «Ehue! Fugaces, Postume, Postume, labuntur anni!»* — и кончил Овидием: «Nihil est annis velocius!»**). И еще в середине речи были удачные вставки на разных языках. Аким Петрович был тронут и очень благодарил; он занимался меховым делом и благотворительностью.

Говоря о быстробегающих годах, Феликс Владиславович тогда же подумал, что и его года не стоят на месте и что в свое время он окончил юридический факультет и был кандидатом на судебные должности, потом служил в акцизе и перевел с польского на

* «Увы, Постум, Постум, ускользают быстробегающие годы» (лат.; Гораций. Оды. II, 14, 1—4).

** «Нет ничего быстротечнее времени» (лат.).

русский две книги: «О творчестве Пшибышевского» и «Проблема осушения болот» — что дало ему доступ в литературные круги. Перед войной он был однажды арестован за неблагополучное знакомство, на войне оказал пользу знанием языков, в дни революции был председателем домового комитета, убегая, не вывез ценностей, так как их не имел, а в эмиграции служил в банке. Вытя двадцать лет на жизнь малосознательную, он имел в активе тридцать разнообразной полезной деятельности, итого — пятьдесят.

Он говорил:

— *Labuntur anni!* Усиленно скрываю свой двойной юбилей — полвека жизни и тридцать лет общественного служения. Все эти даты — чепуха, а отпразднуешь — и покатишься в небытие. Нет уж, покорно благодарю. Решил 23 сентября запереться дома и выпить в одиночестве бутылку хорошего бордо; даже не шампанского!

Он говорил это знакомым с глазу на глаз, никогда в большой компании, прося держать в секрете:

— И без того кто-то уже пронюхал, и очень боюсь, как бы не вздумали устроить мне сюрприз. Тогда придется взять отпуск на всю вторую половину сентября и уехать на лоно природы. Меня на эту удочку не поймашь.

Он повторял это так часто, что с мыслью о неизбежности его юбилея невольно примирились, и некоторые даже убеждали его не уклоняться, раз друзья и знакомые непременно хотят отметить скромным торжеством знаменательный день. Делается это из простой искренней к нему симпатии, и ни к чему обижать людей отказом; что за гордыня такая!

— Да нет же, дорогой мой, никакой гордыни, а как-то глупо это. Ну, соберутся люди, будут говорить речи, выхвалять, исчислять заслуги, невообразимо преувеличивать, а ты сиди дураком и улыбайся. И, главное, ни к чему! Ведь не для этого мы живем и работаем сколько кто может. Ну, юридическая деятельность, ну, литература, ну, политические гонения — у кого, спрашивается, этого не было? А что тридцать лет — очень печально, что столько времени отнято у личной жизни, а для чего — неизвестно. Что дал миру наш идеализм? Да стоит ли он, этот мир, нашей жертвы? Нет, знаете... Во всяком случае, ни на

какую помпу я не соглашусь. Желаете — соберемся в малом числе, дружески, закусим, выпьем — и все. И я хочу сам участвовать в подписке. Вот лист бумаги, я подписываю анонимно «Старый приятель — 100 фр.», а вы берите лист и делаете, что хотите, меня это больше не касается. В какой-нибудь маленькой зале недорогого ресторана. И — баста!

Феликс Владиславович особенно опасался, как бы известие о его юбилее не попало в газету, да еще в ненадлежащей форме. А так как никакой заметки не появлялось и она могла появиться совсем внезапно, то он счел за лучшее предупредить событие и сам забежал в редакцию:

— Вот зашел вас попросить о милости: если пришлют вам какую-нибудь заметку о том, что 23 сентября празднуется мой тридцатилетний юбилей,— не печатайте вы об этом!

Заведующий хроникой с полнейшим равнодушием ответил:

— Ладно, не будем. Да и не присылал никто.

— Ну и отлично. Дело, понимаете, не в разглашении факта, об этом все равно уже достаточно накричали, а мне не хочется, чтобы думали, что я придаю этому какое-то значение.

— Ладно, ладно.

— Или уж, в крайнем случае, упомяните в этой проклятой заметочке, что все это чествование устроено друзьями вопреки моему желанию. Я ведь даже уехать хотел, да ничего не вышло: заставили. Это будет 23 сентября вечером.

Так как юбиляр не уходил и мешал работать, то заведующий хроникой сказал:

— Вы если хотите дать заметку, лучше уж сами ее напишите, как вам хочется; а я пушу, если место позволит. Только очень не распространяйтесь. А то всегда так: не хотят, а пишут целую повесть. Строк пять самое большее.

— Да я, собственно, уже заготовил на случай, если это необходимо, а главное, чтобы предупредить неточности. Я вам оставляю, а вы уж сами извлеките, что нужно. Чем меньше, тем, конечно, лучше.

Хроникер так и сделал: оставил пять строк, зачеркнув четыре страницы. Сверху пометил «петит» и пожелал Феликсу Владиславовичу всего наилучшего.

И наконец наступило 23 сентября, день, когда друзья юбиляра настойчиво пожелали чествовать его обедом по подписке. Теперь о бегстве было нечего и думать, тем более что даже газета пронюхала о событии, лишив чествование той интимности, на которой настаивал сам юбиляр.

— Подвели вы меня, ох как подвели! Сделали из мухи слона,— а я должен отдуваться. И это называется — друзья!

На обед записалось девять человек, да столько же или более Феликсу Владиславовичу пришлось пригласить от себя, чтобы не обидеть и не вводить в расходы сослуживцев. И хотя он заранее отклонил от себя все хлопоты, лишь обещав явиться, куда ему укажут, но в действительности, вопреки желанию, пришлось утром побывать на телеграфе, потом купить галстук и удовлетворить свою слабость к цветам, которые он заказал и велел послать в ресторан с записочкой, в шутку написав: «От почитателей».

— Потом посмеемся, когда станут рассматривать билетик!

Несмотря на сентябрь, суп назывался «прэнтанье», а предшествовала ему закуска на французский манер: сельдерей пятью способами, жеваное мясо с салом, кислые рыбки с запахом корицы. Когда наконец приплыла теплая телятина в коричневой жидкости, первую речь произнес бывший присяжный поверенный, хотя и не близко знавший Феликса Владиславовича, но имевший все права на первое слово, так как в свое время он отступал с армией Колчака и несколько дней был министром. Здесь, в компании интимной, он сразу поймал нужный, дружеский и полушутливый, тон, придравшись к счастливому имени «Феликс», хотя и прибавив к нему ошибочно «Владимирович». Он указал на символический смысл этого имени даже в наши тяжелые дни тревожных ожиданий:

— Есть люди, которым судьба покровительствует, позволяя им, так сказать, осенять, то есть осиять, или, лучше сказать, уделять частицу, и притом огромную частицу отведенной им удачи другим, менее счастливым, я бы сказал — менее «Феликсам», указывая им, что может сделать человек за тридцать лет общественной жизни, если он руководится немеркнущими идеалами, для всех нас, господа, одинаковыми, как для

сынов одной, пусть поработенной, родины. «Словом жечь людские души», — как сказал Пушкин; да, мы жгли, мы их жгли со всем пылом молодости, зная, что из пепла родится феникс... и простите мне каламбур, он сегодня имеет особое значение, — из этого пепла, нас испепелившего, именно сегодня как бы родился Феликс, память которого, то есть торжество которого мы празднуем обедом скромным, но уже записанным в историю. Мне остается кончить мою речь словами, горящими в душе каждого, в ком не погас огонь, словами римского поэта: «Феликс кви потуит рерум!» — и поднять бокал за того, кто носит это славное имя!

Удивительно удачно именно в это время были поданы две телеграммы, прочитав которые Феликс Владиславович и растрогался, и как бы сконфузился. Он даже не хотел их оглашать, но его заставили: «Тогда уж сами и читайте!» Одна была немногословная, за подписью «Французские друзья», другая явно от женщины-поклонницы, почтительно любовная и подписанная «Энконю». Долго пришлось отмахиваться от намеков и шуток друзей, настроение которых было приподнято и речью адвоката, и шампанским. Другую речь попытался произнести товарищ юбиляра по службе, но сбился от волнения и сильно преувеличил, дважды назвал столетней годовщину деятельности нашего дорогого. Расцеловавшись с ним и с ближайшими соседями, Феликс Владиславович понял, что пришло время отвечать.

— Дорогие друзья, — сказал он, — волнение мешает мне говорить. Вы уловили меня сетями неожиданности, заставив вспомнить, что и вправду сегодня исполнилось тридцать лет моей скромной, очень скромной общественной службы обществу. Эти тридцать скромных годин, господа, не приходят сразу, и часто, к сожалению, слишком часто серебрят кудрявые виски тех... тех, кто это испытывает на себе. Видит Бог, господа, что я не хотел никаких чествований и всячески уклонялся от него, не чувствуя себя в никаком праве воспользоваться заслугами, в сущности, столь малыми, что ими хвалится каждый из нас совершенно без всякого, хотя бы слабого, отношения к его тридцатилетию. Да, я старался защищать, то есть чисто юридически осуществлять права бедных и угнетенных, что-то

значил в литературе, куда-то толкал общественность. Так поступали мы все, дружно и независимо, не отдавая себе отчета в заслугах русского общества в разных областях жизни и знания. И я считаю, господа, искренне считаю, что это не меня вы сегодня чувствуете, а тот немеркнущий идеал, в котором, как в капле воды, сосредоточилось все нами пережитое и пережитое...

В дальнейшем речь Феликса Владиславовича потекла и закончилась в полном согласии с высказанным ранее другими и с подготовленным им накануне. Были аплодисменты, было много выпито, и прекрасного впечатления от праздника не нарушил даже ближайший и сильно подвыпивший приятель юбиляра, обмусливающий его поцелуями и словами: «Ну и бестия же ты, как ловко все оборудовал!»

Когда же, разойдясь по домам, все уже спали, кто спокойно, кто бормоча несвязицу и отплевываясь,— один-единственный Феликс Владиславович, невзирая на усталость и на очень позднее время, сидел за письменным столом, подыскивая лучшие и наиболее скромные и спокойные выражения для письма в редакцию:

«Не имея возможности лично поблагодарить всех, почтивших меня визитами, письмами и телеграммами по случаю тридцатилетия...» и проч., и проч.

УБИЙСТВО ИЗ НЕНАВИСТИ

Сейчас не принято начинать рассказы с описания природы, но мне необходимо пояснить, что дело происходило в Калужской губернии, в деревне, ранним летом, в тот самый год, когда в течение двух месяцев шли теплые дожди по ночам, а утром выползало и устраивалось на небе омытое, сияющее, горячее солнце,— и вся природа помешалась от такой удачи: хлеба вообразили себя строевым лесом, а самая малая трава — кустарником. Иван-да-марья, например, растение вообще невзрачное, вытянулось почти в рост человека и цветами целовало в уста. Вытянулись деревьями разные полевые злаки — полевица, белоус, лисий хвост, канареечник, тимopheева трава, перловик,

трясунка, овсянка, луговая занозка, едва можно пробраться через их заросли. Красный клевер доходил до пояса; даже обычно крошечная травка, вероника трилистная, известная также под кличкой мужская верность (очень легко цветы осыпаются), — и та так вытянулась, что путала ноги. Иные пригорочки на солнечной стороне завились хмелем, и стоило прилечь на скате, чтобы почувствовать себя пьяным. Пчел, мух, всякого насекомого, жучков, мотыльков носились целые хоры, гудел воздух от них, и птичье царство ошалело от света, тепла и радости. Такое лето выпадает два-три раза на человеческий век. На лесных полянках мхи лежали перинами, а ранний гриб зонтик в иных местах бы ростом в пятилетнего ребенка, даю честное слово! Изумительное было лето!

В это самое лето я приехал погостить к приятелю, без пяти минут помещику; он купил в Малоярославецком уезде восемь десятин леса и пашни, срубил себе избу в три комнаты, положил начало фруктовому саду, развел огород и приобрел коня Ваську, который весной и осенью вспахивал поля и луг, а зимой съедал все, что на них выросло. Была, конечно, и корова, по имени Ольга Спиридоновна, а собаку звали Шевалье. Мой приятель был толстовцем, но никого не притеснял ни проповедями, ни добрыми делами; с ним можно было просто и приятно разговаривать, и если случилось под соленый огурец, то он пил и водку со всей умеренностью здорового и занятого делом человека. Он писал книгу, но мне ее вслух не читал — тоже хорошо. Меня научил косить, полоть огород, складывать палый лист, ботву, навоз и всякую дрянь в компостную кучу, что вовсе не так просто. А так как поблизости была река в кудрявых берегах, с заводями и с быстринками, то я был счастлив, потому что с ружьем я никогда особенно не дружил, а по части рыбы — не могу преодолеть в себе жестокости: особенно щукам есть чем меня помянуть.

И жить нам было бы прекрасно, если бы не было за полверсты соседа, Густава Густавовича, также проводившего лето на лоне природы и дарившего нас постоянным вниманием. Я не понимаю, как можно в деревне носить пиджак при крахмаленом воротнике, да еще стоячем, с этими загнутыми уголками для помещения между ними кадыка. И конечно, галстук бабочкой. Мы

оба с приятелем ходили в деревне архаровцами, рубаха без ворота при бывших, потерявших всякое приличие штанах, руки до локтя в ссадинах и в земле, пот вытирали рукавом. Густав Густавович этого не осуждал, но он всегда и обо всем высказывал веское суждение; так, он говорил: «Завоевывая природу, человек бывает вынужден временно отказываться от уже достигнутых удобств цивилизации; позже он вознаграждает себя соразмерно этим затратам». И ласково и одобрительно смотрел на нас в микроскоп. Когда мы продергивали морковь, он, стоя в возможной близости на меже, объяснял нам, почему скученность корнеплодов вызывает развитие надземной части растения в ущерб той их корневой части, которая в хозяйстве ценится как продукт питания. Когда мы прививали яблоньки, он высказывал очень верную, хотя нам уже несколько известную мысль о том, что прививка основана на способности организмов существовать паразитарно, питаясь соками другого организма, преимущественно близкого по виду. Все это было, несомненно, интересно и работе не мешало. Лошадь отмахивает оводов хвостом, а нам просто не было времени слушать. Но когда он приходил на сенокос, в нас рождалось иногда преступное желание подрезать ему косяк ноги, в особенности когда он при этом говорил: «Оригинальность растительного мира в том, что нарушение установившихся функций питания путем устранения частей, обладающих хлорофиллом, немедленно вызывает усиленную деятельность подземной части растения, его корневой системы, что, в свою очередь, вызывает новый рост, часто более пышный, так как отдалляет момент цветения». А скошенная трава в это время душила ароматом, пот лился с нас градом, жаворонки в небе орали и безобразничали, и нам казалось, что где-то поблизости на дороге скрипит колесо несмазанной телеги.

Однажды перед вечером я пошел пошататься в лес без всяких намерений и целей, разве что на обратном пути собрать немного хвороста и еловых шишек для печки и самовара. Лес — это как бы храм, он очищает душу и наводит мысли на высокое; за хороший хвойный лес можно отдать любимую книгу. А лес был там ох как хорош, хотя не чистый хвойный, а мешанный с лиственным. Продрался сквозь орешник, миновал

осину и березу и выбрался в еловый сумрак, где нога скользила по палым иголочкам и росла кислица, заячья капуста. Пока тут дышал, солнце начало склоняться, и меня поманило на знакомую поляну, где в этом году трава доходила до горла. Здесь я остановился и стал влюбляться в мир; это нужно иногда делать, чтобы не было тошно жить; впрочем, я был молод и кое во что еще верил. Воздух был напоен смолой, медом и чудом трав; разные пичуги перед сном болтали о завтрашнем дне, белка гордилась хвостом, дятел долбил свою азбуку, а в траве шуршал невесть кто, может быть, уважаемая, но не страшная змея, а то еж. И я как свой человек в их компании, не царь природы, а равноправный братишка. Оркестр играет тихонько, под сурдинку, кукушка считает года, кузнечики пилят свое, и я думаю: «Позвольте мне пожить и помечтать с вами рядышком, господа живые существа, не отвергайте меня за дурной человеческий запах!» Окруженный всякими знакомыми былинками и задумчивыми цветами, я стоял неподвижно и ждал еще какого-нибудь чуда, например голоса с неба или из древесного дупла. И когда я таким образом утонул в лесном шепоте и душистой вечерней прохладе, — вдруг действительно за моей спиной раздался голос:

— В сущности, то, что мы называем гармонией красок или гармонией звуков, не есть действительная абсолютная гармония, а только совпадение числа колебаний с заранее нами принятым условным числом. Здравствуйте!

Кукушка подавилась, белка издохла, и травы повяли. Вы поднесли к губам фиал нектара, а он оказался навозной жижей. Даже по сердцу резануло, и тогда впервые в моей душе зародилась мысль об убийстве. Я обернулся и увидел галстук бабочкой и вполне приличное лицо.

У запоздалой пчелы я занял воск и залепил им уши, так что домой мы пришли сравнительно мирно. Мой толстовец как непротивленец был даже доволен, так как мог поупражнять свою волю, а меня трясло до тех пор, пока Густав Густавович не ушел восвояси, да и ночью мне снилась риторика верхом на осле. Я замаяхнулся на нее вилами и проснулся, так как во сне ударил кулаком в стену.

Скажу просто: этот человек за два месяца

ежедневных встреч до того мне надоел, что при одном его приближении я убежал подалее в поле. Раз я хотел даже вырыть посередине тропинки, по которой он к нам приходил, волчью яму с кольями, но уж очень это было сложно. Один раз будто нечаянно хватил его граблями и не извинился. Он почесал ушибленное место и объяснил что-то о причинах несоизмерности движений и излишка затраты рабочей энергии, приведя в пример муравья, напрасно втаскивающего тяжесть на высохший стебель травы. Я сказал: «Черт!» — но он на свой счет не принял.

Последняя трагедия произошла на берегу реки. Я нарочно выбрал местечко, удаленное от жилья, скрытое среди наклонившихся к воде ив, не очень удобное для ловли, так как рыбу приходилось втаскивать на крутой бережок, но дело было не в рыбе, и даже время для ловли неподходящее, а дело было в созерцании. Мы, рыбаки, созерцатели по преимуществу, а не жадюги и не злодеи. Мы забрасываем удочку в спящую на припеке воду и будто бы смотрим на поплавок. И действительно смотрим, замечая малейшее его дрожание, и в то же время видим и колебание тростника, и всю зеленую рамку, в которую вставлено зеркало, и облако, и что за облаком, и что под водой, и чем земля живет, и как зачалось ее бытие, и как оно благословенно всюду, куда не затесался наш опыт, и как в ее бытии растворяется наше. Рыбачье дело — истинная мистерия. Любопытно, что рыба видит все не хуже нашего; она кружит вокруг висящего червяка, зная, что он вывешен на нитке ей на погибель, кружит и приговаривает: «Нашли дуру! Где это видано, чтобы червяк висел неподвижно, не всплывая и не тоня! Ясное дело — на крючке. Нужно рехнуться, чтобы его попробовать. И вкуса в нем никакого. Вот назло подплыву, сдерну его и выплону такую невидаль». Ей и хочется и колется. И не подсеки я вовремя — сдернет. Вот уж и кружочки идут от поплавка. И тут около вас садится, расправляя брюки, черт с бабочкой, отчеканивая умные слова: «В рыбной ловле все базируется на условности; мы предполагаем, что жадность и в особенности конкуренция берут верх над вниманием и естественной подозрительностью водного населения. Любопытно, что даже непривычная и незнакомая пожива, как, например, распаренный горох или катышок хлеба, дей-

ствует столь же притягательно, хотя гу-гу-гу, зызызы балаба кем-нибудь талака и овода чикато на беду куда-либо да...» — дудит комар в мое увядающее от ужаса и тоски ухо, и уже некуда деться, гладь реки превращается в надоевший суп, по небу ползают тараканы, и желчь струйкой льется из пузыря, окрашивая последние проблески ясного сознания. Тут происходит невероятное: раздвигается зеленый занавес, и волосатая рука протягивает мне охотничий нож, который я беру с собой неизменно для всяких надобностей, протягивает и приказывает: «Убей!» И тогда я внезапно делаюсь очень вежливым и почти заискивающе прошу: «Не угодно ли вам, Густав Густавович, пройти со мной на эту лесную опушку?» Он, конечно, встает, отряхивает с панталон землю и идет. Почему я не убил его на берегу, а повел к лесочку, точно не знаю. Здесь я убил его одним ударом в то место, где полагается у настоящего человека быть сердцу и где и у него нашлось что-то соответствующее и уязвимое. Убил я без раздумия и без малейшего сожаления, хотя вообще даже червяка насаживать на крючок мне всегда как-то жалко и неловко. А убив, дотащил обратно до берега и сбросил в воду.

И вот тридцать лет спустя я прочитал недавно, что Густав Густавович не то назначен, не то избран (как там теперь делается) академиком по какой-то своей области наук; это совершенно безразлично, потому что он мог по любой части говорить безостановочно и вполне толково, даже разумно. Конечно, я его тогда не убил и даже пальцем не тронул, не зверь же я в самом деле. Но вынести его присутствия я больше не мог и уехал, оставив ему на съедение приятеля толстовца. В памяти же моей он остался растерзанным моими руками, исполосованным моим ножом окончательно мертвым человеком, от которого я избавил живую природу, мир дышавший и таинственный, полный прелести и поэзии, мой лес, мою речку, и жаворонка в небе, и пушистую белку, и кукушку, все еще считающую наши года.

АНОНИМ

Этого человека я представляю себе настолько, что могу карандашом нарисовать его профиль: не выгнутый, а вогнутый малый лоб; длинный нос, с сухой и правильной косточкой, но неудачно законченный; тонкие губы, хорошей формы, малоподвижные и трусливые, потому что за ними скрыт ряд плохих зубов; чрезвычайно неприятные глаза (зеркало души) никакого цвета, с обломанными внутри иголочками, никогда не смотрящие совсем прямо; очень красивые, бледные, почти аристократические уши; волосы, растущие чахло, неровно, с прогалинами, на кончиках расколотые. Плечи остры, грудь плоска, руки длинные, пальцы тонки и музыкальны, ногти ровны и блестящи — на зависть. Во всем облике есть нечто от породы, но испорчено и оскорблено помесью барина с лакеем, скрытой и стыдной: не чистая дворняга, но уж, конечно, — не благородный пес.

Человек необычайно внешне опрятен. Видно, что оберегает свое платье от складочек, на ночь вешает штаны на хорду, жилет и пиджак на дугу деревянного сегмента, вешает за крючок на железную кастельную внутри дешевого неправильного шестигранника, где висит у него также костюм черный вечерний, где на протянутой веревочке ждут судьбы галстуки, а внизу коробка с двумя щетками и ваксой. Человек стыдится бедности, считает и строго распределяет свои копейки на потребности, чуждается прихотей, чтобы не быть обязанным и не получать оскорблений. Сам не сердечный, в чужую сердечность не верит, искренне презирая всякую широкость натуры. Вечером, окончив свой скудный холодный холостяцкий ужин, моет под краном тарелку, стыдясь дешевых розанов на ее ободке, приводит зубочисткой в порядок неровные зубы, чистит их меловым порошком без мяты, исследует постоянный, противный, неподсыхающий прыщик на левой скуле, подкармливаемый его худосочием и раздражающей кожу пудрой. Несмотря на этот прыщик, бреется ежедневно старой опасной бритвой, которую точит о складной ремень.

Он хорошо знает, что неказист, и от этого сознания душа его съезжена, усеяна защитными колючками, сама

себя съела,— потому что он еще молод и не может не думать о женщинах, о многих женщинах, толстых, тонких, простых и изощренных в любви, привлечь, забрать, завоевать которых он может только или внезапным богатством, или такой же внезапной славой, блестящими речами, героическим жестом, и ничего этого нет и не будет, и он один, и ему ужасно холодно, прыщик на скуле не подсыхает, а женщины льнут к здоровым и развязным дуракам, которых он ненавидит и которым бешено завидует. Но если бы случилась женщина, которая предпочла бы его всем этим ничтожествам и поняла, главное — поняла, оценила,— он заговорил бы ее потоком не сказанных им слов, обрушился бы на нее со всей яростью бессилия, истоптал бы ее ревностью, ограбил и опоганил ее чувство и со страхом ждал, когда она даст ему последнюю пощечину. Сам убить неспособный, он мог бы только оподлить ее, себя и весь мир. Чувствуя это, он содержит себя в порядке и чистит ногти стальной нарезной пластиночкой.

При всей строгости и аскетичности, он кокетничает выдержанностью стиля своей единственной комнаты, хотя мало кто у него бывает. На чистейшем столе (тряпочка за умывальником) стоит опрятная чернильница, большая и внушающая уважение,— коробка для чистой бумаги, перья, карандаш, перочинный ножик, календарь и две книги, сразу поднимающие к нему уважение: книга философская и «Essai sur la création artistique»*. И еще полка с книгами, так подобранными, что при первом взгляде на их корешки можно составить себе о хозяине комнаты самое лестное мнение. В этом тоже сказалась ублюбочность его породы: он боится оставить на виду книги случайные или могущие вызвать улыбку и недоумение,— он их прячет в шкаф. Есть у него склонность к чувствительным и немножко скабресным романам, щекочущим неудовлетворенность его фантазии; но он их стыдится и держит под спудом. Одно время на каминной доске стоял у него портрет его матери, уже старой женщины, но и этот портрет переехал в шкаф, так как у матери было добродушное и неинтеллигентное лицо. Вместо матери стоит теперь маленькая, дешевая, но все-таки античная, почтенная зеленую статуэтка. Умывальник, как

* «Очерк художественного творчества» (фр.).

неопрятное и слишком житейское, скрыт за ширмой. Комната, в которой можно и мыслить, и работать, и принять работающего и мыслящего человека. Он, конечно, не курит, и запах комнаты его беспол, лишь немного кисловат.

В его прошлом несомненно должны быть литературные опыты, окончившиеся неудачей, неуспехом у друзей и публики. Что-нибудь дал от своей, тогда еще не раненной души, и это не было принято; и рядом с этим успех выпал на долю менее достойных. Было в его писании все по тому времени нужное, но не хватило, вероятно, какой-то искорки, может быть, — естественного благородства стиля, может быть, — простоты чувства, чего-нибудь, с чем нужно родиться, чего не добудешь никакими стараниями, — как не поправишь плебейской загогулилки на породистом носе, как не изменишь цвета бесцветных глаз. И тогда в нем родилась зависть, противная и неподсыхающая, как прыщик. Сначала она развила в нем наблюдательность — качество критика, и он подмечал и ловил чужие ошибки с искусством сыщика и со слишком неприкрытой злобой, выдававшей его чувство. Но после зависть его ослепила, и он с жадностью стал искать в каждой чужой строке того, чем был богат сам: низких чувств, злых намеков, неискренности, культурных прорех, скрытой грязи под внешней опрятностью, нравственного худосочия, литературной корысти, жгучего страха непризнания. И он радовался, откапывая в чужой душе родственные ощущения, и безмерно страдал, когда мысленно пущенная им стрела отскакивала от иной брони, даже не оцарапав. Хуже всего то, что он и сам знал и напрасность и несправедливость своих покушений, но сдержаться не мог: он больше не переносил чистого воздуха и белых пространств, жаждал чужих падений и искал глазами пятен на белоснежных ризах, потому что в белоснежность он не верил, не мог верить и не хотел.

Он еще и сейчас пишет, но уже не пытаюсь выступать в печати под своим, впрочем, совершенно неизвестным именем. Он посылает свои рассказы на конкурсы и не удивляется, а почти радуется, когда призы достаются ничтожным и пошлым чужим произведениям; но если бы хоть раз премировали его рассказ, он был бы в страшном испуге и вряд ли выдал бы свое

авторство, потому что даже временное и случайное признание совершенно разрушило бы весь строй его отношений к людям. Для себя самого он пишет что-то вроде дневника, где среди злобных оценок и совершенно гадких предположений можно найти сентиментальные строки: люди злые и склонные к клевете почти всегда сентиментальны, часто религиозны. Перечитывая свои тайные творения, он иногда трогается до слез и с испугом озирается: может кто-нибудь подсмотреть в замочную скважину. Но так бывает не всегда; у него достаточно вкуса, чтобы не только ловить себя на ошибках, но и чувствовать свою унылую серединность, тщету своих творческих усилий, природное и не устранимое ничем авторское бессилие. И он особенно ясно и болезненно это осознает, когда тою же верной догадкой улавливает чужой талант, некий Божий дар, данный другому не по заслугам, без испытания, без муки, так — здорово живешь! И в эти минуты он пронизывает свою душу деятельной ненавистью, и сердце его кровоточит.

Именно в таком состоянии он написал свое первое анонимное письмо — молодому автору, первый роман которого имел настоящий крупный успех, несколько шумный и, может быть, не вполне заслуженный. Он написал баловню судьбы длинное письмо без подписи, которое старательно переписал на машинке. Он с ловкостью подметил в романе несколько заимствований, ряд влияний невысокого достоинства, — но это были пустяки, и нужно было уязвить большее, и он выкопал в памяти темную историйку, которой сам не верил, но на которую намекнул зло и с пафосом благородного негодования. Тот оправдался бы, если бы мог ответить, — но ведь ответить некому, и у него будет достаточно времени помучиться бессилием изменить о себе мнение неизвестного корреспондента. Пусть человек не слишком упивается своими успехами, пусть почувствует, что для его излишней самоуверенности есть острастка. И он имел случай убедиться, что огорчил человека и несколько испортил ему праздник.

С тех пор писанье анонимных писем, иногда очень ядовитых, иногда беззубых, то обстоятельных, то содержащих лишь строку ругательств, сделалось его постоянным занятием. Сначала, наклепывая марку на очередную гадость, он испытывал сам к себе презрение

и трусливо оглядывался: не увидел бы кто-нибудь, не понял бы, не ударил бы его по лицу. Но затем он догадался закутаться в тогу тайного общественного мстителя, идейного палача самоуверенных бездарностей, некоего верховного судьи. Он придумал себе имя, которым стал постоянно подписываться, чтобы письма не были анонимными. Он внимательно прочитывал новые книжки журналов и номера газет, пропуская посредственное и выискивая то, что обратит внимание и других читателей. У него появились враги временные и постоянные; временным он уделял несколько презрительных строчек, чаще всего на открытке, чтобы мог прочитать и случайный человек. Враги постоянные вынуждали его усиленно работать и изощрять свою мысль и свой стиль. Если он не знал их лично, — он разузнавал, доискивался, изучал их слабости, чтобы уязвить их в самое больное место. В свои письма он вкладывал так много настоящей страсти и неподдельной ненависти, что иногда писал действительно талантливо и причинял людям не только словесную обиду, но и подлинное огорчение. Возможно даже, что некоторым он принес и пользу, хотя не к этому, конечно, стремился. Но он не учел одного: того, что таких же, как он, обиженных судьбой, озлобленных, не способных на открытое выступление, но смело стреляющих из-за угла, из-под прикрытия, очень много, что и редакции газет и журналов, и каждый более и менее видный писатель и общественный деятель неизбежно получают много писем и писул от анонимов, грамотных; малограмотных, более остроумных или более глупых, сильных критиков или простых ругателей, иногда искренних, чаще завистливых, еще чаще — просто графоманов, и что к этому они привыкают, как к тому, что после многих рукопожатий приходится мыть руки, или к тому, что у их подъезда постоянно гадит собачка.

Вместе с тем, нерасчетливо затрачивая большую раздраженность, заменявшую ему душевный жар, и не получая ответа, он сам себя сжигал и уже не пылал, а коптил и вдыхал собственную копоть: затупились слова от частого их повторения, стали пошлыми и мимо цели бьющими намеки, и злоба маленького человека, рядового неудачника, всем за свою неудачу мстящего, стала выпирать из утративших яд строчек. «Тайный общественный мститель» превратился в чи-

новника у самого себя на службе, привычно скрипящего пером от такого-то до такого-то часа, потому что так повелось и вошло в привычку и ничего иного в жизни не осталось.

По привычке заперев дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не вошел, уже усталым пером на обычной бумаге он выводит ровным почерком бранное слово, подчеркивая его ровной и спокойной чертой, в ленивой надежде, что оно может оскорбить его постоянного «врага» или больно огорчить временного. Сложив письмо, он тщательно засовывает его в конверт, лижет клей утратившим остроту языком, приглаживает заклепку тонким пальцем с очень породистым ногтем, лепит марку в верхний правый угол, внутренне поеживается от неизбежности значительного почтового расхода. Но, отказывая себе во многом,— в этом он отказать не может.

Аккуратный во всем, он переписывает набело большие письма четким и безразличным почерком, специально для этого приспособленным. Но копий не хранит,— он рвет их на мелкие кусочки, чтобы нельзя было составить ни одной фразы. Может быть, он еще верит в свою биографию, в то, что она когда-нибудь будет. Или из простой робости. Или даже из той чистоплотности, с которой собаки и кошки забрасывают лапами следы своего невинного греха. Или с этими свидетелями житейского ему душно в комнате, на столе которой лежат на виду философские книги. Или это загадка даже для него самого. Не оставляя копий и не перечитывая их, он часто повторяется. Но это его не смущает. И вообще — он устал.

ВИДЕНИЕ

Два санитары внесли в комнату и уложили в постель худое тело молодого человека в бессознательном состоянии. Так говорится, когда сознание человека не зависимо от привычных условностей. В данном случае в постель укладывалось чудовищное по размерам тело, разбитое на много самостоятельно полуживших частей: огромная голова, свешиваясь в пропасть, ударялась о мягкие выступы скал; десятки рук и ног,

перепутавшись, препятствовали движениям, разбрасываясь и сплетаясь в воздухе; бессчетные куски органов старались напрячься и занять свои места, но их раскидывало набегавшими волнами, и на это уходили минуты, часы и вечности. Два мотора работали не в такт, и от горла к необычайно отдалившимся пяткам бегала, запинаясь за скрепы рельс, дребезжавшая на ходу вагонетка; добежав до середины пути, она внезапно откатывалась по откосу, сбрасывала тяжесть и бежала обратно, нагружаясь в пути каменными глыбами. В отдушину пытался и не мог ворваться свежий воздух, так как потные руки захлопывали отверстие. Всем этому должен был вестись точный счет: раз-два, три-четыре — но и это оказывалось невозможным, так как колесико счетчика соскакивало и начинало снова. Боли не было, а если и была, то чувствовалась совершенно посторонним человеком, лежавшим рядом и надоедливо повторявшим одно слово. Так было, пока происшедшая где-то заминка не остановила движения целого ряда частей, оказавшихся ненужными и вообще несуществовавшими. Значительно уменьшившись в размерах, тело соединилось с головой и начало обрастать чувствительной к холоду кожей, особенно в области живота, куда направилось все движение и вся путаница ощущений. Навалившаяся тяжесть была чудовищна, и никто, никто ее не сбрасывал, хотя достаточно было приподнять ее с края и отвалить, облегчив человеку дыхание и вообще прекратив эту напрасную и так легко устранимую муку. Голос в неизвестном направлении произнес отчетливо: «Очнулся» — как раз в момент, когда больной, приоткрыв тяжелое глазное веко и ощутив удар острым орудием по виску, тотчас же отдавшийся в сердце, действительно впервые потерял всякое сознание, заменившееся спокойным блеском светлого угла на черном поле. Сестра милосердия вопросительно взглянула на доктора, который пожал плечами и ничего не сказал. С этой же минуты начинается рассказ о последней большой любви.

Родных не было, а пришедшему навестить приятелью сказали, что чудеса случаются, но от врачебной науки не зависят. Его допустили к больному, потому

что никакого вреда от этого не могло случиться: худое тело лежало покойно, и в нем продолжалась жизнь, о духовном богатстве которой никто не мог подозревать. Иногда больной приоткрывал глаза и смотрел прямо перед собой на висевшее на стене расписание больничных правил в рамке под стеклом; около губ появлялась тогда легкая морщинка, которую можно было принять за улыбку. Никаких иных движений он не делал, не мог делать, и ни в чем ином не проявлялось признака неугасшего сознания. Приятель посидел около его койки в большом смущении, не зная, должен ли он чего-то дожидаться или можно уже уйти, так как долг исполнен. Погладив одеяло около рук больного, он встал и, отойдя, оглянулся, этим заменив поклон, который был бы как-то неуместен. На пути из больницы он довольно живо, в уме подбирая выражения, обдумывая, как расскажет знакомым об этом тяжелом посещении; так как рассказывать, в сущности, нечего, то он махнет рукой и именно сдержанностью выражений передаст впечатление полной безнадежности. Так он и сделал, прибавив: «Подумать, что только вчера вечером мы виделись, и мне в голову не пришло...» Один из собеседников рассказал подобный же случай, когда он за час не подозревал, что его близкий знакомый (он сказал «друг», но это было преувеличением) уже написал и послал прощальные письма. Еще кто-то рассказал еще что-то, имевшее некоторое отношение, и только после этого перешли к обычным анекдотам.

В больничной комнате окно было настежь распахнуто — единственное предписание, которое сделал врач. Воздух был свеж постольку, поскольку он был свежим на проездной, но довольно тихой улице большого города. Изредка входила сиделка, — но ей не приходилось даже поправить одеяла. Объявление в рамке висело несколько наклонно на стене против окна и постели больного. В объявлении были подробно изложены правила поведения больных, посетителей, все в очень серьезных, деловых и строгих выражениях. По стеклу в бледном отражении проходили фигуры людей и мелькали крыши автомобилей.

То, чего ему не хватало в жизни и что могло бы удержать его от губительного поступка, на который он решился с такой мучительной неохотой, — то явилось

поздно, с полной неожиданностью и в изумительной обстановке. Его ощущения были непередаваемы, — да и некому было их рассказывать. Не было границ ни во времени, ни в пространстве, не было чудесного, как не было и ничего ранее знакомого. Сам он пребывал в спокойствии созерцания, и все делалось для него, как прекрасный заговор. Он мог, когда хотел, вызывать образы, и они появлялись на блестящем экране неустойчивыми, мелькающими тенями. За долгое, очень долгое время он привык разбираться в этих тенях, и понял, что все они случайны и ненужны, кроме одной белой фигуры, появление которой устраняло все случайности и предназначалось только для него. Это была женщина, которая откроет лицо и взглянет, — и тогда все оправдывается и станет навсегда ясным. Она не скрывалась, она, напротив, появлялась чаще всех других, в непрерывном движении, и каждое ее движение было многозначным, подготовлявшим встречу и прочную, вечную их связь. Собственно, только теперь он был уверен, что есть любовь, которая переступит порог и войдет к нему. Было большое желание, но и не нужно было, и не хотелось спешить, потому что в минутах подготовки было неизмеримое очарование. Он закрывал глаза — все равно светлое пятно с движущейся белой фигурой оставалось перед ним, тихо тая, и можно было снова сделать его очертания более ясными, легким усилием приподняв веки. Так могло быть всегда, и никакого счета времени не рождалось в его представлении, в нем не было нужды. Но было ощущение полноты родившегося чувства, громадной благодарности судьбе за этот подарок, и он не сомневался, что это и есть любовь, никогда и никем до него не испытанная. Иногда, приподняв веки и взглядевшись, он узнавал что-то знакомое по прежнему миру — очертания дома с рядом темных окон, пробег экипажа и еще разные мелочи, необходимые, как дальний план, на котором сейчас возникает образ единственно важного. И вот из темноты, в рамке серого камня, из-под темно-красных фантастических занавесей, как будто отороченных горностаем, появлялась белая фигура, никогда целиком, а лишь быстрым поворотом головы, взмахом руки, намеком на образ, ему близкий и им любимый, мелькнувшим румянцем щеки, прядью золотистых волос, — и опять исчезала в тем-

ной волне или зачеркивалась иными, ненужными и случайными движениями окружающих, как бы защищавших ее лиц, световых бликов, вспыхивавших и гасших пятен. Не нужно ни имени, ни точного знания, — кто же она такая, что связало их тесно и навсегда? В его тяжком положении человека, быстро терявшего остаток жизненных сил, таких вопросов не могло и возникнуть; если мысль его и работала, то лишь по инерции, передав всю действительную силу чувству, которое не только не потерпело ущерба, но впервые и горело и светило так полно и ярко, без задержек, без сомнений, в полете свободном и вдохновенном, без напрасной спешки, наслаждаясь образами своего творчества. И если даже образ женщины исчезал на минуты или на часы (счета времени не было), это ничуть не нарушало блаженного состояния, потому что он все-таки был в прошлом и он все-таки будет. И правда, в награду за пропуск каких-то мгновений он появлялся с особой отчетливостью, и белая фигура, выйдя вся на свет, то взмахивала блестящим, то простирала обе руки вверх и снова исчезала в складках висевших декораций, темно-багровых пятен, горностаевых оторочек, бликов света, чуждых мельканий и ласкающей воображение путаницы живых черточек и зигзагов. Схваченная отраженьем улицы, она гасла с обещанием зажечься снова.

Несколько раз и она, и все оживленные тени того мира заслонялись тенями мира здешнего, холодными и безразличными, скользкими мимо зрения умирившего человека. Их он пропускал, не ощущая неприязни, просто не учитывая их чувством, которое единственно еще оставалось в нем живым, как не ощущал ни боли, ни тепла, ни холода, ничего, связанного с телом. Они были бессильны заслонить образ, запечатлевшийся теперь в нем самом, так что ему уже можно было не открывать глаз. И однако в какую-то минуту он не только открыл их охотнее и напряженнее обычного, в последний раз уловив светлый образ, но и не нашел воли и желания закрыть, — теперь это было ему безразлично. Его веки осторожно опустила подошедшая женщина в белом халате, не та, которую он видел в отражении наклоненного на стене стекла. Потом, уже в вечности, в комнату вошел доктор, и разговор был краток

и напрасно полушепотом, потому что эти живые люди знали, что на постеле лежит мертвый молодой человек, этим утром привезенный в больницу; после напрасной помощи, ему оказанной, он прожил только несколько часов, и солнце еще не село, в комнате было светло.

Его тело вынесли с привычной быстротой, несуетливо, незаметно и опрятно. Комната была прибрана в несколько минут, и мог явиться новый гость. Окно было оставлено отворенным, объявление под стеклом висело на стене, кровать была чиста, в комнату никто больше не входил. И никто не знал, что образы, осчастливившие живым мельканием угасавшие чувства молодого человека, который никогда прежде счастлив не был, продолжали свою игру, может быть, еще не зная об его уходе в темный мир. Время от времени там, где он видел, мелькали плечо или рука в белом платье, или румянец щеки, или фигура в движении, — затем она погружалась в тень, ее заслоняли другие видения, играли световые зайчики, чередовались полосы синеватого и темно-красного оттенка с белой оторочкой, проплывали в обе стороны отражения случайных людей. Все то, что рисовала ему фантазия, было отзвуком действительности, но существовало единственно для него; и оно не только осталось, но было готово остаться надолго, жить для другого, если его творец ушел так скоро и, уходя, не потушил игры света.

По мере того как день склонялся к вечеру, игра света блекла, и даже наиболее яркие тона становились темными; серые камни стен сливались с черным фоном, на котором умиравшему виделся образ его последней любви — неясный, в отрезках очертаний, но безошибочно предназначавшийся ему. Замедлились движения — вместе с замолкшим шумом улицы; уже не вспыхивали цветными огоньками бойкие зайчики. В окно повеяло холодком. В больнице было тихо, как всегда; еще не зажигали огня, и выздоравливавшие, которым разрешалось читать в постелях, могли это делать, не утомляя глаз. Скоро должны были смениться служащие — после обеденного часа, который приближался. Все было, как было всегда.

Когда на мостовую стали ложиться длинные тени; в окнах некоторых домов зажегся свет. В комнату, где

умер молодой человек, вошла дежурная сестра и подошла к окну, чтобы его запереть. На противоположной стороне улицы белая фигура здорового рыжеволосого мясника длинной палкой с крюком снимала с гвоздей мясные туши и убирала их внутрь лавки, зиявшей темной пастью. Мимо мясной лавки прошла женщина с покупками. Без гудков проехал по улице автомобиль. Дежурная сестра сблизила раздвижные жалюзи, шелкнула задвижкой, затем притворила створы окна, оставив щель для притока воздуха. Из комнаты она вышла неслышно, в мягких туфлях, какие к ночи надеваются служащими в больницах.

ГАЗЕТЧИК ФРАНСУА

За много лет жизни на левом берегу Сены, в сердце и предсердии латинского Парижа, в приличной отдаленности от буржуазного эмигрантского Пасси (где иные мерки довольства и нищеты, и наша студенческая скромность считается свалившимся на голову несчастьем, а оторвавшаяся пуговица — последним падением), в сердце Парижа старого, красивого, умного, не утратившего ни юмора, ни чувства человечности, еще живущего обычаями, еще чтущего живописность лица и наряда, умеющего радоваться и прощать, читающего книгу и искренно мнящего себя центром мировой культуры — за долгие годы любованья Сорбонной, Пантеоном, улицей Святого Якова, лотками букинистов на набережной, слиянием Бульмиша с Монпарнасом, прекрасными фонтанами Люксембурга, в плюще забвения чернеющими камнями Клюни, памятниками неведомых врачей и фармацевтов, юношами без шляп с книжкой под мышкой, потоком детей, извергающимся из подъезда старинного лицея, огромным рынком, вырастающим и исчезающим на широтах Пор-Руаяля, и еще этим, и еще тем, чего не перечислишь и с чем давно сжились мы в родственной связи, — за все эти года главным посредником между нами и остальным миром, главным нашим осведомителем о мировых сенсациях был белоглазый газетчик в зеленой тирольской шляпе и в широких штанах, кончающихся велосипедными защипками. Единственный из

всех нас он в постоянных сношениях с правящими кругами, действия и речи которых он сообщает за латунную монетку, с диктаторами соседних и отдаленных стран, с борющимися или на ладан дышащими демократиями, с винзорским герцогом, лионским мэром, смелыми летчиками и американскими штатами.

По утрам он продает нам вчерашний день — спокойно, без крика, в полном знании, что за ночь не могло произойти событий чрезвычайных. Ночью спит дипломатический мир, искра радио неохотно опоясывает землю, люди властные копят силы для предстоящих дневных действий. Ночью бодрствуют только воришки и взломщики несгораемых шкафов, но эти бытовые проделки не заслуживают надрыва газетной глотки. Сонный редактор правит материал сонного репортажа, ставя подержанный, никого не обманывающий заголовок. Идет привычная стряпня для провинции, и в большую тарелку сваливаются накопившиеся за день остатки столичного потребления. Добавлен передовой кирпич, подписанный членом Академии, спортивная сводка, анкета, для дамского употребления и сверху — уголовный роман. Утреннюю газету все равно купит каждый, спускающийся в метро и заносащий ногу на площадку автобуса; ею прикроет заботливая хозяйка цветную капусту и салат в своем клеенчатом базарном мешке. Утром ничего не бывает, события рождаются днем в часы завтрака, обеда и вечернего выхода в кафе и театры.

Первые настоящие события рождаются в полдень — тирольская шляпа плотнее надвигается на лоб, шаг делается скорым, обращение с клиентами несколько небрежнее, механика движений упрощается и делается отчетливой. Хотя районы действий более или менее поделены, но необходима спешка, и Франсуа (я забыл назвать его раньше по имени) легким ветром врывается в одну дверь углового кафе и вылетает в другую, успев на улице своей быстротой внушить нескольким прохожим опасение отстать от хода мировых событий. Но в этот час он еще может задержаться со сдачей, перекинуться словом с гарсоном и даже поддержать в себе энергию аперитивом. Быстрота, но не буря. Кипа газет на левой руке тончает равномерно с обеих сторон — и со стороны «Независимого», и со стороны «Парижского Полудня». Перекидывание этой

кипы сообразно вкусам и требованиям есть образец профессиональной ловкости. С тем же искусством путешествует горстка мелкой монеты из кармана на ладонь и обратно. В общем, ничего особенного пока не случилось: вкушающим пищу и ее переваривающим особенных ощущений не нужно.

Теперь передышка до вечернего часа, до выхода газет тяжелых и экстренного выпуска легких и бойких. Где это время проводит Франсуа? Судя по зашипкам панталон, он где-то оставляет велосипед, и неудивительно, если часы отдыха он проводит в семье, завтракает, спит, готовится к вечерней работе. Но я должен сказать, что как-то не вижу его семьянином, и не идет это к кварталу богемы. И вообще в этот час передышки всего естественнее поговорить о Франсуа как о носителе определенной идеи, как об источнике наших политических и всяких иных откровений, о возбудителе и проводнике действительности нашей воли. Без него мы все давно бы заснули! Но он с утра подымает на ноги наш Латинский квартал, самовлюбленный и уверенный в своей исключительности, будоражит его, напоминает ему о существовании других кварталов и миров, о женщине, разрезанной на куски, о на куски распавшихся странах, о средневековом процессе ведьм, сознавшихся в колдовстве, об испанских душах под развалинами Мадрида, о многозначительных речах, за которыми последуют многозначительные события, о людях, сковырнувшихся с неба, и борзых, первыми не догнавших заводного зайца, о побежденном раке и новой форме гриппа, о седьмом браке голливудской бездарности и последних словах скончавшегося престарелого финансового мошенника. Он, Франсуа, не дает нам замкнуться в наших раковинах. Едва передохнув, он бежит по улицам, высунув язык, слегка волоча ревматическую ногу, на лоб сдвинув тирольскую шляпу и выкрикивая названия газет и перечень важнейших событий.

В вечерний час он представляется мне вместилищем политических страстей и гением войны. Мне кажется, что в его груди бушуют противоречия, в голове с треском рвутся стратегические карты, изо рта вылетают смертоносные снаряды. Охрипший его голос ни на минуту не замолкает, шея налита кровью, движения

судорожны, и безгранично его презрение к монете, которую он сует в карман или извлекает для сдачи. Он — смерч в пустыне, готовый опрокинуть и засыпать караван уличных прохожих; он — пророк, бичующий равнодушных. Возбужденный возбудитель, он в этот час превращает в сенсацию жужжанье газетной мухи, из которой делает слона без всякой корысти, лишь потому, что каждый день должен иметь свою злобу, иначе мы заснем, и жизнь покатится обратно на несмазанных колесиках обывательского равнодушия. И вот, давно уже чуждаясь политики, невольно протягивают руку с монетой, и пальцы салит типографская краска. Франсуа обманул и на этот раз: мир не перекувырнулся, огненный дождь над ним не пролился, прошлое не испепелено, будущее остается смутным. Хриплый возглас Франсуа отдаляется, унося тревогу минуты, все же оставившую в воображении раздражающую царапину, а в памяти дикий взгляд белесых глаз газетчика Латинского квартала.

Засовывая в карман газету, уже потерявшую свежесть и свернутую внутрь заголовком (американцы швыряют ее на улице, а мы зачем-то уносим домой с мелкобуржуазной бережливостью), — я опять мысленно возвращаюсь к загадке: как может Франсуа, так пылая ежедневно за себя и за нас, постоянно воздвигая, защищая и низвергая баррикады, вызывая и убивая призрак гибели мира, — сам не сгорать и возрождаться из пепла белоглазым фениксом в тирольской шляпе? Где-то в кармане широких штанов, висящих сзади мешком, у него припрятано противоядие, какая-то тайна известна этому носителю вечной тревоги!

В тихий час пищеваренья, когда бегу времени мешают детские колясочки, мы с вами идем погулять в Люксембургский сад — великий памятник любви старой Франции к простору, ее презрения к экономии воздуха; другой такой памятник — площадь Согласия. Круглый бассейн Люксембурга — настоящее детское озеро, аллеи — улицы, зеленый газон — излюбленные залы танцующих сатиров. В удаленной части есть обширная, как все в саду обширно, крокетная площадка, где играют не дети, а седобородые дородные старцы,

какой-то старинный клуб любителей невиннейшего спорта. И публика — старики, тончайшие ценители ловкого удара молотком по полосатому шару. На их лицах то же выражение, как и на личиках детей, пускающих в воду бассейна оперенные парусом или механические кораблики. Покой, отдых, ни войны, ни политики. Мы, конечно, побываем (чтобы взглянуть и вздохнуть) у изумительного фонтана, где огромный циклопический мужик ревниво наблюдает белоснежную Любовь, окруженную живыми голубями, прилетающими поплескаться и напиться чистой воды. Палые листья в воде, наслаждающиеся водной прохладой рыбы, никогда не выдавшие предательского крючка, живущие в безопасности и довольстве. Пройдем и туда, где одеревенелыми головами будущие граждане Франции подбрасывают похожие на их головы кожаные шары и где матери и няньки вяжут бесконечную нить судьбы играющих песком поколений. Улица рядом, быстро меняющий лицо знаменитый Бульмиш, — но шум улицы тушется деревьями, даже безлистыми. И тут, неподалеку от входа в сад, в малопроезжей аллее, мы видим скромную, втянувшую голову в плечи мужскую фигуру в тирольской шляпе, занятую делом Франциска Ассизского, — кормящую птиц крохами белого насущного хлеба.

Франсуа невозможно сразу признать, и даже его белесые глаза потемнели и поголубели. Он стоит неподвижно посередине аллейки, механическими движениями вынимая хлеб из-за пазухи, а перед ним физкультурным строем расположились на песке воробьи и голуби. Человек и птицы взаимно притягиваются; птицы насторожены, но доверяют старому знакомому, газетчику Латинского квартала. Едва заметным движением руки он подбрасывает крошку хлеба над стайкой; очередной воробей подпрыгивает и ловит крошку на лету, уступая свое место на песке другому. Видно, что у птиц установлена какая-то непонятная нам очередь — нет ни паники, ни налета стайкой. Затем рука, бросающая хлеб, замирает и легонько опускается ниже. Тогда из центра стайки вылетает очередной смельчак, трепещет крыльшками и со всей осторожностью хватает хлебную крошку прямо из пальцев Франсуа; вслед за ним другой, третий, — сейчас же отлетая в сторону и уступая место следующему. Франсуа извлекает из-за пазухи

кусочек покрупнее и подымает руку выше. Тогда из заднего ряда птичьего строя вылетает голубь и повторяет тот же опыт. Когда человек выпрямляется,— вся стайка птиц, как по команде, слегка отходит и строит ряды заново; когда человек принижается к земле, делаясь маленьким и нестрашным, весь ряд приближается к нему прежним чутко-напряженным строем.

Бережным шагом, избегая резких движений, боковыми дорожками подкрадываются зрители и окружают широким кольцом стайку птиц и их кормильца. Сейчас в Париже — это самая мирная и самая идиллическая картина, и художник, ее создавший,— тот самый Франсуа, который часом позже будет терзать наши уши истерическим криком, призывая нас на бой с ветряными мельницами и на борьбу с действительно грозящими нашему мирному быту обвалами, атаками с неба, вспышками внутри нас нечеловеческих чувств и разрывами усталых сердец. На латунные наши монетки — оплату сенсаций — он купил в булочной хлеба для мирных коренных жителей Люксембургской птичьей республики. Он не смотрит по сторонам — его глаза устремлены на любимцев, которых он, может быть, знает по именам. У него немножко дрожат руки, то ли от волнения, то ли от зимнего холода, а может быть, от вина, которым он вынужден часто согреваться во всех быстро квартала, где он — свой человек. Во всяком случае, это совсем, совсем не тот, не уличный крикун и не агент мировой тревоги. И мы, налюбовавшись, отходим на цыпочках.

Опять улица, номера автобусов, переход сквозь строй блестящих полустертых лепешек, первая световая вывеска, зимние слезы с неба, стрелки часов, повсюду указывающих разное время, ослепительность скользящих за стеклами черных и коричневых туфелек, оглобли белого хлеба, стило среди конвертов и бумаги, стоны радио, красная табачная сигара над головами, патентованные снадобья, ящики с книгами за франк и за два, кружевные венки для скончавшихся тетушек, ободранные трупы и красные креветки, элегантные пальто на деревянных людях с синими полуетесанными мордами, оторванная дамская нога в чулке, выставка потерявших головы шляп.

И когда наконец вы готовы повернуть в ваш переулок, вас нагоняет издали донесшийся вопль безумного человека в тирольской шляпе, несущего достовернейшие вести о новых мировых катастрофах, о том, что покоя на земле нет и не будет, что не дремлет враг и неустанно стережет вас предатель и что обо всем этом вы узнаете, если, остановившись и подождав бурей налетевшего Франсуа, вы сунете ему латунную монету. Птицы улетели, заперты входы в Люксембургский покой, и скоро весь Париж запылает зелеными и красными мигающими огнями.

ПУСТОЙ, НО ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

Молодой человек в совершенно новом пальто и желтых перчатках сидел в вагоне метро. Он недавно приехал из России и скоро возвращался. Пальто купил в «Бэль-Жардиньер», перчатки на Капуцинском бульваре. Быть в Европе очень приятно, особенно в Париже, хотя жизнь настоящая не здесь, а дома, в России. Мудреная жизнь, но своя. Приятно будет и вспомнить, как жил в Европе; может быть, еще как-нибудь удастся побывать. И любопытно, как невольно поддаешься культуре, приучаешься держаться и вести себя по-европейски! В числе прочего, молодой человек знал, что европейцы носят перчатки на обеих руках и уступают место дамам.

Вообще знал, но частности иногда ускальзывали. Что значит, например, дамам? А девушка-подросток, например, тоже дама — уступать ей? Нужно, чтобы не вышло смешным: европеец не должен быть смешным. Так как другие (настоящие европейцы, французы) девочкам места не уступали, то не уступал и молодой человек, фамилия которого была Коняев Григорий Васильевич. Пожилым же дамам непременно уступал, даме с ребенком — обязательно, быстрее обычного вскакивая и касаясь шляпы. И еще уступал тем дамам, которым как-то невольно уступишь: заметным дамам, интересным, и тем, которые смотрят вопросительно. Но все-таки твердых правил на этот счет нет; и сами французы как-то неотчетливо поступают.

Рядом с молодым человеком сидел плотный и по-

чтенный француз с красной розеткой: орден Почетного легиона. Коняев, косясь на красную пуговку, думал: «Как странно, что красная. У нас было бы понятно, даже как-то обязательно. Но вот и у них тоже красная».

Коняев не был коммунистом. Просто был способным молодым человеком, спецом по технической части. Приехал по командировке — для изучения чего-то вроде электрификации и для закупки книг по специальности.

И вот вошла в вагон старуха, но не дама, а вроде консьержки, без шляпы, с прической, на которой может держаться и бельевая корзина. Одета чисто, но все-таки не дама. И очень пожилая. И молодой человек, который за собой очень следил, смутился.

Потому что неизвестно — как быть? С одной стороны, дама или простая женщина — какая же разница, а уж тем более с нашей точки зрения, для гражданина страны, где, принципиально рассуждая, барство отменено. Что другое у нас плохо, а это, во всяком случае, хорошо. Эта демократичность у нас действительно чувствуется, вошла в жизнь. Значит... да... но с другой стороны, здесь свои обычаи... как бы не вышло демонстрации. И вообще — уступают ли французы в метро место консьержкам? Приходится применяться к чужим обычаям, и европеец не должен быть смешным.

Решить нужно было быстро, а решить трудно. И раз не встал сразу — как-то уж и странно вставать, точно думал — и наконец надумал.

И молодой человек спасовал: опустил голову, как будто не видит, что перед ним стоит старая женщина.

Тогда случилось следующее: кавалер ордена Почетного легиона встал, приподнял котелок и сказал обычное в таких случаях:

— Вуле ву, мадам...

И так решительно сделал это, что старушка забормотала: «Мерси, мосье, мерси» — и села рядом с проезжим из России спецом Коняевым Григорием Васильевичем, молодым человеком в желтых перчатках.

И хлынуло в душу молодого человека ощущение провала, гибели. Сначала смущенье, острый стыд, а потом сейчас же ненависть родилась в душе его.

Стыд родился потому, что именно он, русский, из страны, где плохого много, но действительно этих дурных сторон, этого барства нет, потому что жизнь

как-то всех сравнивала, перестали обращать внимание на одежду,— и вот именно он и унизил себя, мужества не хватило, не уступил места старой простой женщине, испугался, что сделает смешное с их европейской точки зрения. Стыдно это! Ненависть же родилась потому, что стыд был непереносим. Иначе как ненавистью его не зальешь.

И прежде всего — ненависть к проклятому господину с орденской ленточкой. Потом сейчас же и ко всей Европе. Сразу радость померкла и захотелось домой, в Москву. Чужая страна, и люди кругом сидят чужие, и смотрят на него без улыбки, упорно,— что вот он, молодой человек, не встал, а пожилой и почтенный, кавалер ордена, тот встал, уступил. И сидят кругом действительно женщины, а мужчины стоят.

Ужасно на душе стало гадко.

Все в ней, в Европе, ложь и условность. Подчеркивают свою воспитанность. И наверное, этот господин все равно на первой станции выходит. И гадость эту сделал по дешевому тарифу.

Но господин не вышел, а прислонился к двери и продолжал читать газету. И еще холоднее стало на сердце у Коняева Григория Васильевича, приезжего из России спеца по электрификации. Под желтыми перчатками стало потно, и царапало шею новое пальто от «Бэль-Жардиньер». Вообще все стало противным.

И так захотелось: вот бы подрались французы в вагоне или кто-нибудь наплевал на пол!

Черт же на ухо шептал: «Эх ты, хам невоспитанный, азиат. Для старушки себя пожалел. А француз, буржуй, и уже пожилой, да еще с красной розеткой — просто встал и уступил. Теперь стоит и на тебя смотрит. И все на тебя смотрят, думают: вероятно, из России приехал такой невежа невоспитанный, не европеец. Все, что угодно,— а не европеец».

Очень, очень скверно было на душе Коняева Григория Васильевича, спеца.

Из-за такого, в сущности, пустяка, а так скверно, что невыносимо! Встал и на первой станции вышел. Станция была «Энвалид», а ему нужно, собственно, ехать до «Опера». Но не мог — так мерзко было на душе!

В России он был простым гражданином, не коммунистом, и к Европе он хорошо относился, мечтал о ней — вот и приехал. И чувствовал себя приятно

здесь — до этого случая. А вот теперь шел по улице и всех ненавидел: «Черт бы вас всех... Сплошное лицемерие... Все напоказ...»

Если бы пол-Парижа провалилось или бы революция случилась, — обрадовался бы сейчас этому Коняев Григорий Васильевич из Москвы.

Черт же продолжал ему шептать: «Оттого и злишься, что хам невоспитанный. Надел желтые перчатки и думаешь: европеец. Этого мало: перчатки да что на пол не плюешь. Вот и злишься. Оскандалился и злишься!» Очень гадко было на душе Коняева. Зашел в бар, выпил бокал пива — пиво дрянь, и все смотрят. Черт бы их всех...

Когда вернулся он в отель, приличный и скромный, то снял пальто, швырнул на пол желтые перчатки, сел в кресло, — ну, просто захотелось ему плакать или застрелиться, — а ведь, в сущности, из-за такой ерунды! И был испорчен весь день. А день был солнечный, и уже мало дней оставалось на Париж.

Вечером писал письмо в Россию, жене. Вот из письма отрывок: «Знаешь, я что-то очень заскучал по России, даже раздумал хлопотать о продлении визы. И удобно тут, и покойно, и интересно, а не могу, не лежит душа. Чувствуется ложь какая-то, показная добродетель, внешнее все. Давит меня это. Пусть тут все тонко и вылощено, — но чуждо нам, Манечка, душа тоскует по родной грубости и грязи. Нет, право. Холодно тут и как-то одиноко, что ли...»

Был Григорий Васильевич Коняев человек в общем прямодушный и честный. И потому дальше написал:

«А впрочем, сам не знаю точно, что со мной. Просто — соскучился и на душе дрянно. Чужая хорошая жизнь раздражает. Злюсь на всех и на все. Нет, мы не европейцы, — может быть, это и хорошо; а может быть, и скверно. Вообще чувствую, что не засижусь. Ну ее, Европу, — дома лучше».

Потом лег спать под чистую холодную простыню, свет погасил. А не спится. Начнет дремать — и опять мысль на то же возвращается, на эту чепуху, что вышла в вагоне. Сам себя видит, что вот — привстал, снял перед старушкой шляпу, уступил место... И так было бы на душе хорошо. Если бы тот господин, с красной розеткой, не встал раньше, может быть, все-таки... И болезненно морщился Коняев, спец, натягивая простыню до самого носа. Не спится...

Пробовал думать о равноправии женщин, то есть о том, что в России женщину уважают, как всякого другого, и дело не в расшаркивании. Пробовал говорить себе: «Да ну, стоит из-за такой дребедени...» А дребедень все не выходит из головы. И это очень мучительно. И опять злость подступила: вот бы этому французу с розеткой в морду бы... кто-нибудь заехал. И стало бы ему, Коняеву Григорию Васильевичу, сразу легче. Ужасно гадкое состояние.

Потом все же заснул. Наутро полегчало: вспомнил, но без прежней остроты.

Больше в вагонах метро не садился, а на ногах ездил, даже если далеко. Как бы из гордости.

А когда уехал в Россию,— увез с собой осадок обиды какой-то.

Кажется — пустяк, вздор, а вот как мучился человек из-за этого.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

О любви написано так много, что, пожалуй, ничего нового не скажешь. Но так как про нее пишут обычно гадости оттенка собачьего, и это считается особенно важным и занимательным, то остается область менее исследованная, а именно любовная простота и беззаветность, когда самого себя человек берет за скобку и больше не видит, а весь мир, и вся радость, и вся красота, и все благородство воплощается в другом человеке, который стоит перед ним денно и ночью, в необыкновенном сиянии, лучезарный без пятнышка, милый до сладости и душевного таянья, всех на свете лучше и единственно необходимый и во всех поступках оправданный и святой, так что хочется зажечь перед ним лампадку и бить земные поклоны. Эта влюбленность и это обожествление выше той любви, когда «она» будто бы потеряла сознание, а «он», надрываясь от тяжести, тащит ее через две комнаты в третью, после чего им на некоторое время становится скучно и нечего делать; и уж второй раз он ее не потащит, только для первого раза старался, и идет она просто своими ногами, а он за ней, неспешно докуривая папиросу,— так что и любовь сразу идет на ущерб. Такая

любовь обычно изображается в романах, иногда занято, с разными еще подробностями, и чем их больше, тем и роман считается лучше. Кончается же тем, что ее тащит уже другой, а первый хоть для виду и обижается, но на самом деле думает: «Слава тебе, Господи, а я пойду любить в другом месте или просто отдохну».

Нет, совсем не так полюбил и любил мой герой, может быть, потому, что был человеком на возрасте, сорок с лишним или все пятьдесят, основательным, устроенным, отнюдь не лысым, с небольшой бородой, высшим образованием, отличным аппетитом, независимым положением, серыми глазами и неистраченным сердцем. Рост несколько ниже среднего, походка устойчивая, пальцы короткие с припухлостями, лицо, совесть и белье чистые, пиджак темно-серый, в едва намеченную клетку синеватых нитей, в одном кармане бумажник, в другом документы, носовой платок с меткой гладью, зубы ровные, крайних коренных нет, но выпали не сами, а извлечены зубным врачом, очень хорошим, принимающим только по записи, телефон Дантон тридцать два zero семь; да еще находишься к нему, так как, поковыряв минут десять, просит прийти через два дня и записывает в большой книге, делая на личной карточке, на изображенной в ней челюсти, пометку — где и что сегодня ковырял. Перед тем как жениться, описываемый мною герой привел зубы в полный порядок, обновил гардероб, добавив теплый костюм домашний, лаковые башмаки, две пижамы, двенадцать отложных воротничков с длинными кончиками, галстуков четыре длинных и один для смокинга, голубых кальсон шесть, шелковых рубашек три, мохнатых полотенец столько-то; носки со стрелкой и без стрелки и все прочее, в чем был недостаток. И три новые шляпы: котелок, мягкая и кепка для поездок, — и так он уехал из мира холостого в мир семейного счастья и разделенной любви.

Перечень предметов сделан нами умышленно, как бы в легкую насмешку над вот каким буржуем: все у него в порядке и все предусмотрено. Это чтобы отметить, каким человек был раньше, до встречи и совместной жизни с женщиной, которую он полюбил так, как редко кому может присниться. В этом и весь рассказ, в силе любви, событий же никаких и не будет. Такая любовь сама по себе событие, к которому прибавлять нечего.

Она, его жена, ничем особенным, говоря по совести, не выделялась из среды живых существ. Была молода, что, конечно, очень хорошо, наилучшее качество женщины. Красива — не знаю, но ничего себе. В ней была та физическая приятность женщины, когда сразу видно: если ее нечаянно заденешь, то не ушибешься и не уколешься, а даже хорошо; так ласков бывает к шарам борт хорошего биллиарда; так скачут плоские камушки по гладкой воде; так цирковой гимнаст падает в предохраняющую сетку. Приятно было в ней и то, что, совсем не будучи душой, она была чувствительно-глупенькой, и носик ее был приподнят и притуплен, видимо — теплый, как у проснувшейся собачки, перед тем спавшей калачиком, мордочкой в собственную печурку; и тогда у собачки это уже не признак нездоровья, а, наоборот, совершенного благополучия: вертит хвостиком и томно улыбается. И руки у нее были не из тех маленьких и худосочных, как у кенгуру, какими восхищаются поэты и прочие безвкусные люди, а руки настоящие, по большому росту, в меру сильные, способные к обмену пожатий, и все-таки женские. Вообще, без лишних духовных очарований, она была настоящей женщиной, с белыми ровными зубами, крутыми подъемами и безопасными спусками, летом похожей на яблоню, весной на березу, осенью на клен, зимой на елку, во всякое время года — на сезонный овощ; опускается этакий крепкий кочанок цветной капусты в воду, варится сколько надо, и потом — с маслом и мелко поджаренными сухарями, предварительно пропустив одну-две с легкой и не слишком соленой закуской. Иных же, более возвышенных, впечатлений она не производила.

И вот, когда он ее встретил и потом на ней женился, — внезапно произошел в рядовом, земном и пожившем человеке изумительный переворот, который может создать только большая и настоящая любовь.

Человек совершенно преобразился, как бы приподнялся на цыпочки. Стала легкой его походка, волосы приобрели блеск, брови загнулись дугами повыше и застыли в радостном удивлении. И хотя он был ниже ее ростом, но стал казаться как бы футляром, в который на обитое бархатом ложе укладывается, все впадины точно заполняя, серебряная золоченая ложка с монограммой, семейная драгоценность. Или как если бы

отличный и солидный кожаный с тиснением переплет обнял и не выпускает из объятий новоизданную занимательную книгу с золотым обрезом — приятно развернуть, причем листы в обрезе еще слипаются, и опять ревниво захлопнуть, то подержать перед собой на столе, то поставить на полку и любоваться хорошо оттиснутыми буквами на корешке и выпуклостями, прикрывающими шпивку, ощущая эту книгу собственной и любимой. Или погрузить зубы в свежее и сочное яблоко и держать, не сразу откусывая и наслаждаясь ароматным холодком и предвкушая легкий хруст белоснежного откола, внутри же ни единой червоточины, а только в блестящих чешуйчатых кроватках молочные зернышки, которые можно, тоже раскусив, проглотить с великим удовольствием, и так съедать по яблочку каждое утро и каждый вечер, никогда не пресыщаясь, но чувствуя нарастающее здоровье и постоянную свежесть во рту. Но, конечно, никаким уподоблением не передашь человеческого полного счастья от необычайной удачи жизненного шага, столь важного и ответственного.

Что такое любовь? Любовь — это когда любимый чихает в соседней комнате, и вся квартира, весь дом, вся страна и весь мир наполняются музыкой, из-за облаков выходит солнце, птицы голосят неугомонно, журчат ручейки, все кругом заляпано необыкновенными цветами, рот от улыбки растягивается до висков и хочется повизгивать от накатившего волною счастья. Любовь — это шутивно прокатившийся мимо блестящий шарик, за которым нужно гнаться, забыв и о возрасте, и о солидности, и о брюшке, и о мозоли, детски хихикая, спотыкаясь, прыгая через клумбу, через куст, через речку и Эйфелеву башню, умоляя шарик немножко обождать, чтобы наконец, догнав его, броситься на него всем телом, а он выскользнул, щелкнул по носу и уже катится дальше, вертясь и сверкая, дразня и заманивая к черту на кулички, в страну неугасимых желаний. Любовь — это свежеструганная палочка, стопа чистой бумаги, свистулька из вишневой ветки, сотовый мед, венецианская стекляшка, выдутая на острове Бурано, свет через прорезанное в ставне сердечко, вскрывшийся в апреле лед на рыбной реке, корректура первой книги, шкурка черно-бурой лисицы, отчаянный «морской житель» на былом московском вербном

рынке, в потолок хлопнувшая пробка, звон бубенчика или детский барабан. И еще любовь — это волны дыхания, сжатые плечи, мурашки по коже, приливотлив, низким облаком отраженный колокольный звон. И наконец любовь — это ты и я или даже только ты, всех прочих — долой, — и опускается железный занавес шелковым покровом.

Именно так он и полюбил, с головы до ног омытый, выскобленный, обновленный мочалкой влюбленности, скребком любви, зубилом и напильником необычайных открытий. Мир, в котором раньше было только несколько знакомых улочек с рестораном, мясной, зеленой лавочкой, со службой, театром и газетным киоском, а люди ходили надоело знакомые, достоинством на три с плюсом, — вдруг этот мир осветился и наполнился висячими садами и приветливыми рожами, поющими осанну той, которая в центре и от которой многоцветным бисером во все стороны идет неистовое сияние. Она идет, покачиваясь, с венчиком на голове, — и ряды старых и новых домов расступаются, почтительно склоняя крыши и давая ей широкую дорогу. Она взглянула — и тучи светлых елочных ангелочков облепляют глаза, шеберстят в волосах крылышками, шабаршат в карманах, как заобойные тараканы, шебалшат в уши свои разные ангельские благоглупости, розовыми культияпками хлюпают по губам, весело тюрюкая и тюлюлюкая певучие радости. Она заговорила — и сто пчел в куполе цветущей липы перекликаются с арфой, по струнам которой скачут кузнечики, кобылки, коньки и пружики, пел бы и соловей, да он днем молчит. Может быть, и нет в ее словах никакого такого и этакоего смысла, ни Сократа, ни Платона, ни даже Владимира Соловьева, а просто о том, куда мы пойдём в воскресенье, и еще что-нибудь съестное, но звук милый из милых губ со знакомыми уголками, вместе грешили и не каемся, и уж ты говори не говори, дело не в том, и не это самое главное, под бровями глаза, в глазах дневная заслоночка, а что за ней, то никого не касается, а слова только для обычая, как для обычая застегивается ненужная пуговка и ходим мы на задних ногах. Кто понимает — его счастье, а беспонятному этого, конечно, не втолкуешь.

И даже если он ошибался, — такую ошибку можно любому пожелать. Я забыл прибавить, что любовь,

это — когда человек рисует с натуры, и рисует он телеграфный столб, на столбе галка, а на бумаге райская птица в Семирамидином саду кушает миндаль. И надоел райской птице художник даже до чрезвычайности, и миндалем она обжелась, и хочется ей чего-нибудь менее торжественного и поновее, и ищет ее куриный мозг положительных знаний. Ему же, пишущему всякое слово с прописной буквы, даже эти ее коварные поиски кажутся откровением и сладкой пастиллой: будь счастлив твой каждый шаг, и каждая твоя улыбка, даже в сторону, будь благословенна! Потому что любовь — это крепкая вера, священное писание, незыблемый и нетленный гранит, уровень и отвес, в гимназические годы осиянно воспринятая тригонометрия, в которой ошибки не бывает.

И так человек из серенькой нашей жизни выгадал и выкроил два ярких и полновесных года, в каждом году сто лет. Большим шестигранным карандашом зачеркнул в бухгалтерии своей молодости скучные цифришки случайных и банальных увлечений, попытки карабкаться на скользкий столб с призовым подарком наверху, и проигрышные дни забот о житейском благополучии, и кожаное кресло солидного одиночества, и вообще все, что предшествовало его неожиданному последнему шагу, сдаче в сладкий плен удвоенного бытия. И, нужно сказать, он действительно выиграл, и не на мелок, а в звонкой монете, которую не копил, а тратил щедрой и счастливой рукой. Будь благословенна доверчивая любовь, солнцем опаляющая зренья, тканой парчой закрывающая нищенские лохмотья, утюгом разглаживающая морщины, в говор струн превращающая шипенье змеи!

Осанна!

Когда же он узнал, — горе тебе, усмешка друзей и проклятый теткин язык! — почему и куда, озабоченно захватив сумочку и меж двух бровей, бровей столь любимых, пристроив складочку хлопотливого неудовольствия, уходит дважды в неделю в половине пятого, — когда он узнал это внезапно, решительно и точно, — ухнуло дальнобойное орудие, с горы скатился обломок скалы, лопнула оболочка распухшего, от любви глянцевого сердца, и он умер, не успев сложить руки крестиком и пристроить на лбу обычаем установленный венчик. И он лежал, крестом прилипнув к зем-

ле, пока прилетевший из неподалеку ангел, пощупав пульс, не записал его номерок, прибавив на полях расчетной книжки:

«Вот что такое любовь!»



ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК

Впервые: *Современные записки*. 1935. № 58, 59, 61; *Последние новости*. 1935. № 5345. 11 ноября.

Печатается по кн.: **Осоргин Мих.** *Вольный каменщик: Повесть*. Париж, 1937. 258 с.

С. 16. *Иштар* — богиня плодородия и плотской любви, но одновременно и войны в аккадской (вавилано-ассирийской) мифологии. Мифы об Иштар частично изложены в эпосе о Гильгамеше.

Затем приходят чехословаки... — Здесь и далее М. А. Осоргин имеет в виду вооруженное выступление сорокапятитысячного чехословацкого корпуса в России, состоявшего из бывших военнопленных. Оно повлекло за собой свержение советской власти в 1918 г. в восточных районах России.

С. 18. *На камине обже-д-ары*, см. также с. 99, *каминные обжедары* — (от фр. *objets d'art* предмет искусства) — мелкие украшения.

...классики в издании Ладыжникова... — Ладыжников Иван Павлович (1874—1945) — издательский работник; друг М. Горького. В 1905 г. по поручению ЦК РСДРП организовал в Женеве издательство «Демос», в том же году оно было перенесено в Берлин и стало называться «Издательством И. П. Ладыжникова». Осоргин имеет в виду издания, которые выходили с 1914 г. в частном издательстве в Берлине. Оно носило старое название, но к И. П. Ладыжникову отношения не имело.

Алданов (настоящая фамилия — Ландау Марк Александрович; 1889—1957) — русский писатель.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933) — русский писатель, библиограф, библиофил. С августа 1917 г. в эмиграции. Автор исторических романов о средневековье.

...малый словарь Ларусса — речь идет об однотомном энциклопедическом словаре, так называемом «Малом Ларуссе». Он ежегодно издавался с 1906 г. фирмой «Ларусс», названной по имени парижского педагога и основателя компании П. Ларусса (1817—1875).

...в него входят и министры, и маленькие служащие, все — как братья... — Брат — традиционное обращение вольных каменщиков друг к другу.

С. 19. *Там будет обед.* — Обычно заседания масонских лож завершались так называемыми столовыми ложами, во время которых произносились масонские тосты и речи.

Богиня Иштар, дочь Сина... — В аккадской мифологии Иштар являлась дочерью Ана, а не Сина.

...я доложу о твоём приходе царице Алату! — Владычицей подземного царства в шумеро-аккадской мифологии была Эрешкигаль, а не царица Алату. Легенда, излагаемая Осоргиным, — один из примеров мифотворчества писателей XX века.

— *Это Иштар, твоя сестра.* — У Иштар не было сестры Алату.

С. 20. *Ждать пришлось долго.* — Здесь и далее Осоргин описывает

масонский обряд посвящения в ложу. Он совершался в полумраке. Чаще в ложе помещался не скелет, а череп с двумя скрещенными костями. Надпись на нем обычно гласила «Memento mori» (лат. «Помни о смерти»).

...в белот сыграем... — Белот (фр. *belote*) — французская популярная карточная игра.

— *А ты на агапу не останешься?* — Агапой в масонстве называлась «трапеза любви», которая проводилась в воспоминание о Тайной вечере. Обычно раз в месяц происходили торжественные собрания, после которых устраивался общий обед — агапа.

— *Написали?* — *Написал, да не знаю, правильно ли.* — Перед приемом в ложу писалась краткая анкета с данными о себе и ответом на вопрос о побудительных причинах вступления в Орден вольных каменщиков.

С. 21. *Его вели под руку...* — Осоргин описывает «путешествие» будущего масона, которое символизировало трудность постижения истины и сложность пути познания.

С. 22. ...француз с лентой через плечо... — См. примеч. к с. 69.

...стал учеником и неотесанным камнем — то есть стал посвященным в первую масонскую степень. Неотесанный камень — традиционное название новых членов ложи.

...изучал иностранные языки (...) по Туссену и Лангеншайту... — Имеются в виду самоучители иностранных языков, составленные Д. Н. Сеславинным и А. П. Редкиным по методике Шарля Туссэна (ум. 1877) и Густава Лангеншейда (1832—1895), которые издавались в Петербурге в 1886—1905 гг.

...пожал ему руку по-особенному. — В масонстве существовали особые прикосновения при рукопожатии, по которым братья узнавали друг друга.

С. 24. ...председатель провозгласил сразу несколько тостов... — Имеется в виду провозглашение тостов в столовой ложе после окончания масонских работ.

...оратор ложи — особая должность в масонской ложе, человек, произносящий речи в мастерской. М. А. Осоргин был оратором в ложе Северной Звезды в Париже.

...Егора Егоровича усадили на особый стул. — Отличие стула состояло в том, что он был украшен символическими изображениями или резьбой.

С. 25. ...ему аплодировали и жали руку. — В масонстве было принято встречать речи собратьев троекратным рукоплесканием.

...соединял их архитравом... — Архитрав — архитектурная деталь, которую поддерживают колонны.

...Гермием Трижды Величайшим, сыном Озириса и Изиды, открывшим все науки? — На с. 189 Осоргин называет Гермия Гермесом. Гермий, иначе Гермес Трисмегист (Трижды Великий) — вымышленный создатель теософского учения герметизма (тайного знания), изложенного в текстах египетско-греческого происхождения («Герметических книгах»), получивших распространение в III—IV веках. Образ Гермеса Трисмегиста широко распространен в литературе начала XX века.

С. 26. «Изумрудные таблицы Гермия» — книга, в которой, по легенде, было собрано тайное учение Гермеса Трисмегиста.

...Феофраст Парацельс Бомбаст Гогенгейм... — Осоргин сливает псевдоним Парацельс и имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493—1541). Речь идет о выдающемся немецком враче

и естествоиспытателе, с которым связаны фантастические предания, ставшие одним из источников легенды о докторе Фаусте.

...*фам-де-менаж* (фр. *femme de ménage*) — приходящая домашняя работница.

...*Великий Алхимик*...— Именно так масоны нередко называли Парацельса.

...*подбавляет меркурия*...— В алхимии меркурием называли ртуть.

С. 27.— *Бон. Порте*.— Хорошо. Подавайте (фр.).

...*по вторникам Егор Егорович уходит путаться со своими масонами*.— Заседания масонских лож обычно проводились раз в неделю в установленный день.

С. 28. ...*стакану мандарен-кюрасо* (фр. *mandarin — cachaço*) — мандариновый ликер.

...*ведический бог Индра* — в древнеиндийской мифологии бог грома и молнии, глава богов, центральный персонаж древнеиндийских Вед. См. примеч. к с. 44.

С. 33. ...*постучал в дверь трижды с равными промежутками* — то есть особым стуком, которым пользовались в ложе вольные каменщики.

С. 36. ...*кишжку автобусных тикеток* (фр. *ticette*) — билетов.

С. 37. ...*дактило* — машинистка.

С. 38. ...*стучит молоток*...— Этот масонский символ указывал вольным каменщикам на необходимость работы над неровностями «дикого камня» (души). Молоток символизировал также душевное равновесие и отрешенность от всего суетного. В ложе молотки были у мастера стула (председателя ложи) и двух надзирателей, поэтому молоток был также и символом власти мастера стула. Троекратным ударом молотка отмечались начала и концы всех масонских действий и речей.

С. 40. ...*комбатант* (фр. *combattant*) — воин, участвовавший в боевых действиях. Так называли людей, сохранивших военную выправку и строй мыслей военного человека.

Тао-Те-Кинг — искаженное название древнекитайского трактата «Лао-Цзы» (древнее название — «Дао дэ цзин», IV—III в. до н. э.) выдающегося философа Ли Эра (Лао-Цзы). Трактат стал каноническим произведением даосизма.

С. 41. ...*работой над тайнописью символов*.— Постигание божественных иероглифов (символов) являлось важной составляющей частью масонских работ.

...«*Дюбо*» — «*Дюбон*» — «*Дюбоне*».— Обыгрывается корень *bonté, bon* (фр.) — добро, добрый.

«*Пусть не входит сюда не знающий геометрии*». Эти слова начертал Платон над входом своей школы.— Имеется в виду основанная в Древней Греции около 385 г. до н. э. Академия — философская школа Платона (428 или 427 г. до н. э.— 348 или 347 г. до н. э.). Более точный перевод этой фразы: «Негеометр да не войдет».

С. 43. ...*устраняя резцом нравственности все неровности, которые еще извращают грани вашего куба!* — Символическое превращение «дикого камня» души в «совершенный куб» было основой тайного масонского действия.

...*циркуль поможет нам в мире нравственном*.— В масонстве циркуль должен был напоминать о том, что необходимо строго соизмерять свои поступки с высокими нравственными образцами.

...*звезда, некогда указавшая путь волхвам*.— См.: Евангелие от Матфея. 2, 2—10.

Пятиконечная звезда — совершенный человек... — Имеется в виду масонская трактовка символики пятиконечной звезды. См. примеч. к с. 89.

С. 44. ...*шнуры звездного полога*... Помещение ложи обычно украшалось символическим изображением неба.

Иисус Навин — в Ветхом завете помощник и преемник Моисея; главный персонаж библейской книги Иисуса Навина, руководивший завоеванием Израилем Ханаана.

«*Солнце, стань над Гаваоном*...» — далее следует вольный пересказ библейского текста. См.: Библия. Книга Иисуса Навина. 10, 12—14.

Великий Геометр Вселенной — одно из наиболее часто употребляемых названий Бога в масонстве.

Веды — мифы ариев (древняя Индия), которые относятся к эпохе середины II—середины I тысячелетий до н. э.

Книга Мертвых — древнеегипетский религиозно-магический сборник, содержащий заклинания, молитвы, гимны, описание заупокойного ритуала и судеб умерших в загробном мире. По верованиям египтян, знание магических формул и заклинаний обеспечивало покойному преодоление опасностей в странствиях после смерти, оправдание на суде Озириса и блаженство в царстве мертвых.

С. 45. ...*о битве галаадитян с ефремлянами!*— См. библейскую Книгу Судей. 12, 1—6.

С. 47. ...*завивать индифризаблем* (фр. indérisable — неразвивающийся).— Речь идет о завивке-перманенте.

С. 48. *Его отлично знают* (<...> в русской Тургеневской...— Тургеневская библиотека основана в Париже в 1875 г. при участии И. С. Тургенева. Первоначально предполагавшаяся как «Русская читальня для недостаточных студентов», она стала важным культурным центром для нескольких поколений русских эмигрантов. В сентябре 1940 г. вывезена оккупационными властями. Судьба увезенных книг неизвестна. Библиотека существует и поныне. Многие годы здесь работала жена Осоргина Т. А. Бакунина-Осоргина, и сейчас остающаяся членом совета библиотеки.

С. 49. ...*двумя толстыми томами Брэма, посулив и остальные восемь*.— Брем Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, путешественник, просветитель. Автор «Жизни животных» (в русском переводе труд вышел в 1911—1915 гг.).

С. 56. *Пьер Лоти* — псевдоним Луи Мари Жюльена Вио (1850—1923), французского писателя, создателя литературного жанра «колониального романа».

С. 57. ...*на черном бархате серебряные слезы*...— С начала XIX в. помещение ложи украшали бархатом с вышитыми золотыми языками пламени и серебряными слезами, которые символизировали печаль, кровь и смерть и являлись напоминанием об Адонираме (Хираме).

...*храм Соломона*...— В библейском значении «дом Господень» (см.: Библия. Третья Книга Царств, 5—6). По масонской легенде, которую частично излагает Осоргин, члены Ордена вольных каменщиков были символическими строителями Храма Соломона.

...*анатором философской ртути*...— Анатор — сосуд, в котором производились алхимические опыты.

С. 61. *Сорбонна* — название Парижского университета, происходящее от имени его основателя, Робера де Сорбона (1201—1274).

С. 63. ...*шесть порций недожаренных шатобрианов*...— Шатобриан (фр. chateaubriand) — блюдо из жареного мяса.

...каков путь от «Atala» до «Memoires d'outré-tombe». — Имеются в виду произведения французского писателя Шатобриана (1768—1848): повесть «Атала» (1801) и мемуары «Замогильные записки» (опубл.: 1848—1850).

С. 66. *Вильгельм Завоеватель* (ок. 1027—1087) — с 1035 г. герцог Нормандии, с 1066 г. — английский король.

С. 69. ...*тайные муаровые ленты* — у масонов иначе назывались перевязями: их носили перекинутыми через левое плечо к правому бедру. Цвет перевязи означал степень посвященности масона. Обычно перевязи украшались символическими изображениями.

...*замшевые передники*... — Запон, или передник, являлся важнейшей частью масонского одеяния. Он олицетворял созидательный труд и чистоту. Запоны из белой лайки или замши символизировали искренность и постоянство. Запон употреблялся при всех степенях (сначала голубой, затем красный), причем в первой степени верхняя часть запона поднята, а в остальных опущена.

С. 71. ...*шнур со свободными кабинскими узлами* — в масонстве олицетворял единение всех членов Ордена вольных каменщиков.

...*бутафорский пламенеющий меч*... — Меч являлся знаком свободного человека. Использовался при посвящении в масонство, а также для защиты входа в ложу. Название «пламенеющий» обычно носил меч изогнутой формы. Он символизировал неустанную борьбу с темными силами.

...*долото*... — В масонстве этот инструмент должен был напоминать о необходимости постоянной работы над «диким камнем» души.

...*деревянный молоток*... — В ложах были распространены как деревянные, так и костяные молотки.

С. 73. ...*кружка вдовы обойдет колонны*. — Традиционно работа ложи завершалась сбором денег в «кружку вдовы». Деньги предназначались для помощи малоимущим.

Цицинат — римский патриций, консул (460 г. до н. э.) и диктатор (458 и 439 гг. до н. э.). По преданиям, образец доблести, гражданского долга и скромности.

С. 74. ...*высокоученого Папюса*... — Доктор Папюс — псевдоним французского масона Жерара Анкоса. Папюс был руководителем Ордена martinистов, имевшего отделение и в России. Влияние этого ордена было наиболее значительно в литературно-художественных кругах и при дворе. В Петербурге в 1911 г. вышла книга Папюса «Генезис и развитие масонских символов».

С. 75. ...*кротчайший царь и псалмопевец Давид перерезал*... — Осоргин иронически пересказывает события, изложенные в Третьей Книге Царств Ветхого завета.

...*послал (<...> человека, именем Хирама*... — Осоргин излагает масонскую легенду о Хираме (Адонираме), строителе Храма Соломона, которая базировалась на Библии (Третья Книга Царств. 7,13—51).

С. 87. *С холма Хирам смотрел на людской муравейник*... — Масонская легенда об убийстве Хирама излагается Осоргиным в собственной трактовке.

С. 89. ...*акация для вольного каменщика — дерево священное*. — По легенде, акация выросла на могильном холме Хирама. Она символизировала живительную силу солнца и напоминала вольным каменщикам о вечности царственного искусства Хирама.

...*универсального круга герметической квадратуры*. — Речь идет о круге, в который вписан квадрат.

...свет пламенеющей звезды... — Блистающая, или пламенеющая, звезда означала дух, наполняющий все живое и направляющий мasonicкие искания на истинный путь. Осоргин говорил, что «пламенеющая звезда — символ человеческой пылкости, верховной Воли, неодолимой силы действия познающего. Изображение в ней совершенного человеческого тела с пятью конечностями — показ слияния в человеке физических и духовных совершенств. Окружена пламенем, так как вольные каменщики хотят гореть и зажигать других огнем своих исканий» (ЦГАЛИ. Ф. 1464. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 9).

С. 90. ...Хирам есть Солнце, Озирис современного посвящения, ложа — его вдова Изиды, вольный каменщик — сын вдовы и света. — Такова мasonicкая символическая трактовка духовного единства строителей Храма Соломона, вольных каменщиков. Озирис и Изиды — персонажи древнеегипетских мифов. Они были детьми бога земли Геба и богини Нут. Изиды была и женой Озириса.

С. 91. ...индезирабелен (фр. indésirable) — нежелателен.

С. 92. Царевokokийск — ныне Йошкар-Ола.

С. 94. Весь народ, оставшийся от Хеттеев, и Амореет, и Ферезеев, и Евсеев, которые не были из сынов израилевых... — См.: Библия. Книга Иисуса Навина, 11.

С. 98. ...ушел к Востоку Вечному... — Вечным Востоком масоны называли смерть.

С. 104. ...последнего транша лотереи (фр. tranche) — последней серии.

С. 106. ...обожает какого-то Фербенкса... — Фербенкс Дуглас (1883—1939) — известный американский киноактер, исполнитель главных ролей в фильмах «Знак Зорро», «Багдадский вор», «Робин Гуд», «Черный пират» и др.

С. 107. 14 июля Париж танцует на улицах... — в этот день отмечается национальный праздник Франции — День взятия Бастилии.

С. 108. Кюлотин или каш-сэкс...прессьоны... (фр. culottin, cache-sex, pression) — предметы женского туалета.

...духи кельк-флер (фр. quelque fleur) — цветочные.

...сервьет-иженик (фр. serviette hygiénique) — гигиенические салфетки.

...руж, римель (фр. rouge,immel) — румяна, тушь для ресниц.

...дешевое птит-роб (фр. petite-gobe) — платице.

...спереди фишу (фр. fichu) — шейный платок.

С. 110. ...с высоты Сумбековой башни... — Башня Сююмбеки — самая высокая постройка казанской крепости. Возведена в конце XVII в. Существует несколько легенд, связанных с этой башней. По одной из них, царица Сююмбеки бросилась с башни, не желая быть наложницей царских воевод.

...гимназист Принцип... — Принцип Гаврило (1894—1918) — член организации «Молодая Босния», убивший австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в Сараеве, что послужило поводом для начала первой мировой войны.

...император с усиками стрелкой... — речь идет об австрийском императоре Франце Иосифе I (1830—1916), который стал одним из инициаторов развязывания мировой войны.

...траншеи... — Имеются в виду боевые действия до октября 1917 г., так называемая траншейная (окопная) война.

...большая Берта... — немецкая пушка большого калибра времен первой мировой войны.

...земгоры и земсоюзы... — Земгор — объединенный комитет Земс-

кого и Городского союзов, созданный в 1915 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии. Земский союз был создан в июле 1914 г. Оба союза относились к институту земства.

...*Григорий Новый* — Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872—1916), «провидец» и «исцелитель», имевший неограниченное влияние на чету последних русских монархов и их окружение.

...*глухость или измена* — слова из речи П. Н. Милокова на одном из заседаний Государственной думы IV созыва.

...*Александра Федоровна* — жена Николая II.

...*Александр Федорович* — Керенский (1881—1970), лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной думе, затем эсер. Занимал во Временном правительстве посты министра юстиции, военного и морского министра, министра-председателя, верховного главнокомандующего. После Октябрьской революции жил в эмиграции.

...*пломбированный поезд*... — Речь идет о возвращении в Россию В. И. Ленина и его соратников в plombированном вагоне, который шел через территорию воюющей Германии.

...*государственное совещание* — было созвано 12 августа 1917 г. в Москве Временным правительством под лозунгом «единения государственной власти со всеми организованными силами страны». На нем присутствовали представители большинства партий в России, в том числе большевики и эсеры. Большевики расценили «Государственное совещание» как смотр контрреволюционных сил и организовали в ответ на него ряд забастовок в крупных городах.

...*солдатская лавина*... — Имеется в виду массовый уход солдат с фронта.

...*без аннексий и контрибуций* — слова из ленинского Декрета о мире.

С. 114. ...*подымается на Восток*... — Восток — особое место в помещении ложи, с которого произносили речи во время масонских работ.

Тайная ложа Гармонии — масонская ложа в Москве, основанная в 1780 г. членами двух масонских мастерских. Являлась центром сплочения московских масонов, в частности так называемых мартинистов, сделавших многое для распространения идей просвещения в России. В ложу входило немало представителей известных дворянских фамилий (С. И. Гамалея, И. В. Лопухин, А. М. Кутузов, Н. И. Новиков, М. М. Херасков, И. Е. Шварц и другие.).

...*Дружеское ученое общество* — благотворительное и просветительное общество в Москве, существовавшее в 1779—1784 гг. Было основано Н. И. Новиковым и другими московскими масонами для помощи в воспитании детей. Активно занималось изданием полезных книг.

...*Московская Типографическая Компания* — была учреждена 1 сентября 1784 г. преимущественно членами Дружеского ученого общества. Развернула огромную издательскую и переводческую работу, которая оказала значительное воздействие на формирование общественного самосознания в России.

...*Великая Директоральная ложа* — более распространенное название: Великая Провинциальная ложа. Была образована в 1810 г. Являлась руководящей для масонов так называемой шведской системы в России. Вокруг ложи группировались преимущественно русские консервативные деятели масонства.

...*Союз Астреи* — масонский союз Директоральной ложи Астреи, существовавший в 1815—1822 гг. в России. Состоял из двадцати пяти лож. Первоначально организаторы этого объединения масонских лож признавали лишь первые три (так называемые иоанновские) степени масонства, были противниками феодально-иерархической структуры Великой Провинциальной ложи.

Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — русский писатель; назван в числе масонов уже в 1756 г.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — русский писатель, куратор Московского университета. Масон с 1775 г., один из руководителей масонства эпохи Екатерины II, автор многочисленных масонских стихотворений, одно из которых «Коль славен...» стало неофициальным российским гимном. Член-основатель ложи Гармонии.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — русский историк, писатель. Был привлечен к литературной деятельности масонами: являлся членом ложи Златого венца в Перми. После путешествия за границу в 1789—1790 гг. прекратил свои связи с вольными каменщиками.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — в 1818 г. собирался вступить в петербургскую ложу Трех добродетелей, в 1821 г. стал членом масонской ложи Овидий в Кишиневе.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — с 1815 г. член масонских лож Блага и Соединенных друзей в Петербурге.

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — идеолог и руководитель Южного тайного общества декабристов, член нескольких масонских лож в Петербурге с 1812 г.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, руководитель республиканского крыла Северного общества декабристов. Член масонской ложи Пламенеющей звезды в Петербурге, посетитель ложи Трех добродетелей.

Муравьевы — вероятно, имеются в виду Николай Николаевич Муравьев (1768—1840), начальник московского училища колонновожатых, член масонской ложи в Страсбурге, и его сын Александр (1792—1863), один из основателей декабристских организаций, деятельный масон начала XIX в. в Петербурге и Москве. В числе вольных каменщиков были также декабристы Никита Михайлович Муравьев, Матвей Иванович и Сергей Иванович Муравьевы-Апостолы.

Михаил Илларионович Кутузов (1745—1813) — генерал-фельдмаршал. В масонство был посвящен в 1779 г. в ложе Трех ключей. Участвовал в работе масонских лож во Франкфурте, Берлине, Петербурге, член лож Трех знамен и Сфинкса в Москве.

Генералиссимус Суворов Александр Васильевич (1729—1800) — был принят в масонский Орден в 1761 г. в Петербурге в ложе Трех звезд, член масонских лож в Кенигсберге и Берлине.

Массена Андре (1758—1817) — маршал Франции (с 1804 г.). Главнокомандующий русско-австрийскими союзными войсками А. В. Суворов после поражения австрийского корпуса и корпуса Римского-Корсакова, чтобы избежать сражения с маршалом Массена, совершил свой знаменитый швейцарский поход (переход через Альпы). Массена говорил впоследствии, что он отдал бы все свои победы за этот поход Суворова.

Из книги, на корешке которой осыпается одуванчик — то есть из книги с издательской маркой «Ларусс». См. примеч. к с. 18.

С. 119. *Первая из двадцати двух аксиом Элифаса Леви...* — Имеются в виду «аксиомы», помещенные в книге Э. Леви «Учение и ритуал высшей магии» (СПб., 1910).

С. 126. *...алле-ретур* (фр. aller-retour) — туда и обратно.

С. 127. *...по билету «ретур»* — по обратному билету.

С. 130. *...статьи высокого смысла, подписанные Юниусом.* — Юниус — псевдоним А. М. Кулишера, постоянного сотрудника популярной парижской русской газеты «Последние новости».

...франко-русского словаря Макарова... — Имеется в виду один из энциклопедических словарей Николая Петровича Макарова (1810—1890), неоднократно переиздававшихся в России.

С. 131. *...«Слався-слався»* — речь идет о финале оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

С. 133. *...в страну царя Гельгамеша...* — Гильгамеш — полубог-получеловек, правитель г. Урука в Шумере (28 в. до н. э.).

Рыцарь Розы и Креста — одна из высших масонских степеней, восемнадцатая по счету.

С. 135. *...потухшая пентограмма* — правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равнобедренные треугольники, одинаковые по высоте. Один из самых распространенных со времен средневековья магических знаков, изображавшихся для защиты дома от злых духов. Иногда по углам пентограммы размещались начальные буквы имени Иисуса Христа.

С. 137. *...жена похищена испанской болезнью...* — Испанка — название гриппа во время эпидемии 1918—1919 гг.

И вот — грудь отверстая, и Пеликан кормит птенцов кровью незаживающей раны. — В масонстве пеликан является олицетворением отрешенности от страстей, символом Спасителя мира, высочайшей мудрости и благодати.

...и неверно, что Слово найдено в хитрых толкованиях четырех букв, в проповеди Назорея... — Речь идет о масонских толкованиях Нагорной проповеди Иисуса Христа (Евангелие от Матвея, 5).

...носители угасающих факелов, сыновья вдовы, рыцари Востока и Запада — наименования масонов.

С. 139. *...кавалер Кадош* — название одной из масонских степеней.

С. 140. *Парка Глото* (<...> *Парка Лакезис* (<...> *Старшая, Атропос...* — Парки — богини судьбы в римской мифологии, в древнегреческой их называли мойры. Наиболее распространен миф о трех мойрах, которых представляли в виде старух, прядущих нить человеческой жизни: Лахесис («Дающая жребий»), Клото («Прядущая»), Атропос («Неотвратимая»).

С. 146. *...нансеновского подданного.* — В феврале 1921 г. Международный комитет Красного Креста предложил Совету Лиги Наций назначить уполномоченного по делам русских беженцев. Им стал известный полярный исследователь Ф. Нансен. По его предложению были введены удостоверения личности для русских эмигрантов (нансеновские паспорта), которые были признаны в тридцати трех странах.

С. 152. *...при-куран* (фр. grix courant) — прейскурант.

...три истинных сына вдовы из колена Неффалимова — то есть три последователя Хирама, три масона.

С. 153. *Еду я нынче через площадь Согласия...* — Осоргин описывает события 6 февраля 1934 г. в Париже, когда крайне правые и крайне левые элементы, объединившись, предприняли попытку занять правительственные здания.

...не был <...> поросенком из «Аксъон Франсэз» — монархической организации во Франции во главе с Шарлем Моррасом, основанной в 1899 г. Вооруженные отряды этой организации участвовали в беспорядках в феврале 1934 г.

С. 154. ...обед при-фикс (фр. ргіх фіхес) --- обед из дежурных блюд, устанавливаемых рестораном.

...И улица и обслуживающие ее газеты вплели в горячку необузданного спора резкую брань по адресу той братской организации...— Описываемые Осоргиным события связаны с началом 1934 г. во Франции, когда правые развернули кампанию против парламентского строя. Они требовали отставки кабинета и установления «сильной власти». На улицы вышли крайне правые элементы во главе с деля Роком. Поводом для выступления стал скандал, связанный с разоблачением аферы Стависского. В этом деле оказались замешанными многие политические деятели, среди которых были и масоны. Реакционная печать обвинила их во всех бедах.

С. 155—156. ...из «братской» <...> кассы взаимопомощи.— Подобные кассы существовали почти у всех лож, хотя в некоторых из них происходили лишь сборы в пользу нуждающихся братьев.

С. 161. ...Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме...— См.: Евангелие от Луки. 19, 45—46; Евангелие от Иоанна. 2, 13—17.

С. 163. ...стучат молотки венерабля и двух надзирателей.— Венерабль (фр. venerable — почтенный) — одно из названий Мастера стула, председателя ложи.

Вольный каменщик проходит под стальным сводом мечей от западной двери к <...> Востоку.— При входе в ложу обычно стояли стюарты (исполнители, стражи) или надзиратели, которые держали в вытянутых вверх руках мечи. Масоны проходили в ложу под таким «стальным сводом».

С. 164. ...брата Русселя, стоявшего в ритуальной позе, с рукой у горла.— Знак братского доверия в масонской среде.

С. 174. «В поте лица твоего будешь есть хлеб...» — Библия. Бытие. 3, 19.

С. 181. Сибилла Фригийская — одна из легендарных прорицательниц, родом из Фригии.

С. 182. ...перевозчику Харону.— В греческой мифологии Харон перевозит умерших через реку Стикс до врат Аида — подземного царства.

В вечной борьбе Ормузда с Ариманом.— Ормузд и Ариман — божества древней восточной религии — зороастризма, олицетворяющие Добро и Зло.

С. 204. ...теесефы дудят негритянским горлом...— Теесефы — телефоны.

С. 209. ...с атрибутами богини Анубис.— В древнеегипетской мифологии бог Анубис — покровитель мертвых, некрополей и погребальных обрядов. Изображался в облике человека, шакала или волка с головой шакала.

С. 210. ...вместе со своим мистагогом...— Мистагог — истолкователь тайн (греч.).

РАССКАЗЫ

По поводу белой коробочки (Как бы предисловие)

Впервые: Последние новости. 1938. № 6147. 23 января.

Этот рассказ так же, как и другие, печатается по кн.: По поводу белой коробочки: Рассказы. Париж: YMCA-PRESS, 1947.

Слепорожденный

В 1910 г. Осоргин опубликовал в «Новом журнале для всех» (СПб., № 16) стихотворение «Слепорожденный».

Рассказ впервые опубл.: Последние новости. 1932. № 4271. 1 декабря.

Круги

Впервые: Последние новости. 1937. № 6120. 27 декабря.

Люсьен

Впервые: Последние новости. 1936. № 5402. 7 января.

С. 240. ...от «карт д-идантитэ» (фр. carte d'identité) — от удостоверения личности.

Роман профессора

Впервые: Последние новости. 1937. № 5778. 18 января.

Пешка

Впервые: Последние новости. 1936. № 5631. 24 августа.

Сердце человека

Впервые: Последние новости. 1936. № 5680. 12 октября.

Кабинет доктора Щепкина

Впервые: Последние новости. 1938. № 6223. 9 апреля.

Судьба

С. 271. ...«колдуном из Мадавы».— Мадавра — место рождения Апулея (124 или 125 г.).

Впервые: Последние новости. 1937. № 5820. 1 марта.

Игра случая

Впервые: Последние новости. 1937. № 5849. 30 марта.

С. 278. ...подарили тротинетку (фр. trotinette) — самокат.

С. 279. ...были вынуты из плакара (фр. placard) — стенового шкафа.

Мечтатель

Впервые: Последние новости. 1933. № 4550. 6 сентября.

Юбилей

Впервые: Последние новости. 1937. № 6118. 25 декабря.

С. 291. «Феликс кви потуйт рерум!» (лат. «Felix qui potuit gerit») — «Счастлив, кто мог познать природу вещей» (Вергилий. Георгики. 11. 490—492).

Эпиконо (фр. incoppi) — неизвестный.

Убийство из ненависти

Впервые: Последние новости. 1937. № 5806. 15 февраля.

Аноним

Впервые: Последние новости. 1937. № 6104. 11 декабря (под названием «Псевдоним»)

Видение

Впервые: Последние новости. 1938. № 6313. 9 июля.

Газетчик Франсуа

С. 313. ...делом Франциска Ассизского... — Святой Франциск Ассизский (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.

Впервые: Последние новости. 1937. № 5799. 8 февраля.

Пустой, но тяжелый случай

Впервые: Последние новости. 1925. № 1704. 12 ноября. Печатается по кн.: Чудо на озере. Париж: Изд-во «Современные записки», 1931.

С. 316. — Вуле ву, мадам... (фр. — Voi lez-vois, madame...) — Не хотите ли, мадам...

Что такое любовь?

Впервые: Последние новости. 1938. № 6126. 2 января.



СОДЕРЖ 3 9352 03003503 4

<i>О. Ю. Авдеева, А. И. Серков. Воспитание души</i>	3
Вольный каменщик. Повесть	16
РАССКАЗЫ	
По поводу белой коробочки	217
Слепорожденный	223
Круги	234
Люсьен	239
Роман профессора	244
Пешка	250
Сердце человека	256
Кабинет доктора Шепкина	263
Судьба	270
Игра случая	275
Мечтатель	281
Юбилей	286
Убийство из ненависти	292
Аноним	298
Видение	303
Газетчик Франсуа	309
Пустой, но тяжелый случай	315
Что такое любовь?	319
<i>А. И. Серков. Комментарий</i>	326

Михаил Андреевич Осоргин

ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ

Заведующая редакцией *Н. Буденная*
 Редактор *И. Геника*
 Художественный редактор *Н. Тронза*
 Технический редактор *М. Гречнева*
 Корректор *З. Кулемина*

ИБ № 4364

PG
3467
074

Сдано в набор 12.08.91. Подписано к печати 22.02.92. Формат 84 × 108^{1/2}.
 № 2. Гарнитура «Банниковская». Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,64.
 Уч.-изд. л. 18,66. Тираж 35 000 экз. Заказ 2221. С-16
 Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий»
 Москва. Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
 Российский государственный информационно-издательский центр «Ресит»
 физическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва. Краснопр

V64
1992

15-00K



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

